

A decorative border surrounds the central text. It consists of a dark outer line and a lighter inner line. Between these lines are repeating geometric motifs: circles with internal patterns, diamonds, and squares with internal patterns.

РОМАН ГУЛЬ

**Генерал
БО**

ПЕТРОПОЛИС



ROMAN GULY

ГЕНЕРАЛ БО

ROMAN

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

Alle Rechte,
insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten

Copyright by Petropolis-Verlag, Berlin 1929

72861/2
5311

*„Глухо стукнет земля,
Сожмнется желтая глина
И не станет того господина,
Который называл себя я“.*

В. Ропшик.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1.

Весна была, как весна. Ручьистая, с сиренью и разорвавшимся небом. Перед бронзовым Коперником гимназия строилась в ротную колонну. И похожие на серебряных офицериков, гимназисты блестяли пуговицами и лицами. Желтея кенареечным подбоем эполет, ровнял ряды, гвардии Волинского поручик Занков. К директору Перекатову пошел, взяв под козырек, хоть стоял директор в мешковатом мундире и спускающихся с заду синих штанах.

Вместе с командой, в весеннем воздухе махнул белой перчаткой поручик. За перчаткой капельмейстер взвил черную палочку. И майской грозой сорвалось серебро труб бравурной «Шумна Марица».

Ах, как весело, радостно в эту весну! Гимназисты заворачивают левым плечом, шлепая голубыми ручьями и лужами. Уяздовской аллеей перестроились во взводную колонну. Дают ногу, печатают шаг. Но катит коляска на яблочных рысаках. И поручик не жалеет связок в резонансе весны.

Отделенный командир подровнял отделение. Марширует прекрасно: — ему весело от весны и музыки. Кинув голову вправо, прижав руки по швам, смотрит на упитанного человека в красных отворотах, в треуголке с плюмажем и кричит начальнику края: —

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

Светлейший князь Имеретинский в коляске с директором Перекатовым смеется весеннему солнцу.

— Кто этот мальчик?

— Это, Савинков, сын мирового судьи.

Стройно идут гимназисты.

Начальник края улыбается им и весеннему солнцу.

2.

В третьем классе у Ивана Христофоровича Филалковского стоит жутчайшая латинская тишина. Боря, стройный мальчик, смуглый, с румянцем, материнскою чернью глаз. Товарищи дразнят его «монглом», потому что борины глаза разрезаны по монгольски — вкось. Глазами вышел он в деда, генерала-казака Ярошенко.

Но Боря не смотрит в „De bello gallico“. Он разглядывает в окне перепрыгивающего иванца. Блеснув очками, Иван Христофорович вскрикивает:

— Савинков!

Боря залился кумачевым румянцем. Потупил голову, ковыряет в выщербленном сучке.

— А пожалте-ка к кафедре!

У кафедры Боря читает и переводит:

«Консул Фабий-Кунктатор, пришедши в Цизальпинскую Галлию и увидевши, что, он, который ведет войну с царями, имея при том четыре когорты нумидийских всадников...»

С сожалением смотрит на Борю Иван Христофорович.

— Это, друг мой, не перевод, перевоз! Нужно со смыслом, сочетать античную красоту с духом русским! Что же значит — кунктатор? Ведь не знаешь?

— Медлитель.

— Но хорошо ли сказать: — консул Фабий-Медлитель?

Очень смешное слово «кунктатор». Боря смеется.

— Хорошо, по моему, Иван Христофорович.

— Это именно только по твоему! Да! Что же значит медлитель? Значит человек нерешительный, медленно делающий, а на русском языке есть тому чисто русское слово. Тряпка! Да! Говорят: — ах, какой же вы тряпка!

И, любя стиль Юлия Цезаря, Иван Христофорович переводит уж сам. Боря только повторяет, трясясь от беспричинного смеха.

«...консул Фабий, вставим, по прозвищу Тряпка, пришедши в Цизальпинскую Галлию и увидевши, что имея четыре когорты...» А что значит — когорта?

— Это военная часть.

— Но чему ж соответствует?

— Роте.

— В пехоте. У казаков же, к примеру, сотне. А так как римские всадники скорее всего могут быть сравнены с казаками, то переводить надо так: — «Консул Фабий по прозвищу Тряпка, пришедши в Цизальпинскую Галлию и увидевши, что имея четыре сотни нумидийских всадников...»

Старый сторож Далматич трясет у учительской колоколом. Иван Христофорович, поставив 3 с минусом семени ножками, выбегает из класса. А Боря, кричит из-за двери: — «Фиалка! Фиалка!» Но Иван Христофорович не слышит, лавируя меж сорвавшихся, серых гимназических драк.

3.

Глянец паркета еще не смят. В полупустом еще зале оркестр серебряных, гусарских труб тронул внезапно вальс «Восточные розы». В правом углу, дирижер, гимназист Кумачев приглашает дочь начальника края. И с угла начинают сильнее раскруживаться. За ними кружатся пары. Даже сам попечитель, старикан со звездой на груди танцует.

В синем море мундиров, белых перчаток, блестящих проборов и Фиалка выкомаривает маленькими ножками с классной дамой. Уплывает мелькающая фигура. В море серпантина, света, мундиров, пуговиц, бантов, танцует Боря Савинков с Лидой Кидарцевой вальс.

Софья Александровна незаметно следит за сыном, разговаривая с дамами. Он строен, чудесно вальсирует. Вот сейчас, смеясь, говорит что то Лиде. Раскраснелся. Каштановые волосы оттеняют румянец. Кружась, пролетают они мимо Софьи Александровны. У Лиды на лице красными буквами написано счастье. Но в гусарских трубах умирают «Восточные розы». Вальс кончен.

Сторожа Якова задержали.

— Яков, голубчик, принеси бутылочку.

— Вот уж, как музыка заиграет.

— Ты уж, Яков — две.

— 40 копеек.

— Борька, Борька, скорее заметано! — Савинкова тащат Шпаковский и Жуков. В мундирах, перчатках, с распорядительскими розетками, муаровыми бантами, лезут на чердак пить коньяк с лимонадом.

Но уж два часа ночи. Учителя и гости еселые. Гремит музыка. Все плывет. Что это — «шаконь» или «миньон»? Савинков с Шпаковским хохочут:

— Смотри-ка, Борька, Купидон с Фиалкой!

Купидон с Фиалкой идут из гостиной, под руку, с Станиславами в петлицах.

— Ангелочек мой. Сеня — я генерал!

Но Фиалка торопливо уводит: неприлично, заметит полечитель. А громадный старикан со звездой на боку, попечитель кричит в зале громким басом речь:

— Резвитесь, милые дети!

Но в зале уж душно. Смят паркет, затоптан котильонными орденами, серпантинном, конфетти. От

уоставшего оркестра пахнет ваксой. Капельмейстер ест апельсин. Доев, стукнув палочкой по пюпитру, играет мазурку.

4.

С утра натирали парафином рекреационный зал в портретах императора Александра III, императрицы Марии Федоровны, с грандиозным изображением, в рост, Николая II-го.

В майских, коломянковых блузах тихо сидят гимназисты. Ровно в девять вереницей входят в зал: — греческого вида с большим животом и горящими глазами, варшавский митрополит Агафангел, попечитель, князь Друцкой-Соколынинский с бакенбардами, голубой лентой через плечо, в вицмундире с колодкой орденов директор Перекатов, законоучитель отец Остромысленский с серыми глазками, в мягких, татарских сапогах. Лентой синих сюртуков тянутся учителя.

Улыбается в окна май. За окнами шелестят деревья. Гимназисты встают дружным шумом. И...

— Андреев... Аросев... Бах... Борисовский...

— Они у меня сторательные юноши, — на «о» говорит его преосвященству отец Остромысленский.

— Савинкск!

С задней парты, стуча каблуками, весело смотря на зеленый в кистях стол, идет Савинков. Под винтящим, греческим глазом митрополита бойко рассказывает, что Блаженный Августин смотрел на философию, как на руководительницу жизни.

Огненным глазом винтит владыка. Попечитель склоняется к директору: — Это сын мирового судьи? Прекрасный мальчик.

— Достаточно — ставит точку владыка из живота выходящим басом. И отец Остромысленский говорит:

— Савинков, владыка отмечает вас, вот вам от его преосвященства награда.

Встав, отец Остромысленский отдает книгу в красном сафьяне. — «Московский сборник» К. С. Пободоносцева.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Это лето было последним в памяти Бориса Савинкова. Когда он и брат Александр вылезали на станции «Умет», тучи сдавленной, лиловой стеной уходили, оставляя голубое небо.

Пройдя знакомую станцию, где вповалку лежали мужики и бабы, Александр и Борис вышли на крыльцо. Здороваясь, Гаврил снял шапку с павлиньими перьями.

— Ну, как дела, Гаврил?—спросил Борис, осматривая тройку.

— Дела идут, контора пишет, Борис Викторович, — осклабился Гаврил. — Как у вас, ученье то, говорил Петр Петрович, скончали?

— Скончали. — Борис звонко похлопывал пристяжную, заложившую уши.

— Легче, Борис Викторович, — укусит.

В словах Гаврилы Борису показалась усмешка.

— Чай не съест, — сказал он и впрыгнул в коляску.

2.

«С бо-гам» распевчато сказал Гаврил, тронув. Коляска загремела по плоховымощенному двору станции, сразу замолчав на дороге. Мелькнула красная водочка, вывески — «Постоялый двор Постнова», «Питейное заведение Буркина». И как только тройка,

простучав копытами, перемахнула широкий, короткий мост, — пошла большая, екатерининская дорога.

Стволы у берез были белые, листва зеленая, небо голубое. За березами в такую даль уходили поля, что от бескрайности резало глаз.

— Бубенцы, Борис Викторович, с новым набором на ярмарке купили — кричит с козел Гаврил.

Коренник метнул густой гривой, вложился в оглобли. Пристяжные перешли в галоп. Левый, «Хвальный», изогнувшись кольцом, пошел, прыгая серым, яблочным крупом.

Коляска неслась, словно с невертящимися колесами. Александр сидел, молча. Борис следил лет тройки. Но видел только спину Гаврилы, блестящую ленту дороги впереди и широкий круп «Хвального», прыгающий туго замотанным, серым хвостом.

У поворота на проселочную Гаврил сдержал. Коляска свернула на мягкую дорогу, меж зеленых овсов. И, миновав чахлый, придорожный орешник, выехала на полугорье, с которого, как на ладони, открылась усадьба Петра Петровича — «Уварово».

3.

Петр Петрович услышал троечные бубенцы за чаем. Перед тем он смотрел на часы, соображая, где едет тройка. Даже совещался с Максимовной, тут же пившей чай, держа блюдце сморщенной, старческой растопыркой.

Бубенцы прозвенели на повороте. Петр Петрович рысцой побежал в сени. Осаживая левой рукой рвущуюся к каретнику, мокрую тройку, Гаврил правой откидывал фартук. Борис и Александр вылезали. И пошли к Петру Петровичу неловкими, неразмятыми ногами.

— Наконец то! А я думал, где запропалились? Плохо ехали, что ль?

— Ехали чудесно, — говорил Борис, толкаясь в темных сенях, в ширь раздавшегося, затемненного сиренью, низкого дома Петра Петровича.

4.

Восемь десятин уваровского парка заросли до того, что даже клумбы были покрыты саженой травой, а из цветов остались только аютины глазки. К пруду пробраться не было возможности, от обступившего ивняка. И тем не менее «Уварово» было богоданным, благодатным местом.

Проснувшись, умывшись, одевшись, Александр сидел у окна с вынутыми из чемодана книгами «Историческими письмами» Миртова, «Подпольной Россией» Степняка, «Критическими заметками к вопросу об экономическом развитии России» Струве. Борис, оттолкнув ставни, высунулся в свежесть утра. У конюшни громыхал ведрами, качая из колодца. Гаврил, в синей рубашке с засученными рукавами. В резкой ранности воздуха пронзительно кричали повороты колеса.

Борис спустился с мезонина. Извиваясь от утренней прохлады, подрагивая, на дворе подбежал пятнастый пойнтер и, ластаясь, пошел с ним. Со скрипом отворив дверь конюшни, Борис ощутил теплый запах конского навоза. За крупными решетками стояли силуэты лошадей.

— Кто там? — закричал Гаврил. — А, Борис Викторович, а я думал еще кто. Лошадок осматриваете, вот пойдемте покажу, Петр Петрович не говорили еще?

Гаврил отворил денник. В окно снопом ударяло солнце. Пыль от сена играла, трепыхаясь в лучах. Мордой к ним стоял рыжий гунтер, поджарый с широкой подпругой.

— Вот, востер, Борис Викторович, как птица!

Рыжий завертелся юлой. Гаврил ладонью ударил жеребца по подпруге и он поджал переднюю ногу, храпя, перебирая ушами.

В двадцати денниках было слышно мягкое похрустыванье. Гаврил раздавал овес и лошади, забирая, от нетерпенья ударялись мордами в дно кормушек.

Мимо скотного, мельницы, кузницы. Борис шел к раскинувшемуся на полугорье парку. Парк цвел липой. В аллее его нагнал Александр. Они шли на «Монплефир», березовую опушку, кончавшуюся оврагом. В детстве овраг казался грандиозным. Теперь он был маленьким и смешным.

— Как странно, когда-то любил «Уварово». А теперь, Гаврил, тройка, Петр Петрович, все как чужое. Понял, что прелесть лип растет на мужицкой крови.

Отстранясь от веток, Борис сказал:

— Конечно, помещики сидят на крови. Но Петр Петрович, как таковой, не при чем. Виновата история. Не с Петром же Петровичем восвать?

Оба перепрыгнули через канаву. Шли молча. А когда, обогнув парк, подходили к дому, Петр Петрович в ярко-желтом халате махал им с балкона:

— Чай пить, орлы!

5.

Петр Петрович был похож на цыгана, с угольными, тонкими усами. Особенностью его было, то, что всегда он был в хорошем расположении духа, благодаря собственной философии.

— Вчера наболтался с вами, так во сне такую чертовщину увидел, прямо простите за выражение! Вижу себя студентом и валяюсь, представьте, на постели с квартирной хозяйкой, чего отроду не было! До полного неприличия дошел на старости лет. В конюшне были уже? Видали англичанина? Красавец? А? — причмокнул губой Петр Петрович. — Еле у ремонтеров отбил, чистопородный, выших

кровей, на любой барьер идет, — осенью вот поеду с борзыми, зайцев у меня тьма тьмушая.

Петр Петрович, смеясь, взглянул на Александра.

— Писали мне про тебя, Александр, что ты за книгами всю задницу отсидел. Никчемушнее дело, брось, — захохотал Петр Петрович.

После чая, когда вошли в коровник, с соломы метнулись, заскользив по деревянному полу, два бланжевых мордастых бычка.

— Смотрите, а? хороши? Копенгагенский фарфор! ножки то, а? а подгрудочек то? — Петр Петрович поймал вырывавшегося бычка и, обхватив рукой, схватил за подгрудок.

6.

Тихо шла жизнь «Уварова». По утрам подводил к крыльцу Гаврил верхового. Дожидаясь Петра Петровича, англичанин прятал ушами, бия в землю ногой. Петр Петрович выходил в русской рубашке с ременным пояском в надписях «Кавказ», в мягких безкаблучных сапогах и, несмотря на комплекцию, садился в седло, как семнадцатилетний. Англичанин давал два прыжка. Но, чувствуя крепкие шенкеля, начинал курц-галоп с левой ноги. Мимо фруктового сада, свиарника, прошумев по горбылевому мосту, легко неся, выкидывая точеные ноги. А широкая рубашка Петра Петровича дулась ветром. И была в этой раздуваемой рубашке большая тишина жизни.

7.

Ночью, в июле парк не дышал. Стояла тьмушая темь с тысячью золотых глаз. Борис и Александр лежали над оврагом.

— Что ж ты думаешь о Петербурге, Борис?

— То же, что и ты. Примкну к революционерам...

— Революционеры разные, Боря. И борьба у них разная.

— Мне, Саша, теории малоинтерсны — ложась на спину, смотря в чернь с золотом, проговорил Борис. — Важно, что борятся с правительством, выберу где могу сделать больше.

— Жаль, что ты мало читаешь.

— Ты думаешь мало? — сквозь зевоту сказал Борис. — Люди разные, Саша. Если бы все были одинаковые, было бы скучно. Как странно, смотри — огонь — приподнялся Борис — мужик, верно, едет, курит...

8.

В лесах пахло прелым листом, грибной сыростью, на огородах — укропом, мятой. Вяло кровянула листва. В полях встала, обнажившаяся щетина жнивья. По-слоновьи тяжело подымаясь на веранду, Петр Петрович пробормотал:

— Все читаешь, Александр? Вот, какой то Степняк! «Подпольная Россия»! К чему это ты брат на природе чертовщину разводишь? Посмотри ка девки в поле загорелые, как негритянки, пошел бы отщупал какую, а ты, брат, Степняк!

— Оставьте, Петр Петрович!

Петр Петрович хотел ответить, но услышал у балкона шаги и остановился.

— Там, Петр Петрович, девки поденные пришли.

— Расчитай. Да бессоновского Ваньку матюкни, скажи, если застану еще с девками отхлещу арапником.

Александр, оторвавшись, смотрел на Петра Петровича. Но Петр Петрович, приложив ладонь вглядывался вдаль, где сидели пахаря взметывавшие жнивю. И вдруг, встав во весь рост у перил, невероятно сильным, раскатистым басом закричал:

— Пашол! Пашол! Чего стали едри вашу маты! Было видно, как плуги задымили по пашне. Петр Петрович повернулся от перил, засмеявшись:

— Вот тебе и «Подпольная Россия», слышал?

И, сходя с балкона, добавил: — Не крикни, так полдня прокурят, сукины дети.

9.

Борис шел распорядиться, чтоб закладывали тройку, на станцию, в Петербург. На дворе он остановился: — посреди усадьбы короткими прыжками прыгал, низко наклоняясь к земле, человек.

Подойдя, узнал сумасшедшенького Павла Федорыча.

— Здорово, Федорыч!

Федорыч разогнулся, глядя беззубой улыбкой.

— Здравствуй, здравствуй.

— Ты чего, Федорыч, ищешь?

— Как чего? След ишу, — проговорил Федорыч, прищурившись от солнца — у каждого следы, у всех разные, у тебя один, у меня другой.

— Какой у меня?

— У тебя? — сощурился Федорыч, — плохой, ни к чаму, так буресый, — захохотал. — А у меня синий след, светлый, во какой! А рыжего следу нет, не нашел — и Федорыч, нагнувшись, прыгнул в сторону и пошел прыжками от усадьбы к лесу.

10.

— Ну, пора, опоздаете. Сядем по обычаю, — проговорил Петр Петрович.

С туго подкрученными хвостами, звеня ошейниками, тройка подъехала к крыльцу. И Гаврил осадил ее музыкальным, раскатистым «тпрррру».

— Ты потарапливайся, Гаврила! — кричал с крыльца Петр Петрович, — да лопатинской гатью не езжай! Разворочена вся!

Тройка тронула мимо фруктового сада. Из коляски выглянул Борис. Гаврил молчал, сердитый, что торопили, да еще дорогу. Петр Петрович указывал, будто сам Гаврил не знает, что лопатинская гать месяц тому назад стоит развороченной. «Хвальный» сбивался на галоп с рыси.

Коляска шла меж изумруда озимей. Над озимью длинной, безалаберной стаей летели галки. Тройка спускалась под уклон и, сдерживая коней, Гаврил по-свистывал по ямщицки, тихим переливом. В гору тройка вымчала навynos, звеня бубенцами, внесла в село «Жданово».

Грязные, вихрастые собаки закувыркались из под ворот, бросаясь на разошедшуюся тройку, хватая пристяжных за ноги. Возле изб, низко кланяясь, вставали старики. И баба, прикрывшись ладонью, долго смотрела вслед.

— Хамский обычай, чего они кланяются?

Впереди послышалась гармонь, визгливые голоса девок. Далеко на дороге стояла толпа.

— Престольный — обернулся с козел Гаврил.

Чем ближе подъезжала тройка, пронзительней тилиликала гармонь. Гаврил тронул резвей. В толпе оборвалась музыка, с хохотом, криком толпа разбежалась по сторонам, оставив на дороге пьяного, рыжего мужика с сукастым пнем.

Отбегая, рыжий швырнул пень, под ноги коням. В толпе загикали, захохотали. Коренник и правая пристяжная метнулись, смятая «Хвального». Сдержав коней Гаврил, обернувшись, крыл ругательствами. Рыжий, среди толпы, сгибался в пояснице от хохота. И снова разорвалась гармонь и девка вымахнула, припевая:

«Куда, барин, едешь, едешь...»

Листва берез была желтая, стволы белые, небо синее, стальное. Гаврил пустил тройку вмах. Вырываясь из постромок пристяжные заиграли комками земли, пучками хвостов.

Промелькнуло «Питейное заведение Буркина», «Постоялый двор Постнова», красная водокачка, кусты. Коляска резко загремела по станционному дворику. У подъезда взмыленные, тяжело носящие боками, лошади встали.

За два серебряных рубля Гаврил долго желал счастливого пути. И когда тронулся поезд на Петербург, махал шапкой с павлиньими перьями. Борис видел привязанную к изгороди тройку. Потом ее закрыла водокачка. На повороте пути скрылось все: — станция, Гаврил, тройка. Последним виднелось крайнее с дороги «Питейное заведение Буркина». Но и его заменил стлавшийся дым паровоза. А когда дым рассеялся, по обеим сторонам шел дрожащий, лимонный осинник.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

1.

Едучи с Николаевского вокзала по Невскому, Борис Савинков улыбался. Он не знал — чему? Но улыбка не сдерживалась. Потому, что улыбался он открывающейся жизни. Возле Александровского сада, Савинков, оглянувшись увидел темнобурый Зимний дворец, озаренный, во всем расстреллиевском великолепии, солнцем.

2.

Во дворце, в рабочем кабинете императора, выходящем окнами на Неву, статс-секретарь Вячеслав

Константинович фон Плеве докладывал о мерах к подавлению революционного движения в стране. Император знал, что именно он, Плеве, будучи директором департамента полиции раздавил революционеров.

У статс-секретаря умное лицо. Топорщащиеся усы. Энергия в глазах. Он похож на немецкого философа Фридриха Ницше. Плеве докладывал императору быстро, горячо говоря. Но Плеве казалось, что рыжеватый человек с голубоватыми глазами, не понимая, думает о постороннем.

Император кивал головой, задумчиво говорил: — Да, да. И снова забывал голубоватые глаза на твердом лице статс-секретаря фон Плеве.

3.

Извозчик ехал по Среднему проспекту Васильевского острова. Глядя по сторонам, Борис Савинков увидал на бечевке спускающееся объявление с балкона третьего этажа серого, запущенного дома. Савинков, указывая, ткнул извозчика.

По высокой, винтовой, полутемной лестнице подымался на третий этаж. Пахло запахами задних дворов. Но дома на Среднем были одинаковы. И, Савинков дернул пронзительно заколебавшийся в доме звонок.

Дверь не отворялась. За ней даже ничего не было слышно. Савинков дергал несколько раз. Но когда хотел уж уйти, дверь порывисто распахнулась. Он увидел господина в пиджаке, с поднятым воротником, без воротничка, с безумными глазами. Минуту господин ничего не говорил. Потом произнес болезненной скороговоркой:

— Что вам угодно, молодой человек?

— Тут сдается комната?

Человек с отсутствующими глазами не мог сообразить сдается ли тут комната. Он долго думал. И, повернувшись, пошел от двери крикнув:

— Нина, покажи комнату!

Навстречу Савинкову вышла девушка, с такими же темными испуганными глазами. Она куталась в большую шаль.

— Вам комнату? — певуче сказала она. — Пожалуйста проходите.

— Вот — проговорила девушка, открывая дверь.

Комната странной формы, почти полукруглая. Стол с керосиновой лампой, кровать, умывальник. Савинков заметил в девушке смущение. «Наверное комнат никогда не сдавала».

— Сколько стоит?

— Пятнадцать рублей, но если вам дорого...

Девушка, смутившись, покраснела.

— Нет, я беру за пятнадцать — сказал Савинков.

— Хорошо — и девушка, взглянув на него, еще больше смутилась.

4.

Императорский университет показался муравейником, в котором вертели палкой. Съехавшиеся с России студенты негодовали, тому, что были молоды, а Россия была на цепи. В знаменитом коридоре университета горела возмущением толпа. Варшавские профессора послали министру приветствие по поводу открытия памятника генералу Муравьеву-Вешателю. И от давки, волнения, возмущения, Савинков чувствовал, как внутри напрягается стальная пружина. Он протискивался в аудиторию. Вместо профессора Фандер Флита на кафедру взбежал студент в русской рубашке с закинутыми назад волосами, закричав:

— То-ва-ри-щи!

Савинкова ждали у кафедры. Он видел, как бледнел оратор, как прорывались педеля, а студент кричал

широко разевая рот. Аудитория взорвалась бурей молодых рук. У Савинкова похолодели ладони, дрожала острая дрожь. Взбежав на кафедру, он крикнул во все легкие: — Товарищи!

За ним поднимался увалистый толстяк, флегматично начавший цитировать Пушкина:

«Паситесь, мирные народы»

— Bravo, Щеголев! — Гром рук в который раз сотряс аудиторию. Сероразноцветной толпой студенты валили в коридор. Кто-то сжал локоть: — брат, Александр, в свежей форме горняка. Толпа разорвала. Против течения бежал студент Хрусталев-Носарь: — Провокация! В раздевальне суб-инспекция, педея обыскивают шинели! — Студенты рекой бросились вниз.

5.

За окном плыла серая, петербургская ночь. От возбужденья речью, толпой, Савинков не спал. Возбужденье переходило в мысли о Нине. Она представлялась хрупкой, с испуганными глазами. Савинков ворочался с боку на бок. Заснул, когда поси-нели окна.

Утром Нина проводила теплой рукой, по заспанному лицу, потягивалась, натягивая на подбородок одеяло. За стеной кашлял Савинков.

— С добрым утром, Нина Сергеевна — проговорил весело в коридоре.

— С добрым утром — улыбнулась Нина, не зная почему, добавила: — А вы вчера поздно пришли?

— Да, дела все.

— Я слышала, выступали с речью в университете — и не дожидаясь сказала: — Ах, да к вам приходил студент Каляев, говорил, вы его знаете, он сегодня придет.

— Каляев? Это мой товарищ по гимназии, Нина Сергеевна.

Смутившись под пристальным взглядом, Нина легко заспешила по коридору. А когда шла на курсы у Восьмой линии обдал ее снежной за ночь выпавшей пылью, синекафтаный лихач. И снежная пыль показалась Нине необыкновенной.

6.

Студент Каляев был рассеян. Долго путался в линиях Васильевского острова. Даже на Среднем едва нашел нужный дом.

На столе свистел самовар. Горела лампа в зеленом, бумажном абажуре. Савинков резал хлеб, наливал стаканы, слушал Каляева.

— Еле выбрался, денег, понимаешь, не было, уж мать где-то заняла — польски акцентируя говорил Каляев.

— С деньгами, Янек, устроим. Университет, брат, горит! Какие сходки! Слышал о приветствии профессоров?

У Каляева светлые, насмешливые глаза, непохожие на быстрые, монгольские глаза Бориса. Лицо некрасиво, аскетически-худое.

— Рабы... — проговорил он.

— Единственно революционная организация это «Касса». Я войду и тебе надо войти, Янек.

Каляев был задумчив, не сводя глаз с абажура, он сказал:

— Вот я ехал сюда в вонючем вагоне, набит доверху, сапожищи, наплевано. Всю ночь не спал. А на полустанке вылез, — тишина, рассвет, птицы поют, стою у поезда и всей кожей чувствую, до чего жизнь хороша!... а приехал — памятник Муравьеву, жандармы, нагайки. — Каляев махнул рукой, встав, заходил по комнате.

Над ночной стеной серых, грязных домов, в оборванном петербургском небе горело несколько звезд.

— Горят звезды, — тихо сказал Каляев, — в небе темно, а они горят, светят. Так и у нас. Беспросветно темно, а звезды всетаки есть. Горят и не гаснут.

Савинков, смеясь, обнял его.

— Ты поэт, Янек! Хочешь прочту тебе свое последнее стихотворение?

В зеленом сумраке, Савинков закинуто встал, зачитал отрывисто напевая:

«Шумит листвами
Каштан
Мигают фонари
Пьяно.
Кто то прошел бесшумно
Бескровные бледные лица
Ночью душной в столице
Ночью безлунной
Полной молчанья
Я слышу твои рыданья
Шумит листвами
Каштан
Пьяно,
А я безвинный ищу оправданья».

— Хорошо, по моему, — улыбаясь сказал Каляев. — Знаешь кого я люблю?

— Кого?

— Метерлинка.

7.

В Петербурге закачалась Казанская площадь. С утра из Чернышева переулка, с Невского залили ее черные, зеленые шинели студентов. Площадь переполнилась, заволновалась, пошел шум, гул голосов.

У Казанского собора на руках подняли оратора с развесающимися космами, в золотом пенсне. Студент кричал что есть мочи.

Тротуаром останавливались люди. — «Эка, невидаль собрались, ну бунтуют и бунтуют». — «Да кто бунтует?» — «Студенты бунтуют» — бормотал плотный бакалейщик в поддевке, протискиваясь сквозь толпу.

Волосы оратора вились, тряся нос в насевшем пенсне. На другом конце подняли другого, плотного с короткой шеей, в очках, под бобрика. Потом из толпы вынырнул третий, красивый, в щегольской шинели. И щегольской металлически закричал: — Вперед товарищи!

Сцепляясь под руки студенты и курсистки двинулись к Невскому.

Конные полицейские с торчащими султанами шапок, вместе с казаками полным аллюром вымахнули с Александровской площади. Есаул с черными усами гаркнул: — Шашки вон!

Кони, взяв с левой ноги, перешли в карьер. Есаул с розмаху ударил переднего, красивого, щегольского. Студент упал под-лошадь. Вороная кобыла прыгнула. Чувствуя, как изгибается всадник, нанося удары по спинам, плечам, головам, кобыла крутилась, бросалась, радостно несясь в круге разбуженных паникой лошадей, вертящихся с седел казаков и падающих тел.

По Караванной бежали Каляев и Савинков. Залетевший казак вытянул студента в черной шинели и, качаясь в седле, повернув на задних, бросил вскачь коня, к сотне несшейся Невским.

8.

Три тысячи студентов выламывали университетские двери. В аудитории, где некуда было пасть яблоку громоподобным голосом кричал председатель

Волькенштейн, толпились ораторы — Савинков, Каляев, Свицерский, Иорданский, Хрусталеv - Носарь, Щеголев, Ладыженский.

— Господа, — опершись о кафедру говорил ректор. — Я понимаю возмущение, но к чему беспорядок? Я был у графа Делянова, он заверил, что доложит государю.

Зал разорвался свистом, топотом. Сходка грянула сочиненную Каляевым «Нагаечку».

9.

Нина знала быстрые шаги по коридору. Знала, что торопливо отпирает дверь. Савинков знал, почему торопился со сходки. Поднимаясь, внутренне проговорил: — «В окне свет». — Войдя, услышал: — Нина поет вполголоса за стеной. И чем слышней пела Нина, тем сильней хотелось ее видеть.

Мотив кончился. Потом возник. Савинков услышал: мотив пошел в столовую. Снова стал приближаться. Когда был у двери, Савинков распахнул:

— Как вы напугали — вздрогнула Нина.

Движение было: поддержать. Савинков сказал:

— Я только что пришел, зайдите, Нина Сергеевна, посидим.

Нина волнения не видела.

— Вы сегодня не ходили на курсы?

— Почему?! Была.

— Ах были? Слушали Лесгафта, он любимец курсисток...

— О Петре Францевиче так стыдно говорить.

— Почему?

С Шестой линии со звоном, грохотом вывернувшись загремели пожарные. На далекой каланче запел жалобно набат. Нина обрадовалась пожару, чтоб встать. Подойдя к окну, сказала:

— Пожар.

— Да.

В темноте белого снега, с факелами, улицей скакали пожарные. Бежали люди. Сзади смешно ковыляла толстая женщина с палкой.

— Где-то горит, — проговорил Савинков. Нина чувствовала, он так близко, что нельзя обернуться. Нина не успела подумать, хотела закрыть глаза, вырваться, повернуться. Вместо этого — закружилась голова. Савинков, держа ее, целовал глаза, щеки, руки. Нина услышала запах одеколона. Что говорил, не разбирала. Видела что бледнеет, став необыкновенно близким. И, почувствовав, что под шопот падает, Нина закрыла глаза. Не испытывая счастья, обхватила его за плечи.

10.

На Подъяческой у курсистки Евы Гордон бушует собрание. Комната тяжело дышит дымом. Но квартира безопасна. Потому так и спорят члены кружка «Социалист». Брюнетка с жгучим, семитским очерком, Гордон стоит у двери. Посредине жестикулирует марксист-студент Савинков, требуя политической борьбы, сближения с народниками. Слушает рабочий Комай, упершись руками в колена с лицом, словно вырубленным топором. Раскуривает студент Рутенберг. Поблескивает черным пенсне краснорыжий человек средних лет с лошадиным, цвета алебаstra, лицом М. И. Гурович, сидит он возле рабочего Толмачева, смуглого цыгана ращепившего складками переносицу, чтобы лучше понять Савинкова.

Савинков говорит о борьбе, терроре. Приливает к сердцу Толмачева тоска. Хлопает в мозолевые ладоши. И Гурович аплодирует, крича:

— Правильно!

— Товарищ Гурович, тише! — машет хозяйка, — вот уж какой вы, а еще старший.

— Ах, что вы товарищ Гордон!

— Правильно, Борис Викторыч! — кричит Комай. Савинков протягивает руку за остывшим чаем. Но руку горячо жмет Гурович.

— Удивительно говорите, большой талант, ба-
тюшка, — отчески хлопает по плечу.

— Расходитесь, расходитесь товарищи...

— Не все сразу.

— Вам на петербургскую, товарищ Савинков?

Савинков и Гурович выходят с Подъяческой. Оба чувствуют, как было накурено. Охватила сырь отсыревших за ночь мокрых панелей. А Ева Гордон открывает окно. И зелено-синим столбом тянется дым кружка «Социалист» вверх, в побледневшую петербургскую ночь.

11.

Из-за Невы бежал синеющий рассвет, дул крепкий приневский ветер, Гурович в темносинем халате с пушистыми кистями сидел, задумавшись, в кабинете. Эту весну он решил провести в Крыму. Лицо было сосредоточено. На листе ин-фолио вывел — «Директору департамента полиции по особому отделу».

Просторная квартира выходила на набережную. Нева просыпалась. В елизаветинские окна вливалось солнце, заливая Гуровича за столом снопом яркого света.

12.

Нина была счастлива. Брак с Борисом иначе нельзя было назвать. Но все ж малым углом сердца хотела большего. Больше ласки, участия, ждала тихих слов, чтоб в любви рассказать накопившееся.

— У меня нет жизни без тебя, Борис.

Савинков смотрит, смеясь. Думает: — женщину трудно обмануть, она по своему слышит мужчину.

— Ты, Борис, меня меньше любишь, чем я тебя. Ведь когда ты уходишь, у меня замирает жизнь. Ты даже не представляешь, как я мучусь, боюсь, когда ты на собраниях.

— Впереди, Нина, больше мучения. Я только начинаю борьбу.

— И я пойду с тобой. Разве не было женщин в революции?

— Женщины в революции никого не любили кроме революции — смеется Савинков монгольскими углами глаз.

13.

Каляев сегодня был бледнее обычного. Худые плечи, прозрачные глаза, скрещенные, похожие на оранжерейные цветы, руки с тонкими кистями. Он казался Савинкову похожим на отрока Сергея Радонежского с картины Нестерова.

В подстаканниках стояли холодные полустаканы. Каляев задумчиво забывал в пространстве светлые глаза. Говорил Савинков.

— Янек, хочется дела — расхаживал он по комнате. — Хочу практики, я, Янек, не люблю теории, живой борьбы хочу, чтобы каждый нерв чувствовал, каждый мускул, вот я и против тех, кто в нашей группе придавлен экономизмом, отрицает необходимость борьбы рабочих на политическом фронте. Возьми вот «Рабочую мысль» ведь читают с жадностью, даже пьяницы, старики читают. Задумываются, почему, мол, студенты бунтуют? Стало быть нельзя смотреть на рабочего, как на дитяtko. У него интересы выше заработной платы. А у нас не понимают, поэтому отстают от стихийного подъема масс. А подъем, Янек, растет на глазах. И горе наше будет в том, если мы, революционеры, не найдем русла по которому бы пошла революция. Ты знаешь, вот Толмачев, молодой красавец слесарь, рассказал я им на Александров-

ском сталелитейном о народовольцах-террористах. Едем с завода, а он вдруг — эх, Борис Викторыч, как узнал я от вас, что в Шлиссельбурге еще 13 человек сидят — душа успокоиться не может! — Чем это кончится? Бросит такой Толмачев кружки наших кустарей, выйдет на улицу и всадит околодочному нож в горло!

Нина любила, когда горячился Борис. Он действительно походил тогда на барса, как смеясь говорил Каляев: — «ходил как барс, по слову летописца».

Савинков резал шагами комнату.

— Ты о чем, Янек, думаешь? — проговорил, остановившись.

Каляев поднял нервное лицо, сказал:

— Разве не стыдно сейчас жить? Разве не легче умирать, Борис, и даже... убивать?

14.

Санкт-Петербург стоял гранитным утопленником, окутанным в саван туманов. Утренниками разливался он сливочногусто. В такой туман из дома на Среднем вышел молодой маляр в продырявленном, мазанном краской фартуке, с ведрами. В ведрах: — «Герои 48 года», «Как министр заботится о рабочих», «Фабрика Максвеля», «Как он снова борцом стал».

Савинков с ведрами ехал за Невскую заставу в кружок семянниковцев. Дважды уже ездил с ним обросший слесарь. И сегодня поехал, за молодым маляром.

15.

Жандармский ротмистр близко нагнулся к карточке, был близорук. Рванул звонок четыре раза, не оборачиваясь на солдат.

Савинкову показалось — потоком хлынули жандармы, а их было всего четверо. Ротмистр с злым,

покрытым блестящей смуглью, лицом шагнул на Савинкова.

— Вы студент Савинков? Проведите в вашу комнату.

В комнате, опершись руками о стол, стояла бледная Нина.

— Проститесь с женой.

Сдерживая рыдания, Нина не могла оторваться от холодноватых щек. Нине хотелось упасть. Но лишь — взглянула. Он ответил взглядом, в котором показались любовь и нежность.

Находу застегивая черную шинель золотыми пуговицами с орлами, Савинков вышел с жандармами. Нина слышала шаги. Видела, как тронули извозчики. Наступила тишина. И Нина, всплеснув руками, потеряла сознание.

16.

Ночь была тепловатая, весенняя. Город таял в желтом паре фонарей. Прямые улицы, бесконечные мосты в эту ночь стали прямее, бесконечнее. Савинкову казалось, жандарм едет с закрытыми глазами.

В спину дышала лошадь. На Зверинской обогнали веселую кампанию мужчин и женщин. Из кампании летели визги. Савинков видел: — путь в Петропавловку. «Ничего не нашли, неужели провокация?» — думал он. Извозчик ехал крепостным мостом, темнела Петропавловская крепость.

Савинков вздрогнул, перекладывая ногу на ногу. — Холодно? — спросил жандарм.

Из темноты выступили мрачные здания, кучи кустов, «как в театре» — думал Савинков. Выросли бездвижные силуэты часовых. Шли с звоном многих ног. Но, казалось, как по кладбищу. Мягкий звон развлекал ночь крепости. Желтый свет фонарей освещал лишь короткое пространство. Стлалась темнота.

От ламп в конторе Савинков закрылся рукой.

— Пожалте — сказал офицер.

Савинков шел длинным, как кишки, корридорм.

— Сюда — сказал голос.

Савинков вошел в темноту. И дверь замкнулась.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1.

Вологодская губерния была розового цвета в детской братьев Савинковых, на карте Европейской России. На уроках отечественной географии не нравилось Борису Савинкову слово «Во-лог-да». Было в нем что-то холодное и розовое, похожее на тундру и клюкву.

А теперь ссыльный Савинков идет Вологдой. Скрипит на морозе деревянный тротуар. На Галкинской-Дворянской, где живет он в доме костела, даже тротуара нет. Можно утонуть в пушистых сугробах. Краснорожие мальчишки-вологжане, похожие на анисовые яблоки, возьмется день-деньской с салазками против дома.

Политикантишке, как зовут северяне-туземцы ссыльных, не пристало, конечно, рассуждать об обычаях Вологды. Чай тут пьют с блюдечка, при этом свистят губами, словно дуют в дудку. Многие вологжане отрицают носовые платки. Город хлебный, рыбный, лесной. И губернатор граф Муравьев принимает подношения именитого купечества, которое тоже собственно сморкается в руку, но при его сиятельстве вынимает душенный платок.

Это не Москва и не Петербург, где агитаторы, студенты, рабочие, интеллигенты. Тишь и гладь. Северный, суровый, спокойнейший край Вологда, «верный монарху и трехсотлетней династии», как доносит на высочайшее имя губернатор граф Муравьев.

Только мальчишки здесь озорны. Прямо на улице зимами играют в снежки, а летом в лапту и рюхи. И прохожие жалуются на безобразие. А купец Сивожелезов даже вошел с соответствующим заявлением к полицмейстеру Суровцеву.

2.

Все-таки много хлопот губернатору. Со всей империи шлют поднадзорных. Сколько нужно полицейских чинов, чтобы только утрами поверять: — все ли целы.

К Савинкову в дом костела ежедневно приходит стражник Шукин. И каждоеутренне говорит: — Здравствуйте, господин Савинков.

— Здравствуй, Шукин.

Переминается у порога дегтем смазанными сапогами Шукин, хмыкает. Он добродушен, это видно по усам.

— Видишь, никуда не убежал.

— Да куда тут, господин Савинков, бежать. Леса. Лесами куда убежишь? Да и бежать чего, живете дай бог всякому. Прощайте, господин Савинков.

— Хочешь покурить, Шукин?

Шукин, смеясь, культяпыми пальцами берет барскую папиросу.

Но только вначале был доволен Вологдой Савинков. Когда отдыхал, когда вернулся голос, после девяти месяцев крепости ставший от молчания похожим на голос кастрата. Теперь всякий шум не казался громовым, как в звенящей тишине каземата. Но скучно становилось в вологодских снегах.

Из колонии дружил с писателем А. М. Ремизовым, который звал ссылку «Северными Афинами», с пушкинианцем П. Е. Щеголевым, с адвокатом В. А. Ждановым, с тихим студентом политехником Борисом Моисеенко.

На святки Вологда покрылась рыхлым одеялом, сквозь которое не пролезть не только человеку, а и белому медведю. В кружащейся белизне стали незаметны белая тюрьма, белые правительственные здания. Все утонуло в снеге. Накрылось тишиной. Только собаки лают по дворам. Над Вологдой висит белая тоска.

— Невыносимо, ребята, сопьемся, онанизмом начнем заниматься — говорит за преферансом Савинков.

Определившись животом вздыхает Щеголев.

— В театр поедемте.

Но какая тишина. Снег, снег, снег. Огни, лай. Вот и вся Вологда. У извозчиков допотопные сани, рассчитанные на вологодские семьи. В восьмером можно садиться. А не втроем, как сели Савинков, Щеголев, Жданов.

В вологодском театре давали «Взятие Измаила». Был буфет с холодными, горячими закусками, водкой, винами. Разбитному лакею Савинков заказывал шампанское.

— Три-с? — откачнулся мальчишка. Спрошу есть ли, вашебродь, мы шампанского много не держим.

После «Взятия Измаила» рассаживались вологжане закусить. Городской голова, земские гласные, чиновники акциза. Сам граф Муравьев для единения власти с народом сел за средний стол.

Разбитной мальчишка подхватив ледяное ведро с зазеленевшими редерерами тащил, несколько колыхаясь под ношей. — Последние принес вашебродь. — И с безумным грохотом револьверными выстрелами летели вверх мягкие пробки. Залетев в Вологду путалась золотом в бокалах французская влага.

Граф Муравьев вздрогнул. Обернувшись, видит: — политический ссыльный Павел Елисеевич Щеголев отхлебывает редерер!

Наступило замешательство. У хозяина затряслись ноги, замерещилась каторга.

— Как! — кричит граф Муравьев.

В зале столпотворение. Но губернатор уже встал, вместе с ним и начальник канцелярии де сан Лоран и чиновник особых поручений Кукин.

Граф возмущенными шагами идет из буфета.

— Нет, вы только подумайте! Альберт Эмильевич! Неслыханное в государстве... — кричал граф Муравьев де сан Лорану — Ооооо! — задохнулся граф — заготовьте сейчас же бумагу — за демонстративное пьянство ссыльных политических, находящихся под гласным надзором полиции в фойе театра воспреещаю встречи и проводы на вокзалах и пристанях. А за неисполнение, — побагровел губернатор — в уезд! в уезд! — закричал он, топнув ногой в черной брюке с красным лампасом так, что золотое шитье на черном мундире передернулось от невероятного гнева.

4.

Сад нахохлился толстым инеем веток. Крепкая телом Анисья скользит в валенках бесшумно. У Анисьи смешные глаза, как из дрожжей смотрит. Собственно надо бы пощупать, чем дышит эдакая туземная, вологодская башня. Утром, убирая комнату, широко расставляет ноги. Савинков видит, что ноги, как хорошие стулья под дом, на подставу.

Анисью он обнял сзади. Анисья ахнула, зашептав. Но Савинков не слышал. И стало еще скучнее от сугробов, от снеговой тишины, от анисьиной любви в валенках.

Идя в глубоких ботах Галкинской-Дворянской, Савинков решил: бежать. Думал в Вологде о многом. Больше всего об одном выстреле. Чувствовал волнение.

В переданном письме описывали, в вестибюль Мариинского дворца вошел высокий министр Сипягин в теплой шубе с воротником. За ним следом в адью-

тантской форме с пакетом — красивый офицер. Передавая пакет Сипягину от великого князя, офицер выпустил пять пуль в министра. Тучный министр Ванновский сбегая лестницей кричал: — Негодяй! Раздеть! Это не офицер, это ряженный!

Савинков шел потухающими вологодскими улицами. Улицы мертвые. Огни вогнаны в натопленные спальни, опочивальни, в гостиные с плюшевыми креслами в пуговичках, с граммофонами, качалками, с чаем, малиновым вареньем, с шафраном, шалфеем, с хлебным квасом.

5.

По России народнической агитаторшей ездила бабушка русской революции Катерина Брешковская. В Уфе видалась она с Егором Сазоновым. В Полтаве с Алексеем Покотиловым. В Саратове, Киеве, Курске, Полтаве, Каменец-Подольске, Царицыне, Варшаве — везде побывала властная, старая каторжанка, вербуя партии новые силы.

В Ярославле виделась с ссыльным Каляевым. Он передал письмо Савинкова. Брешковская была на пути в Вологду, где становилось Савинкову невыносимо жить. Мерещился выход на сцену, залитую миллионами глаз, бластилась смерть и слава.

Савинков распечатывал телеграмму.

«Приеду пятницу. Нина».

Савинков забыл о Нине. Правда, писал ей, что кругом скука, бело, что в голове бродят стихи. Но он не ждал ее. За дверью мягко прошуршала Анисья. Анисья стоит у двери. Савинков знал, зачем тихо стучит Анисья. Но сидел, куря папиросу. Валенки заскользили в сени. Снова зашипели валенки. Савинков распахнул дверь.

— Испужали вы — в тихий распев проговорила Анисья.

Опять скучно кололись анисьины губы, которые она сжимала, прижимаясь сухими, крепкими, жадными до любви.

— Ох, кабы купец то мой не стрянулся — Анисья вышмыгнула за дверь.

На кустах перепрыгивали иванцы, снигири, — предвестники скорой тали. «Весна тут наверное тягучая, ручьистая», — думал Савинков.

6.

Как ехала, как волновалась Нина! Все выходила из продымленного табаком вагона с розлитыми по полу чаем и детской мочей. Но не потому, что пищали кривоногие дети, топочась по полу мчащегося вагона и надоели священник с попадьею пившие девятым чайник. Нина вставала, мысли не укладывались в хрупкой голове, подымали со скамьи.

Стоя у окна, Нина чувствовала, как волнение за Бориса сплетается с волнением за дочь. Но от чувства к Борису в углу груди крылом учащалось сердце. И Нина всматривалась в окно: неслись темные ели, на порубе широкой плешью пролетел лесопильный завод с ходящими там людьми, которых Нина никогда не увидит.

От налетавшего ветра Нина прикрылась рукой, не попала бы в глаз гарь. Вспоминала монгольские, скошенные глаза. «Ах, Борис, Борис».

Рубленые дома рванулись вихревой лентой, кругом зашумел воздух. С закрытыми глазами можно узнать, поезд мчится сквозь строения. На красном казенном здании: «Товарная станция Вологда». Летят мимо люди, ели, дрова, шпалы, розовые штабели кирпичей. Поезд заревел. Нина увидела совершенно такую платформу, как представляла.

— Простите пожалуйста, — перед Ниной стояла очень худенькая девушка, похожая на воробья, — вы к ссыльному Савинкову? вы его жена?

— Да, я Савинкова — и не в силах держать чемодан Нина опустила его.

— Борис Викторович просил вас встретить и проводить — заторопился, краснея, воробей — ссыльным запрещено у нас встречать на вокзале. Давайте чемодан.

— Ах, да что вы.

— Ну понесемте вместе. Борис Викторович далеко от вокзала.

Подбежал широченный носильщик с бляхой. Нина, смеясь, сказала:

— Возьмите пожалуйста, нам не под силу.

Нина села в широкие сани. Была рада, что носильщик веселый. Что буланая вятка веселая. И девушка веселая. А главное солнце весело разлилось пятном огненного масла в голубоватой прозрачности.

7.

Савинков стоял у окна, смотря далеко в улицу, откуда должна была ехать Нина. Он думал, что в сущности Нина конечно хороший человек. На Галкинскую-Дворянскую вынырнула буланая голова вятки. Он сказал: — Нина. Действительно в санях была Нина.

Она не помнила, как вылезала, как шла сенями, как с любопытством в отворенную щель смотрела Анисья. Помнила, как открыла дверь и бросилась к Борису.

— Ну, ну, Нина, ну, ну — смеясь, усаживал ее Савинков — у меня прежде всего дисциплина, умывайся вот тут, а потом — Анисья! — крикнул он — давайте ка самовар!

Нина, как после сна, проводила рукой по лицу.

— Я все не верю, что у тебя, что это ты. Ты очень изменился.

— Польсел, постарел, но такой же «бесконечно милый»?

— Милый, милый — шептала Нина.

Не стучась, черным валенком распахнула Анисья дверь и тяжело ступая пятками, деревянно пронесла к столу самовар.

8.

Где-то над Сухоной задержалось еще огненное солнце. А на сугробы улиц уж легли от домов тени.

Савинков и Нина шли деревом скрипящего тротуара. Зимний сумеречный вечер тих. Снег потерял белизну, стал синим. Над ним плывет благовест со рока церквей. И в зимнем воздухе неуловимо чувствуется весенняя талость.

— Вот ты здесь и мне ничего не надо. Я сама вся другая.. Душа наполнилась. А без тебя все казалось, что я пустая, кривобокая какая-то — смеется Нина. — А сейчас все так хорошо.

Савинков смотрит в снег, курит папиросу, она раскуривается огоньком в синих сумерках.

— Если б ты знал только какая Танюшка чудная. Очень похожа на тебя. Какая это радость. Я теперь, знаешь, на нерожавших женщин смотрю с жалостью. Они все кажутся мне несчастными и даже те, которые работают с вами, такие как Фигнер, Перовская.

— Это другие женщины. — Савинков отбросил папиросу в сугроб.

— Может быть. Когда мне в больнице принесли кормить девочку, я думала, что сердце не выдержит...

Савинков смотрел в тающую даль улицы.

— Как называется эта улица? Здесь смешные названия.

— Трехсвятительская.

В окнах Трехсвятительской играли абажурами керосиновые лампы.

— Как тут тихо.

— Нина, у меня есть дело.

Нине хорошо. Даже не вслушиваясь, смотря на проходившую в окне с лампой женскую фигуру, сказала:

— Да?

— На днях ко мне приедут от эс-эров. Я решил бежать.

Они выходили на площадь. Из собора от вечерни густой толпой шли люди. Было видно в двери, как тушили большую люстру. Нина хотела бы умолять, просить, уговаривать.

— Что же... это бесповоротно?

— Я жду каждый день. Побег зависит от этого приезда и от погоды.

Дом костела, где жил Савинков, был темен. У калитки Нина сказала:

— Стало быть опять... одна...

Анисья в сенях вздувала лампу.

9.

Когда утром постучали в дверь, Нина вздрогнула.

На пороге стояла плотная, старая, незнакомая, плохо одетая женщина. У нее было красное, обветренное лицо с грубоватыми чертами.

— Спасибо, голубушка — говорила женщина Анисье, кивая ей головой, пока Анисья не ушла.

— Борис Викторович Савинков? — сказала она.

— Да.

— В Баргузине морозы в 40 градусов — проговорила старуха.

— Что такое? — думала Нина.

— Бывали говорят и сильнее — улыбнулся Савинков.

— Ну вот мы и знакомы! Катерина Брешковская — трясла она руку Савинкова. — Слышали верно? а?

— Боже мой, ну как же, Катерина Константиновна? Вот не думал.

Брешковская приложила палец к губам.

— Ушей-то за стенами нет?

— Ни-ни, все спокойно, мы во флигеле. Моя жена — сказал Савинков.

— Очень, очень приятно, тоже наша? ну конечно, конечно — говорила бабушка.

— Прежде всего, Катерина Константиновна, вы конечно с нами откушаете.

— От трапезы не отказываюсь, путь высок и далек — смеялась бабушка, закуривая.

Нина вышла на кухню. Идя, поняла, что эта высокая, стриженная старуха увезет ее счастье. «Зачем? Для чего?» Нине хотелось рыдать.

— Анисья, голубушка, — сказала она, — дайте еще тарелку и нож с вилкой.

Входя в комнату услышала:

— Каляев вам передал? Янек? Ну, как он, бодр?

— Чудный, чудный — растягивая «у» говорила Брешковская.

10.

Брешковская была весела, разговорчива, курила папиросу за папиросой. Нине было странно, что вот эта женщина и есть знаменитая бабушка русской революции. Брешковская много ела. Оставляя еду, обводила пронзительным взглядом темносерых глаз.

— Так-то вот, батюшка, — говорила — не так-то это просто было после двух-то каторг да семилетнего поселения опять в борьбу да в жизнь броситься. В Забайкальи-то жила, в глуши, среди бурят. Степь кругом голая. О России ни весточки, так слухи одни, да все тревожные. Все старое, мол, забыто, огульно отрицается, марксисты доморощенные появились, все блага родине завоевать хотят, так сказать, механически, ни воля, мол, ни героизм не нужны, бабьи бредни, да дворянские фантазии. Да, да, батюшка, тяжело это было среди бурят-то узнавать, в степи-то, да не ве-

рилось, неужто же, думаю, наше все пропало, для чего же столько воли, да крови, да жизней отдано? Не верилось... нет... нет — качала седой головой старуха, улыбаясь буравящими глазами.

— Вы когда же вернулись, Катерина Константиновна?

— По Сибири то, батюшка, в 1892 году, со степным бурятом Бахмуткой тронулась, через Байкал, ах какая эта сибирская красота! ах какая у нас, батюшка, могучая родина то! а? А в Москву прибыла только в 97-м. Разрешили тогда уж в Европейскую Россию приехать. Вот приехала, да чего скрывать с большим страхом приехала. Все думаю неужто ж наше все погибло, неужто и молодежь то не наша. Пришла я, батюшка, в Москве на первое собрание, всякая там молодежь была, ну да марксистов то больше, стала говорить первую после каторги речь, а вышел плюгаш, мальчишка осмотрел меня с ног до головы «да куда вы, говорит, старушенция, лезете, вашего Михайловского, говорит давно Бельтов разбил. А процесс ваш 193-х был дворянским процессом. И Народная ваша воля была с пролетариатом не связана». Осмотрелась я — все молчат. Взяла свою сибирскую шапку с ушами, плюнула, да пошла прочь! А вслед мне барышня из самых модных кричит: — «Что это за Брешковиада, такая тут шляется!»

Брешковская отставила тарелку, крепко утерлась салфеткой и улыбнувшись сказала весело:

— Да, да батюшка нелегко это все было слышать. Ну да, теперь то уж иное дело пошло. У нас теперь сил то во сто крат больше, наша то закваска сильней оказалась, батюшка, так то!

— Вы говорите о социалистах-революционерах?

— А о ком же, батюшка? О них, о них, только смешно мне теперь когда везде так говорят — социалисты-революционеры. Ведь это же я назвала их так. Думали о названии. А чего тут думать? Говорю, стойте, вы считаете себя социалистами? Да. А считаете себя революционерами? Да. Ну так и при-

мите, говорю, название — социалистов-революционеров. На этом и согласились. Так то, сударь, все великое то в миг рождается, — бабушка раскатисто засмеялась.

— Да, да — прерывала молчание Брешковская. Нина поняла, что старуха ждет, когда Нина выйдет. Нина встала, вышла. Накинула шубу. С трудом отперла примерзшую щеколду. Завизжала калитка. Нина шла не зная куда, закрываясь муфтой.

11.

— Ну в чем же дело то, батюшка, — понизив голос, подсаживаясь к Савинкову начала бабушка. — Тоже марксизмом по первоначальному увлеклись? Да? А теперь захотелось волюшки да свободушки, распрямить крылышки да? то-то!

Она не давала говорить.

— Да марксистская программа меня не удовлетворяет, Катерина Константиновна, во первых пробел в аграрном вопросе.

Брешковская кивнула головой.

— Во вторых жить и работать пропагандно тоже не по мне. Хочу террора, Катерина Константиновна, настоящего народовольческого.

— В террор хотите? — сказала, пристально вглядываясь в Савинкова. — Что ж в добрый час, батюшка, чего же в сторонке то стоять, к нам, с миром надо работать. Решили рубить, чего ж тут взяли топор и руби. Только как же — отсюда то? Ведь за границу надо бежать?

— Конечно, — рассмеялся Савинков. — Не здесь же начинать. Настанет весна, убегу. Я уж обдумал.

Прищурившись, Брешковская вспоминала свой побег по тайге из Баргузина с Тютчевым.

— Ну да — заговорила страстно и тихо старуха, — бегите, дорогой, бегите и прямо в Женеву к Михаилу Гоцу, там все наши сейчас, я сообщу, а вы перед

побегом бросьте открыточку на адрес Бонч-Осмоловских, в Блонье, Минской губернии «поздравляю, мол, со днем рожденья».

12.

Когда Нина вошла, бабушка рассказывала:

— Мы с Гоцем то сначала не поладили. Он мне говорит: — «все вы к крестьянству льнете бабушка, а пора уж с этим кончать». Ну, а потом помирились. Вернулись? — обратилась бабушка к Нине. — А я вот видите все сижу, никак выбраться не могу, да ведь редко доводится с такими людьми то как Борис Викторович поговорить, душу то отвести.

— Что вы, что вы, я очень рада, вы бы у нас переночевали Катерина Константиновна.

Брешковская засмеялась.

— Ах, барынька, сразу видно что плохая вы конспираторша, да разве ж можно у поднадзорного мне каторжанке ночевать? Что вы, милая. Это раз было в Минске... — начала новый рассказ бабушка, но мельком увидав часы, спохватилась.

— Ох, силы небесные, заболталась. Мне ведь с сегодняшним ночным дальше. Вот если б вы меня до вокзала проводили, Борис Викторович.

Брешковская поднялась. Когда вставала, Савинков заметил, что стара уж бабушка, пересидевшие кости подняла с трудом.

— Вы куда же сейчас Катерина Константиновна?

— В Уфу. Там много народу. Есть и из марксистов, Ленин, Крупская. Только, ох уж не люблю, грешница, я этих механиков, не нашего поля ягоды, не нашего батюшка — говорила бабушка, надевая сибирскую мужскую шапку с наушниками.

13.

Весна шла с развальцем, как насносях баба. Снега пошли таять голубыми ручьями. В апрельский голу-

бой день уехала Нина. Савинков ходил к пристаням говорить с архангельскими рыбаками, об Архангельске, о кораблях в Норвегию. Присматривался нет ли подходящего. Даже пил с рыбаками водку в трактире Проскурятина. Но толком рыбаки ничего не рассказали. Время шло. Ждать было трудно. Савинков без обдумыванья решил бежать в понедельник.

В широком, английском пальто на рассвете вышел он из дому. Находу, в утреннюю свежесть сказал: «начинается».

На вокзале с чемоданчиком прошел в купе первого класса. Как бы отвернувшись, наблюдал в дверное стекло платформу. Элегантный господин закрывался «Новым Временем», пока не ударил третий звонок. Савинков высунулся из отходящего поезда. На платформе в синих рейтузах ходил спокойно жандарм. Начальник станции медленно шел в служебную.

Навстречу бежали ели. Окно наполнялось прелью просыпающихся лесов. Свежесть мешалась с гаревом дудящего паровоза. Савинков походил на англичанина, ехавшего на архангельские лесопильни.

Но когда рельсы стали раздваиваться и по сторонам замигали дощатые домики, у Савинкова екнуло сердце. Паровоз пел сиреной. «Не запереться ли в клозете, из окна буду видеть всю платформу?» Поезд шипел тормазами. «Ерунда», — сказал Савинков, идя коридором.

В буфете I-го класса под пыльной пальмой Савинков крикнул: — Кофе и сухарей!

— Когда отходит пароход на Печеньгу — спросил англичанин лакея, поднесшего кофе.

— На Печеньгу-с сегодня в 5.15.

— Через час?

— Так точно.

— Сколько езды до пристани?

— Минут пятьдесят.

Савинков бросил рыжий рубль и кинулся к выходу.

Кляча шла вскачь по архангельской площади.

— Да скорей же! — кричал Савинков.

У пристани был виден дымивший трубами пароход с золотой надписью над клюзом «Император Николай I-й». По сходням шли люди. В кассе, не торопясь, плавали пухлые руки барышни.

— Скорей барышня, пароход отходит!

Руки выкинули билет, отсчитывая сдачу. Барышня могла бы слышать бой сердца. Оно ударяло еще сильнее, когда за минуту до отхода в давке на сходнях Савинков скользнул на пароход.

«Запереться?» Савинков повернул ключ каюты. Минута длилась годом. Низким, пронзительным гудом заревел «Николай I-й». Архангельские берега стали отходить...

14.

Прыгавшие волны Белого моря были грязны. Савинков ходил по палубе. Самым подходящим казался бронзовый скуластый штурман с глазами моржа и мясистым носом. Ветер несясь встречь кораблю. Рвал одежду, обжигая ледяными иглами.

— Сколько узлов идем? — подходя к штурману спросил Савинков, ветер обтянул его пальто, трепля вокруг тела.

— А сколько вам нужно? — пробасил штурман, взглянув из под седых бровей.

— Да мне все равно, — засмеялся Савинков, — я не тороплюсь, мне в Печеньгу, только ветер вот встречь, того гляди с палубы сорвет, вот и спрашиваю.

— Чай не на паруснике. Двадцать узлов.

— А когда в Вардэ будем?

Штурман сел на тросы и сплюнул.

— Да вам же в Печеньгу?

Достав резиновый кисет, штурман загрублым рыжим пальцем набивал трубку.

— Вот что, господин штурман, — присел рядом Савинков. — Хочу посоветоваться. Еду в Печеньгу по рыбной части, а мне бы до Вардэ нужно.

Штурман вытянул из под себя ногу, полез в широкие штаны за спичками.

Савинков поднес в пригоршне спичку и когда штурман раскуривал, проговорил:

— Устройте дело, я отблагодарю.

— Тут устраивать нечего, — жирно сплюнул штурман. — Оставайтесь на корабле, в Вардэ сойдете, а переночевать опять на корабль придете. Обратным рейсом в Печеньгу.

— Но у меня заграничного паспорта нет.

С капитанской рубки крикнул капитан.

— Никакого паспорта не надо, — пробормотал штурман. И пошел к рубке походкой раскаченной тысячью качек.

15.

Распуская по морю черные, змеящиеся дымы, пароход «Николай I-й» шел к малахитовым далям Варангер-фиорда. Море было пустынно. Словно от пустынности, стена, за кораблем неслись чайки.

Савинков смотрел на плывущие на корабль берега. Он уж знал, что штурман — Петр Семенович Чумаков из Архангельска, у него жена и двое детей. Чумаков покуривал рядом, подогреваясь на машинном отделении.

— Не терпится?

— Да уж скоро, кажется.

Близко стоя, штурман показал пальцем в далекую даль Варангер-фиорда, туда где полушаром надувался горизонт.

— Маяки видите? Вардэ. К вечеру будем.

За краем света в море начало опускаться красное солнце. «Император Николай I-й» бросил якорь у норвежского порта Вардэ. Минуты, когда авралили

матросы, заводя стальной трос были нестерпимы. Савинков уже шел к трапу, навстречу прямо на него поднялись три рослых человека в странной форме. «Жандармы». Лица были желто-каменны. Но — чиновники норвежской таможни его пропустили.

Савинков садился в дрожавшую на подымавшихся волнах шлюпку. В двенадцать весел ударили матросы. Шлюпка рванулась. Савинков наконец понял, побег удался. Выпрыгнув на норвежскую землю, он наугад пошел к горевшим огнями незнакомым домам. Матросы потеряли его из виду.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

1.

Центр партии социалистов-революционеров был у кресла Михаила Гоца. Гоц огонь и совесть партии. Худой, с вьющейся из под шеи, добролюбовской бородой и библейскими глазами, Гоц несколько лет сидел в кресле. Кресло его возили на колесиках. Шестилетняя каторга Гоца началась избиением политических в Средне-Колымске. После избиения у Михаила Гоца появилась опухоль на оболочке спинного мозга.

Когда Савинков позвонил на женевском Бульваре Философов в квартиру Гоца, у кресла сидели: — теоретик партии с гривой рыжих волос и косящим глазом В. М. Чернов, Е. К. Брешковская и светлорусый студент с экземой на приятном лице Алексей Покотилов.

Входя, Савинкову показалось, что кто то болен. И рыжий человек, очевидно, врач.

— Батюшки! Михаил Рафаилович! вот он беглец то наш! — бросилась Брешковская и с Савинковым крепко расцеловалась. — Вот он! — тащила его к креслу Гоца.

Гоц приподнялся, улыбкой светящихся глаз смотря на Савинкова, протянул больные, сухие пальцы.

Рыжий, широкий человек отошел, не выражая никакого восторга.

— Да не теребите его, бабушка, дайте умыться, прийти в себя, — ласково сказал Гоц. Покотиллов поправил ему подушку.

Умываясь в соседней комнате, Савинков слышал, как заговорил «врач».

— Ну прощай, Михаил, тороплюсь—говорок был рядческий, быстренький с кругленькими великорусскими интонациями, как на ярмарке.

— Да куда ж ты, Виктор, он расскажет много интересного.

— Другой раз послушаю — засмеялся быстреньким смешком рыжий. И тяжелыми шагами вышел в переднюю.

Чувство Савинкова было, словно, он приехал в семью. И Катерина Константиновна не каторжанка, а действительно бабушка, вынувшая из комода мохнатое полотенце.

2.

Облокотясь на ручку кресла, Гоц не сводил глаз с сидевшего перед ним Савинкова.

— Ваше имя Борис Викторович? — улыбался он.

— Ну вот что Борис Викторович, хоть все мы тут свои, о делах поговорим завтра, выберем время, а сейчас расскажите беллетристику, как бежали, как все это удалось. Вы когда из Вологды?

— Из Вологды 3-го — начал Савинков. Но в этот момент в комнату вошел невысокий шатен, в штатском платье, худой, в пенсне.

— А Владимир Михайлович! Знакомьтесь, товарищ только что бежал из ссылки.

— Зензинов, — сказал молодой человек.

— Савинков.

— Да рассказывайте же, бог с вами совсем! — заторопилась Брешковская.

Савинкова никто не перебивал, он был изумительный рассказчик. Смешно обрисовал Вологду. Рассказал, как чувствовал себя до Архангельска англичанином. Как гнал извозчика, обещая дать по шее. Как его мучили пухлые руки кассирши. Тут все смеялись. Как заперся в каюте. Как познакомился с Чумаковым. Каково Белое море. Каковы норвежские фьорды. Как пришли таможенные чиновники, которых принял за жандармов. Тут опять все смеялись. Как поразили его норвежки грандиозностью форм. Гоц по детски заливисто хохотал, твердя: — «нет, это вы преувеличиваете, я в Норвегии был, это вам такие попались». — «Да, ей богу, Михаил Рафаилович!» И семья с отцом Гоцем и бабушкой Брешковской радовалась, что прибежал талантливый, энергичный товарищ.

Было поздно, когда Савинков с Покотилковым и Зензиновым вышли из квартиры на Бульваре Философов.

— Мне все кажется, я в Вологде, а это только так, — декорация. До того все отчаянно быстро.

— Это далеко не Вологда — засмеялся Покотиллов.

— Ночевать пойдете ко мне. Я тут недалеко — и в словах Зензинова Савинков ощутил уважение.

— Пойдемте, — сказал он. — Спать хочется чертовски.

3.

На утро Гоц сидел в медицинском кресле посреди комнаты.

— Как спали на новосельи? А? Лучше чем в Вологде с вашим Щукиным?

Савинков увидал при свете дня, как бледны руки Гоца, как немощно худое, мертвое тело. Живы лишь

юношеские, еврейские глаза, взятые от другого человека.

— Бабушка говорила, вы хотите работать в терроре, Борис Викторович?

— Да, в терроре.

— Но почему же именно в терроре? — завозился Гоц. — Это странно почему не в партии вообще, если вы сочувствуете?

— Об этом говорить трудно, — сказал с заминкой Савинков и заминка Гоцу понравилась. — Если надо я буду работать и в партии, но хотелось бы в терроре.

Блестящие глаза Гоца крепко навелись на Савинкова. Савинков чувствовал: — он Гоцу нравится и Гоц ему верит.

— Давайте немножко повременим, Борис Викторович. Поживите в Женеве, познакомьтесь с товарищами, я поговорю с кем надо. А вам в первую голову надо познакомиться с Черновым и с «Плантатором» Иваном Николаевичем.

— Кто это «Плантатор» Иван Николаевич?

— Вы его увидите.

4.

Теоретик партии социалистов - революционеров, изобретатель идеи социализации земли в России, Виктор Михайлович Чернов жил в Женеве. В части прекрасного швейцарского города, подходившей к озеру. Из кабинета Виктора Михайловича открывался живописный вид на озеро и на синеголовые горы, изображенные на всех упаковках швейцарского шоколада.

Правда, внутренность кабинета была не швейцарской. Газеты, книги, заваливали стол. Пепельница переполнялась окурками. В беспорядке лежали исписанные бисером листы рукописей, гранки «Революционной России». Над столом с автографом висел портрет Михайловского.

Такую комнату можно было встретить и в Москве. Разве только особенностью ее было, что прямо к портрету Михайловского прислонялись шесть удочек с закрученными лесками и красными поплавками.

Ежедневно после работ Виктор Михайлович удил окуней в Лемане. Клев был хороший. Окунь радовал, что хоть они были такими же, как родные, тамбовские.

Когда Савинков вошел в комнату Чернова, за письменным столом сидел тот ширококостный, косматый, рыжий с косящим глазом, которого у Гоца он принял за врача. Но Савинков не успел рассмотреть Чернова. Рядом сидел человек, привлечший его внимание.

Человек был грандиозен, толст, с одутловатым желтым лицом, и темными маслинами выпуклых глаз. Череп кверху сужен, лоб низкий. Глаза смотрели исподлобья. Над вывороченными, жирными губами расплющился нос. Человек был уродлив, хорошо одет, по виду неинтеллигентен. Походил на купца. От безобразной, развалившейся в кресле фигуры веяло спокойствием и хладнокровием.

— А, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, — быстренько проговорил Чернов, вставая навстречу, и великорусские глаза скозились, не смотря на Савинкова. Рука, пожавшая руку Савинкова, была квадратна, короткопала.

— Михаил говорил о вас, говорил. Знакомьтесь. Жирно развалившийся человек, не подымаясь и не называя себя, подал в контраст с Черновым длинную руку с дамской ладонью. «Урод», пронеслось у Савинкова.

Савинков сел, им овладела неловкость, увеличившаяся тем, что, взглянув на толстого, он поймал каменный исподлобья взгляд, животом дышавшего человека.

— Что, Иван, на товарища так уставился, — захохотал Чернов. — На что Касьян взглянет, все вянет. Видишь, молодой человек смущается.

— Почему смущаюсь? Я вовсе не смущаюсь, — проговорил Савинков.

— Я пойду, Виктор, — сказал вдруг, подымаясь, толстый. И, не глядя на Савинкова, пошел к двери.

— Что ж ты, пообедали б, ухой из окуньков накопил бы, не хочешь, пади в дорогую ресторацию с вином идешь? — похлопывая толстого по свисающим предплечьям, захохотал Чернов.

Савинков увидел, у толстого не по корпусу тонки ноги, всей необычайной грузностью он жиблется на тонкости ног.

— Ну вот, — затворяя дверь, произнес Чернов. — Говорил Михаил о вас и я с вами потолковать хочу, дело то наше общее, артельное. Один горюет, артель воюет. Ну вот, стало быть хотите работать у нас, в терроре, хорошее дело, молодой человек, хорошее, только надо уяснить себе какова эта работа. — Чернов распластал на столе громадные, квадратные, красные руки в ципках от ужения рыбы и сладостно запел. — Да, террор дело святое, кормилец, товарищи работающие в нем отдают себя всецело. Учтите, молодой человек, духовные и телесные силы, кроме того подготовьтесь теоретически. Надо знать, террор бывает троякий, во первых эксцитативный, во вторых дезорганизующий, в третьих агитационный. Если с одной стороны наша партия признает необходимым и святым все три вида террора, то все же нельзя конечно понимать идею террора упрощенно.

В эту минуту вошла женщина, с приятными чертами лица, несшая в руках салатник.

— Витя, — сказала она, — я вам вишни. — И поставила меж Черновым и Савинковым.

— Спасибо Настенька! Ешьте, пожалуйста, молодой человек, берите, соединим так сказать приятное с полезным. — Необычайно быстро, словно семячки Чернов брал вишни, выплевывая косточки на блюде. Значительно замедлив, Виктор Михайлович склонялся над салатником. Савинков видел, как толстые

пальцы выбирают самые спелые, даже расшавыривает вишни, быстро говоря, Виктор Михайлович.

— Я, молодой человек, с своей стороны ничего против вашей работы в терроре не имею. Вас я не знаю, но рекомендации бабушки достаточно. Но если вы думали, что я заведу террором, так нет, ошиблись, не мой департамент. Я, так сказать, теоретик нашей партии, может что и читали, подписываюсь Гарденин. Что же касается, террора придется потолковать конечно с Иваном Николаевичем, товарищем Азефом, благо вы и познакомились. Большой человек, большой. С ним и потолкуйте. Я поддержу, поддержу, да.

Доев вишни, словно кончив лекцию, Чернов встал и подал руку.

— Старайтесь, молодой человек, — говорил, провозжая Савинкова, — борьба требует святых жертв, ничего не поделаешь, должны приносить. Зайца, как говорится, на барабан не выманишь. Должны из любви к нашему многострадальному народу, да, — прощайте!

По женевской улице Савинков шел, покручивая тросточкой. — Занятно, — бормотал он. Больше чем о Чернове думал об Иване Николаевиче. Странное чувство оставил, брюхастый урод на тонких ногах, с фунтовыми черными глазами и отвислыми губами негра: — Азеф понравился Савинкову: — в уроде была сила.

5.

Через три дня, идя Большой Набережной, Савинков смотрел на белосиний Монблан. По озеру бежали гоночные лодки с загорелыми выгибающимися телами гребцов. Мальчишка-булочник в фартуке и колпаке, провозя в вагончике булки, поклонился Савинкову, как знакомому. День был горяч, душен. Придя домой, Савинков разделся, в белье лег на диван.

Но вместо дум он почувствовал, как качается, плывет в дреме тело.

Короткий звонок заставил его приподняться. На звонок не раздавалось шагов. Мадам Досье ушла в церковь. Савинков, накинув пальто, пошел к двери. Раздался второй звонок. Стоявший видимо решил достояться.

— Кто тут? — спросил Савинков, и, глянув в глазок, увидел темножелтое лицо и вывернутые губы Ивана Николаевича.

— Что это вы как конспиративны, в глазок смотрите, — гнусавым смешком пророкотал Азеф, идя коридором. — Ах, да вы без порток, спали, что ли?

— Посидите, пожалуйста, я сейчас, Иван Николаевич.

Стоя у окна, Азеф смотрел на улицу. Бросил взгляд на стол, где лежали исписанные листы. Отойдя, тяжело сел в кресло, опустил голову. Он походил на быка, который может сорваться и пропороть живот.

Когда вошел Савинков, может длилось это час, может секунду: — Азеф смотрел на Савинкова, Савинков на Азефа. «Как из камня», — подумал Савинков.

— Мне говорили, вы хотите работать в боевом деле? — гнусаво произнес Азеф, — правда это?

Темные, беззрачковые глаза, все выражение лица стало вдруг ленивым, почти сонным. Азеф был в дорогом сером костюме. Ноги были обуты в желтые туфли, галстук был зеленоватый.

— Да, вам говорили правду.

— Почему же именно в боевом? — медленно повернул голову Азеф, глаза без зрачков, исподлобья уставились в Савинкова.

— Эта работа мне психологически ближе.

— Пси-хо-ло-гиче-ски? — процедил Азеф. Вдруг расхохотался высоким, гнусавым хохотом. — А вы знаете, что за эту психологию надо быть готовым к веревочке? — Азеф чиркнул рукой по короткому горлу.

— Вы не курите? — раскрыл портсигар Савинков.

Азеф не заметил портсигара. Встал, раскачивая колоссальное тело на тонких ногах, прошелся по комнате. Савинков заметил, ступни, как и руки, маленькие. Азеф стоял у окна, глядя на улицу. Не поворачиваясь, проговорил гнусавым рокотом:

— Хорошо, вы будете работать в терроре.

Повернувшись, сказал неразборчиво:

— Беру только потому, что просил Гоц и бабушка, так бы не взял, тут много шляется. — Не глядя на Савинкова подошел к столу. На столе лежали нелегальные брошюры: «Народная воля», «За землю и волю», Азеф, взяв одну, пробормотал:

— Ну что, хорошие книжки?

— Да, как вам сказать.

— Эти книжки сделают то, что у России через несколько лет косточки затрещат, — гнусаво проговорил и, взяв мягкую шляпу, Азеф пошел к двери. У двери остановился.

— У вас деньги есть?—Вынув из жилетки две бумажки, кинул на стол.—Завтра в восемь, в кафе «Националь», я найду вас — и мотнув бычачьей головой без шеи, Азеф скрылся за дверью.

6.

На Монбланской набережной в кафе «Националь» рыдали тончайшие скрипки. Черными фрачными фалдами трепыхали лакеи. Веранда выходила на Женевское озеро. За озером рисовались горы и снежно-розовый, от заката, Монблан.

Скользили яхты, лодки, пароходы. В закате все казалось игрушечным. С озера тянул сыроватый ветер. За столиками, у перил пили сквозь соломинки мощеобразные английские мисс. От трепета финансовой игры отдыхали заокеанские дельцы. Были тут и французские писатели, румынский министр, прусские

генералы, на которых штатское сидело прямее, чем на манекенах.

В озерных сумерках и Азеф смотрел в играющую огнями воду. Он ни от кого не отличался, походя на директора стального концерна. На безымянном пальце блестел бриллиант. В белом костюме рядом сидел элегантный молодой человек, по виду могший быть секретарем директора стального концерна.

Несколько наперев жирной грудью на стол, Азеф проговорил тихим рокотом:

— Вам скоро надо ехать в Россию. Ставим крупное дело. Послезавтра выедете в Германию, поживите, выверите, нет ли слезки. Если будете чисты, проедете в Берлин, а там в воскресенье встретимся в 12 дня в кафе Бауер на Унтер ден Линден.

Английские мисс хохотали, обнажая лошадиные зубы. Толстый француз с тонкокурчавыми волосами читал «Матэн». Возле него мальчик с бледным личиком ел пирожное. Рыдали скрипки, качался фрак скрипача в такт танцам Брамса.

— Прекрасно, но если я иду на дело, не находите ли, что надо знать несколько больше, чем то, что вы сейчас сказали, — отхлебывая вино, проговорил Савинков.

— Если будете убивать, то не неизвестного; а определенное лицо, — лениво усмехаясь, проговорил Азеф. В Берлине дам указания, явки, паспорт, все узнаете, — прогнусавил он, осматривая террасу.

По террасе шла женщина, смуглая, черные волосы лежали взбитым валом, она походила на креолку.

— Не плоха? — улыбнулся в бокал Азеф. Эфиопские, мясистые губы расплылись в непонятное ζ первого взгляда.

— Вы женаты? Где ваша жена?

— В Петербурге.

— Скверно. За ней могут следить. Вы ей писали?

— Нет.

— Не пишите. Наверняка следят. Где она живет?

— На Среднем. А вы женаты, Иван Николаевич?

— Моя жена в Швейцарии, — нехотя ответил Азеф.

— Сегодня утром, — заговорил он. — Брешковская говорила, что какой то Каляев приедет к воскресенью в Берлин. Я с ним должен увидеться. Вы его знаете?

— Это мой друг.

— Вы думаете, он подходящ для нашей работы?

— Безусловно. Он едет только для этого. Берите его обязательно, Иван Николаевич.

— Я беру, кого считаю сам нужным.

Азеф помолчал. И вдруг улыбнулся засветившимися глазами, отчего лицо приняло ласковое, почти нежное выражение.

Когда они шли верандой, на них обращали внимание. В фигурах был контраст. Савинков, ниже, худ, барственный. Азеф толст, неуклюж, колоссален, дышал животом.

7.

— Хороший вечер, — проговорил Азеф. Савинкову показалось, что выйдя из кафе, Иван Николаевич стал проще и доступнее.

— Если с вами пошли по одной дорожке, а может еще и висеть вместе придется, — гнусовато говорил Азеф, — надо хоть ближе познакомиться. Вы ведь из дворян?

— Дворянин. А что?

— Я еврей, — засмеявшись, сказал Азеф, — две больших разницы. Вы учились, кажется, в Варшаве? Ваш отец мировой судья?

— Откуда вы знаете?

— Гоц говорил. Только не понимаю, зачем пошли в революцию? Жили не нуждаясь. Могли слушать. Зачем вам это?

— То есть что?

— Революция.

Савинков рассмеялся.

— А декабристы, Иван Николаевич? Бакунин? Ну, а Гоц? Он же ведь миллионер? Вы странного мнения о революционерах.

— Исключения, — бормотнул Азеф.

— Ну, а зачем же вы в революции? Вы инженер?

Азеф мельком глянул на Савинкова.

— Я другое дело. Я местечковый еврей, не мне, так кому ж и делать революцию. Я от царского правительствия видел море слез.

— И я видел.

— Что значит, вы видели? Видели одно, вы чужое видели. Я свое видел, это совсем другое. — Ну, да ладно, — остановился вдруг Азеф, протягивая руку. — Мне пора. Стало быть не забудьте в воскресенье в 12 в кафе Бауер. — Простившись, Азеф повернул в обратную сторону.

Над Женевским озером плыл матовый полулунок. Азеф не видал его. Он шел раскачиваясь. Возле знакомого кафе, на рю Жан-Жак Руссо, Азеф стал оглядываться, ища женщину.

8.

— Как рад, что зашли, — приподнялся в кресле Гоц. — Я назначил? Позабыл. Так устал, было собрание, но ничего, потолкуем.

Гоц был еще мертвенней и бледней.

— Вы были у Виктора и Ивана? Они говорили. На товарищей произвели прекрасное впечатление. Иван Николаевич берет вас к себе. Он разбирается. Он большая величина. Вам надо будет всецело подчиняться ему, без дисциплины дело террора гроша ломаного не стоит.

— Да, Иван Николаевич, о вас очень хорошо отзывался. Стало быть завтра поедете. Кроме вас едут еще два товарища. Паспорта, явки, деньги, все у Ива-

на Николаевича. В организационные планы и технику мы не входим.

Взглядывая в блестящие глаза Гоца Савинков думал: «нежилец, жаль».

— Ну о делах вот собственно все. Ваше желание исполняется, идете... — Гоц оборвал, любовно глядя на Савинкова: — молодого, перенесшего тюрьму, крепость, ссылку, теперь идущего на смерть.

— Вы знаете на кого?

— Предполагаю.

— На Плеве, — тихо сказал Гоц. — Вы понимаете насколько это необходимо, насколько ответственно? Ведь он нам бросил вызов, заковывает Россию в кровавые кандалы.

— Я считаю за величайшую честь, что выхожу на это дело.

— Может мы не увидимся. Давайте останемся друзьями, вы можете сделать многое; вы смелы, образованы, талантливы, берегите себя Борис Викторович. Скажите, вы ведь пишете? Вашу статью в № 6 «Рабочего дела» Ленин страшно расхвалил в «Искре». Знаете? Но статьи одно. У вас беллетристический вид. Скажите, не пробовали?

— Пробовал, — сказал Савинков. — Вот недавно написал.

— Что?

— Рассказ.

— О чем? Расскажите, это интересно! — даже заволновался Гоц.

— Выдумка из французской революции. Называется «Тоска по смерти».

— По смерти? — переспросил Гоц. — Тоска? Не понимаю. Расскажите.

— Сюжет простой, Михаил Рафаилович. В Париже 93-го года живет девушка, дочь суконщика. Отец ее влиятельный член монтаньяров, партия идет к власти, семья живет достаточно. Жанна весела, спокойна. Но вдруг однажды она подходит к окну и бросается в него. Все в отчаянии, не понимают при-

чины самоубийства. Разбившуюся Жанну вносят в дом. Возле нее рыдает мать. Все спрашивают Жанну о причине, но Жанна на все отвечает «я не знаю». А через несколько минут умирает и шепчет «я счастлива».

Гоц забеспокоился в кресле.

— Все? — сказал он.

— Все.

— Только и всего? Так и умерла? С бухты ба-
рахты бултыхнулась в окно? Неизвестно почему?

— Рассказ называется «Тоска по смерти».

— Я понимаю, — загорячился Гоц. — Но это же упадочничество! Здоровая девушка бросается в окно и говорит, что она счастлива.

— Может быть она была нездорова? — улыбнулся Савинков.

— Ну, конечно, же! Она у вас психопатка! Очень плохой сюжет. И как вы до этого додумались? Не знаю, может вы хорошо написали, но выдумали очень плохо. И зачем это вам, революционеру?

Гоц помолчал.

— Идете на такое дело и вдруг такое настроение. Что это с вами? У вас действительно такое настроение?

— Нисколько.

— Как же это могло взбрести?.. Знаете что, Борис Викторович, — помолчав, сказал Гоц, — говорят, у надломленных скрипок хороший звук. Это наверное верно. Но звучать одно, а дело делать — другое, — вздохнул Гоц. Я вас так и буду звать: надломленная скрипка Страдивариуса? А? А стихи вы пишете?

— Пишу.

— Прочтите чтонибудь.

«Гильотина — жизнь моя!

Не боюсь я гильотины!

Я смеюсь над палачом,

Над его большим ножом!

— Вот это прекрасно, вот это талантливо, — радостно говорил Гоц. — Ну идите, дорогой мой, — приподнялся он. — Увидимся ли только? Дай бы бог. Они крепко обнялись и расцеловались.

9.

По «бедкеру» Савинкову показалась самой привлекательной родина немецкого романтизма старая Иена. Где цвел голубой цветок Новалиса и Шлегеля, где дышала и быть может еще дышет „Weltseele“ романтиков.

Савинков слез на крохотном иенском Парадиз-вокзале. С чемоданом в руке шел мимо университета, строенного в 16-м веке, мимо «Рацкеллера», блестящего цветными окнами. Известковые старушки на подложенных под локти подушечках смотрели с подоконников на Савинкова.

Савинков замешался в голубоголовой толпе студентов, корпорантов-норманов. Увидав на необыкновенно высокой пролетке извозчика, подозвал его и сказал, что ищет комнату. Старик закивал головой. При малейшем уклоне он закручивал у козел ручку тормоза и еле тащила пролетку старая, иенская, романтическая кобыла.

Их обогнали студенты в цветных средневековых костюмах с пестрым знаменем на длинном древке. Романтическая кобыла тянула пролетку в гору. Полуобернув розовое, ребеночье лицо, старик рассказывал Савинкову что-то непонятное, пока не остановился возле ограды цветущего сада. В саду стоял домик с надписью: „Klein, aber mein“.

10.

Каких только не было портретов в комнате Савинкова. И «старый Фриц» играет на флейте в Потсдамском дворце. И Вильгельм II-й в латах. Все Фрид-

рихи-Вильгельмы. Все их жены. Но из соседнего домика несется дует Моцарта и приятно жить в романтической Иене.

Утром в садике переполненном георгинами, потому что фрау майор фон Торклус состоит в «Обществе любителей георгин», Савинков пьет с фрау майор фон Торклус кофе. Фрау майор рассказывает: муж ее, майор Хорст фон Торклус был дважды в России. Но фрау майор, к сожалению, не была в этой сказочной стране.

— Ах, русские так милы, такие прекрасные манеры, немелочные, широкие натуры. Какие светские люди! Я сразу вижу в вас эту мягкость манер и эту вашу степную, русскую душу.

Савинков рассказывает, что в кабинете отца рядом с портретом русского императора всегда висит портрет Вильгельма II-го, что он приехал изучать юриспруденцию, а по окончании посвятит себя дипломатической карьере, работая на пути сближения великих монархий.

— Минна, принесите пожалуйста нам апфелькухен, — говорит фрау майор фон Торклус. И в знак упрочения отношений двух монархий угощает Савинкова.

11.

Над Берлином светило желтое солнце, похожее цветом на скверное пиво. В 12 часов в кафе Бауер на Унтер ден Линден не было никого. Сидели три проститутки, отпаивая усталую за ночь голову кофеем.

Пять минут первого в кафе тучно вошел Азеф. Не смотря по сторонам сел к стене. Заказав кофе, он взял «Фоссише Цейтунг» и стал читать хронику.

Десять минут первого вошел Савинков, одетый по заграничному, вроде туриста. По походке было видно, что жизнь он любит, нет забот и хлопот. С улицы, сквозь стекло увидал он Азефа.

— Здрасти, садитесь. — Азеф отложил «Фоссише» в сторону и, не подымаясь, подал руку.

— Где вы были?

— В Иене.

— Почему же не во Фрейбурге? Ведь я же сказал вам во Фрейбург.

— А чем собственно Иена отличается от Фрейбурга? В следующий раз поеду во Фрейбург.

— Странно, — сердито сказал Азеф, — вы могли мне понадобиться. Ну, все равно. «Хвостов» не заметили?

— Никаких.

— Уверены?

— Как в том, что передо мной мой шеф, Иван Николаевич.

Азеф отвел в сторону скуластую голову.

Стало быть готовы к отъезду?

— В любую минуту.

— Сейчас, — Азеф вытянул часы, — придут двое товарищей, поедут вместе с вами. А в час, — гнусавым рокотом добавил, — должен быть Каляев.

— Неужели?

— Я не знаю, почему неужели? — сказал Азеф, снова взяв «Фоссише», рассматривая объявления, — говорю, что будет, я его еще не видал.

Азеф разглядывал объявления фирмы Герзон, изображавшие бюстхальтеры. Оторвавшись, сказал:

— Да, ваша партийная кличка, «Павел Иванович». Запомните.

Стеклоанное окно на улицу, захватывавшее почти всю стену, было приподнято. Но воскресный Берлин тих. С улицы ни шло даже шума. Монументальный шуцман в синем мундире стоял на углу в бездействии. Изредка были видны поднимавшиеся большие, белые перчатки, повелительницы порядка.

Оглядываясь, в кафе Бауер вошли двое. Азеф шумно отложил газету. Савинков понял, товарищи по работе.

В одном безошибочно определил народного учителя. Бородка клинушкой, глаза цвета пепла, жидкая грудь. Был худ, может быть болен туберкулезом.

Другой, смуглый с малиновыми губами, с которых не сходила полуулыбка, был выше и крепче спутника. Его руку Савинков ощутил, как чугунную перчатку командора.

Азеф заказывал обоим, не спрашивая о желаньях. Оба выражали фигурами незнание языка. Лакей смотрел на них снисходительно. Когда же он ушел, четверо налегли на стол гудями.

— Прежде всего познакомьтесь, — гнусоватой скороговоркой сказал Азеф, — товарищ Петр, Иван Фомич, Павел Иванович.

Товарищ Петр не стер улыбки. Иван Фомич оглядел Савинкова.

— Вам я уже сообщил явки, — обратился Азеф к Ивану Фомичу и Петру, — тебе Павел Иванович, сообщу.

Савинков понял, перейти на «ты» нужно.

— Вы, Иван Фомич, едете завтра вечером через Александрово в Петербург, купите пролетку и лошадь, купите не дрянь и не рысака, а среднюю хорошую лошадку, задача — наблюдать выезды Плеве. Он живет на Фонтанке в доме департамента полиции. К царю ездит еженедельно с докладами. Вы легко сможете установить дни и часы выезда. Они обставлены такой охраной и помпой, что сразу узнаете. У него черная лакированная карета с белыми, кажется, спицами и гербом. За ним едут филеры на велосипедах, лихачах. Все это должны наблюдать точно, сдавать наблюдения Павлу Ивановичу, он будет со мной в связи.

— А вы тоже едете в Петербург? — глухим голосом сказал Иван Фомич.

— Вас не касается, куда я еду, — лениво оборвал Азеф. — Вы держите связь с Павлом Ивановичем. Павел Иванович держит связь со мной и получает все необходимое.

— Товарищ Петр, вы едете послезавтра вечером через Вержболово. В Петербурге в первые дни выправите в полиции патент на продажу в разнос табачных изделий. Обратитесь в полицейский участок. Лучше всего остановитесь в какомнибудь ночлежном доме на Лиговке. Там разузнайте как быстрее, лучше выправить. Выправляйте за взятку, непременно, тогда сомнений не будет. Ивану Фомичу удобнее установить наблюдение непосредственно у Фонтанки. А вам надо попробовать с Балтийского. Плеве ездит с него в Царское. При правильности наблюдений вы совершенно точно установите дни, время и маршрут кареты. Тогда уж метальщики сделают нужное партийное дело.

— А разве метальщиками будем не мы? — твердо проговорил Петр.

— Об этом рано говорить, — пророкотал Азеф. — Есть у товарищей ко мне вопросы?

— По моему все ясно, — сказал Савинков.

Азеф исподлобья скользнул во всем трем.

— Тогда нечего сидеть вместе, — пробормотал он. — Надо расходиться. Вы товарищи идите, а ты Павел Иванович останься. Вы помните точно поезда? Азеф вынул записную книжку. — Вы через Александрово завтра в 7.24 вечера. Вы на Вержболово в 12.5 послезавтра. Первая явка с Павлом Ивановичем будет на Садовой между Невским и Гороховой. На явку придет товарищ Петр.

— Так, — глухо сказал Иван Фомич.

Все пожали руки. Товарищ Петр и Иван Фомич вышли из широкого кафе Бауер. Было видно, как пошли и как пересеченные движением остановились недалеко от шуцмана в белых перчатках.

12.

Когда Савинков с Азефом остались вдвоем, Азефу изменило спокойствие. Азеф казался взволнованным. Он тяжело сопел. Скулы скривились.

— Жаль будет, если не удастся, — проговорил он.
— Вы как думаете, удастся?

— Думаю.

— Если не будет провокации, удастся, — сказал Азеф. — Как вам нравится товарищ Петр? Вы ему верите? Чорт его знает, я его слишком мало знаю. Трудно быть уверенным в людях, которых видишь пять раз в жизни. У него хорошие рекомендации, его рекомендует бабушка, она разбирается.

— Иван Николаевич, — проговорил Савинков, — все удастся. Если Плеве уйдет от нас, не на нас кончилась БО. От партии он не уйдет. Я уверен.

Азеф смотрел непроницаемыми беззрачковыми глазами. Трудно было понять выражение. Глаза казалось, улыбаются, любят, благодарят.

— Вы правы, — проговорил Азеф.

Он посмотрел на часы.

— Странно, Каляева нет.

— Наверное плутает.

В это время Каляев, ругая себя за опоздание, и не догадываясь взять извозчика, бежал по Фридрихштрассе.

Савинков узнал бы в миллионе людей: та ж легкая, молодая походка, насмешливые глаза, нервные жесты, странная улыбка.

— Янек!

Каляев бросился.

— Вы с ума сошли, — прорычал Азеф. — Ваши объятия обратят внимание, это не Россия.

Азеф хрипел, был взбешен. Чтоб скорей кончить разговор, проговорил быстрым рокотом, который уж знал Савинков:

— Мне сказали вы хотите работать в терроре?

— Да, — громко сказал Каляев.

— Давайте говорить тише, — недовольно пророкотал Азеф, — почему именно в терроре, а не на другой работе в партии?

— Если у вас есть время, — заносчиво откидывая голову, признак, что он недоволен, сказал Каляев, — я вам объясню.

— Иван Николаевич, я знаю Янека с детских лет. Если я иду в террор, то мое ручательство...

Каляев вспыхнул. Глаза потемнели, его оскорбили.

— Сейчас, — равнодушно пророкотал Азеф, — мне люди не нужны. Возвращайтесь в Женеву. А если понадобится, я вызову.

— Я не могу вас ни в чем уговаривать, — еще заносчивее сказал Каляев, заносчивость подчеркнута польским акцентом. — Я служу партии и делу освобождения России. Я буду работать там, где найду более нужным и целесообразным. — Каляеву изменило самообладание, оборвав, он оставил ненавистный взгляд на урода в сером костюме, распластавшегося за столом.

Азеф под взглядом Каляева отвел глаза.

— Стало быть говорить нам не о чем, — резко зашумев стулом встал Каляев. — Может ты меня проводишь, Борис?

13.

Когда они вышли, Азеф сидел еще десять минут. „Zahlen“, — махнул он лакею и, заплатив, тяжело поднялся.

Азеф шел по Унтер ден Линден, как купец в воскресенье, раскачиваясь на ходу. Встречные проститутки смотрели с удовольствием. Он был в дорогом костюме, с большим животом. Это их профессионально волновало.

14.

— Янек, он тебе не понравился?

— Не понравился? — захохотал Каляев нервным глухим хохотом. — Я в жизни не видел отвратительней этого толстопузого купца. — Каляев был возбуж-

ден. На бледном лице выступали красные пятна. Его оскорбили в заветном, оттолкнули от дела жизни, от убийства во имя России, во имя любви Каляева к людям.

Извозчик въехал под каменные воротца Ангальтского вокзала. У вокзала, среди спешащих людей Савинков и Каляев крепко обнялись, прощаясь.

15.

Красавец мужчина, кавалерист, театрал-любитель, прозванный «корнетом Отлетаевым» волновался в Париже на рю де Гренель 79. Это был заведующий заграничной агентурой департамента полиции Леонид Александрович Ратаев. Даже не Ратаев, а Рихтер. Но Ратаев-Рихтер был далеко неглуп. А волновался потому, что в департаменте вилась сеть интриг, жалоб, сплетен, а от Азефа два месяца не было сведений.

Кавалерийский брюнет раздумывал. Наконец стал выводить изящным почерком, отводя удары и сплетни департамента:

Дорогой Алексей Александрович!

Вашу в полном смысле зашифрованную телеграмму я получил и не могу скрыть, что содержанием ее крайне огорчен. Суть в том недоверии ко мне, признаки коего я замечаю со стороны департамента. Но смею думать, что я своей многолетней службой не заслужил этого и вы упрекаете меня незаслуженно. Так, еще недавно, удар, занесенный над жизнью господина министра внутренних дел, статс-секретаря фон Плеве, был отведен именно руководимым мной сотрудником. И разрешите мне вкратце напомнить вам обстоятельства этого дела: — 11 октября 1902 года совершенно секретным письмом на ваше имя я сообщил, что боевой организацией выработан план покушения на жизнь министра внутренних дел статс-секретаря фон Плеве. Предполагалось открытое нападение на улице на карету министра двух

всадников, вооруженных пистолетами большого калибра системы Маузера, были уже подысканы исполнители, изъявившие готовность пожертвовать собой. То были два офицера, проживающие в Петербурге, при чем один должен был убить лошадей, в то время как другой должен стрелять в министра. Получив общие указания за границей, руководимый мной секретный сотрудник имел свидание с членами боевой организации, Мельниковым и Крафтом, при чем оказалось, что автором вышеприведенного плана был именно Мельников, который назвал сотруднику фамилию одного из вышеуказанных офицеров, который оказался поручиком 33 Артиллерийской бригады Евгением Григорьевым, слушавшим лекции в Михайловской академии. Именно мои сведения, я подчеркиваю это, послужили основанием как к аресту поручика Григорьева, так и к получению от него известного откровенного показания, явившегося главной уликой против Гершуни и Мельникова, благодаря чему оба они были своевременно заарестованы и приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Таким образом моей работой и работой секретного сотрудника, руководимого мной была спасена жизнь министра внутренних дел, статс-секретаря фон Плеве. Предлагая вспомнить вам всю мою работу по департаменту и особенно обращая внимание ваше на вышеизложенное, думаю, что вы согласитесь, что интриги вокруг моего имени, имеющие целью скомпрометировать в ваших глазах меня и руководимого мной секретного сотрудника, являются злостными и для нашего общего дела вредными.

Искренно преданный вам Л. Ратаев.

Р. С. На днях посылаю вам новые интересные данные. Письма отправляйте на 79 рю де Гренель.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

1.

Царь был жесток, как дегенеративный ребенок. Когда в Мариинском дворце, сделав жест руками, будто он тонет, упал министр Сипягин, царю боялись доложить. Зная византийское коварство и болезную волю императора, никто не знал, что будет доложившему.

Это он, невнятно говоря, приказывал убитому Сипягину брать круче в подавлении российского мятежа. И не слушая доклада, говорил:

— Самое ненавистное слово для меня — «интеллигенция». Я хочу, Дмитрий Сергеевич, чтобы академия наук вычеркнула слово «интеллигенция» из словарей.

Министр опускал бледную голову в седой бороде. Но даже он, холодный слуга монарха, вернувшись сегодова жене, говоря о «коварстве и неправдивости моего государя» и записывал в дневник, что «полагает столь жестокие меры не совсем даже разумными, но воля государя самодержавна».

Император сидел в кресле в Малахитовой гостиной Зимнего дворца. Он не о чем не думал. Он думал о вальдшнепиной тяге. Он любил тягу, а был апрель. Шурша длинными шелками, вошла мать, императрица Мария Федоровна. Положив жилистую руку старухи на уже полысевшую голову сына и ощутив жидкую мягкость волос, сказала:

— Ники, случилось несчастье.

Император взглянул, побледнев.

— Ктонибудь болен из детей?

— Нет. Твои дети здоровы. Убит, — Дмитрий Сергеевич Сипягин, — сказала императрица холодно, однотонно, как на сцене театра.

Император закрылся ладонями, прошептал:

— Это бесчеловечно.

Но тут же вскрикнул: — Как они смели! Кто убил!?

— Какой то студент Балмашов, я не знаю, Ники. Ты должен быть тверд, как твой дед и отец, ты должен наказать преступную страну, родящую убийц и негодяев.

У императора около губ показались маленькие пухлячки. Он прошептал: «повесить, без суда повесить, я покажу им!» И сжал сморщенные кулаки бессильных рук.

Императрица вышла, шурша длинными шелками по янтарному, ласковому паркету дворца.

2.

Николай II-й сидел в том же кресле. Он думал о тяге. За окнами таял апрель, разливая томительную сладость петербургской весны. Император старался забыть об убийстве министра. Он знал, что должен беречь себя.

Тихими шагами прошел он в кабинет. Тихо за ним слабыми отсветами колебалась на паркете его фигура. Николай II-й стоял у окна, смотрел на капель. И вдруг стало страшно. Он вспомнил над главной гауптвахтой дворца, в столовой, взрыв Халтурина. Вспомнил дознание производимое Плеве. Как Плеве, волнуясь, говорил о возможности второго покушения революционеров на жизнь монарха.

Николай II-й бесшумно повернулся. Быстрыми шагами пошел на половину императрицы. Было жутко итти дворцом мимо караульных кавалергардов. Он не мог уж думать о тяге, апреле. На янтарном паркете слабо колебалась за ним тень. И шаги отдавались тихими, благородными эхами.

Царь чувствовал, что он зол на Сипягина за то, что его убили. «Неужель он не мог себя уберечь??? Убийство во дворце???» Ладони царя были потны. «Так может совершиться грех царевубийства???»

Императрица Александра знала, что он придет. Знала, что посоветовать и как успокоить.

— Ты слышала, Алис, — войдя, по английски сказал бледный царь.

Императрица наклонила голову. Подошла к нему, обняла и поцеловала в щеку. Когда они сели, император проговорил, болезненно морщась:

— Алис, они будут меня мучить, они все бросятся, все будут просить за того, за другого, я боюсь этого, Алис, я не люблю! — вскрикнул царь.

Императрица не перебивала.

— Ты знаешь, Алис, я даже зол на Сипягина, что его убили, мне его нисколько не жалко!

— Ники, опомнись, мы христиане, к тому же Дмитрий Сергеевич был твоим верным слугой.

Царь молчал.

— Кого ж ты посоветуешь? — сказал он тихо.

— Плеве.

— Плеве? — Ведь он сам у окна, смотря на капель, вспомнил Плеве.

— Ты думаешь, Плеве будет хорош? Да, я его назначаю. — Царь встал, поцеловал руку жены и вышел.

Опять шаги гулково отдавались по залам дворца. Император шел быстро мимо караульных кавалергардов, думая в такт шагам «я назначу Плеве, назначу, я так хочу, я не буду слушать Витте, Плеве усмирит негодяев».

К царю в бэль-этаж лисьей походкой поднимался престарелый барон Фредерикс. Министр двора имел «право входа за кавалергардов». И войдя в кабинет императора, проговорил, наклонив голову:

— Ваше величество, письмо от князя Мещерского.

Министр двора остановился у двери. Царь любил Фредерикса. В письме князя Мещерского стояло: — «...умоляю тебя, для спасения родины, назначь взамен павшего на посту Сипягина беззаветно преданного тебе Плеве...»

Император взглянул на портьеру. Старый Фредерикс двинулся.

— Барон, вместо Сипягина я назначаю Плева? Как вы думаете?

Лицо царедворца, похожего на лису в пенсне, молчало только секунду.

— Нельзя сделать лучшего выбора, ваше величество.

— Да. Я назначаю Плева.

3.

Вячеслав Константинович Плева был человеком холодной страсти. Замкнутый мальчик с туманными глазами, приемыш польского помещика, он не знал ласк в детстве. Одни говорили, что отец его церковный органист, другие, что смотритель училища, третьи, что аптекарь, никто не знал родителей Плева. Он был сирота.

Когда Славе, как звал его помещик, исполнилось 17 лет, Слава донес генералу Муравьеву на приемного отца. Польского помещика генерал повесил. У мальчика была крепкая воля. Он мечтал о головокружительной карьере.

Учась на медные гроши, пешком месил грязь большой дороги, возвращаясь с каникул в университет. Мечты не покидали. Властный, гибкий, самоуверенный, переменял католичество на православие. Уже шел бюрократической лестницей. Победоносцев называл его «негодяем», ибо был слух, что Плева через провокаторов замешан в убийстве губернатора Богдановича. Плева был болен тщеславием и ненавистью к людям.

Ни пост директора департамента, ни пост товарища министра не удовлетворяли страсти. Только раз в жизни Плева был счастлив. Это было в апреле, когда Балмашов убил Сипягина. Генерал-адъютант сообщил монаршью волю назначения Плева. Плева

ехал Дворцовой набережной. Черный куб лакированной кареты плавно колыхался на рессорах, цокали подковы коней. Это были счастливейшие минуты.

Рысаки стали у подъезда дворца. Плевелю поднялся Иорданской лестницей. Первыми здоровались министр двора барон Фредерикс, дворцовый комендант генерал Гессе. По пожатию рук, наклону голов Плевелю было ясно, кто он. Твердо отбивая шаг пошел по Аван-залу. Император вышел навстречу ласково, любезно. Плевелю показалось, что кружится голова.

Морщась от света, Николай II заговорил:

— Вячеслав Константинович, я назначаю вас вместо Сипягина.

Плевелю чуть побледнел.

— Ваше величество, я знаю, злоумышленники меня могут убить. Но пока в жилах есть кровь, буду твердо хранить заветы самодержавия. Знаю, что либералы ославят меня злодеем, а революционеры извергом. Но пусть будет то, что будет, ваше величество.

— Сегодня будет указ о вашем назначении, — закрываясь рукой от солнца, проговорил Николай II.

Плевелю поклонил голову.

И когда выходил от императора, блестящей стеной его поздравляли придворные. Плевелю было ясно, с кем вчера был любезен, бросил сквозь топорщащиеся усы:

— Время, господа, не разговаривать, а действовать.

И спустился великолепной лестницей к карете.

4.

В России наступила кладбищенская тишина. Мечта исполнилась. — В два месяца революция будет раздавлена — бормотал в топорщащиеся усы Плевелю. Из канцелярии неслись секретные распоряжения губернаторам. Плевелю любил, чтобы секли. Князь Оболен-

ский сек в Харькове, Бельгард—в Полтаве, фон Валь — в Вильне, граф Келлер — в Екатеринославе.

— Сечь — шипел Плеве, сжимая кулаки за министерским столом.

И когда на балу в Николаевском зале Зимнего дворца, после высочайшего полонеза и двух кадрили к Плеве подошел Фредерикс —

— Что вы будете делать, Вячеслав Константинович, говорят в Петербурге предполагается демонстрация, — сказал барон, беря под руку все сильного министра —

— Высеку, — идя в ногу, бросил Плеве.

— Пойдет крик, Вячеслав Константинович. Оболенский засек до смерти.

— Но я же не говорю, барон, засеку, а высеку.

Фредерикс любил «mots» и засмеялся.

— И курсисток?

— С них начну — туманно улыбнулся Плеве.

— Ну, задаст вам статс-дама Нарышкина, — проговорил, подходя, граф Шереметьев. — Помните ее жалобу на сечение политической Сигиды?

— А это уж Нарышкиной как угодно. Ее я пока что еще не высек.

И все трое засмеялись.

Плеве сторонился двора. Государственный совет называл стадом быков, кастрированным для большей мясистости. Он искал дружбы правителя Москвы, великого князя Сергея, с ним обсуждая кровавые меры пресечения волнений.

— Но надежна ли ваша личная охрана, Вячеслав Константинович?—говаривал холодный великий князь.

— Моя охрана совершенна, ваше высочество. Удачное покушение может быть произведено только по случайности — отвечал Плеве, зная, что Азеф охраняет его жизнь, что Гершуни и Мельников пожизненно в каземате.

Савинков шел Петербургом, туманным, осенним Петербургом, мосты, арки, улицы которого так любил. Те ж рысаки, коляски, кареты, переполненные, звенящие рестораны. Машины в пивных поют «Трансваляями», «Пятерками», вальсами «Разбитое сердце». Мощный разлив широкой Невы под мостами. Величественнейшие в мире дворцы. На часах — часовые.

Пробежали газетчики, выкрикивая «Новое время!» «Русское слово!» Савинков остановил «Новое время». С газетой удобнее итти. Те ж, абонементы в Александринском и Мариинском, «Аквариум», «Контан», «Донон», «Тиволи», Шаляпин в «Борисе Годунове», Собинов в «Искателях жемчуга».

Вот Садовая. Савинков смотрит на часы. Мимо на извозчике едет пристав в голубой, касторовой шинели. Пристав, кажется, дремлет.

— А вот! Папиросы первый сорт! «Дядя Костя»! «Дюшес»! Пять копеек десяток, возьмите, барин!

Перед Савинковым берлинский товарищ Петр, та ж улыбка на малиновых губах.

Глаза Савинкова смеются: — «Прекрасно, мол».

— Дай десяток.

— Пять копеек. Ваших двадцать, — смеются глаза Петра.

— Сегодня на Сенной в трактире «Отдых друзей».

— Слушаюсь, барин. — И слышен веселый тенор с распевом: — Папиросы «Катык»! «Дядя Костя»! «Дюшес»!

Делать Савинкову нечего. Он заходил, к литератору Пешехонову справиться: нет ли чего от Азефа. «Тогда держитесь, господин министр! Вас не укараулят филеры!» Но Азефа еще нет.

Савинков шел Французской набережной к Фонтанке. На Неве засмотрелся на белую яхту. Но у Фонтанки в движении пешеходов, экипажей произошло смятение. Метнулись извозчики. Вытяну-

лись городовые. Вынеслись зверями вороние рысаки, мча легко дышащий на рессорах лаковый кузов кареты. В нем за стеклом что-то блеснуло, не то старуха, не то старик, может быть просто кто-то в черном с белым лицом. За каретой, не отставая в ходе от резвых коней, на трех рысаках летели люди в шубах. За ними стремительные велосипедисты с опасностью для жизни накатывали на рысаков. Савинков замер у стены: — «Ведь это же Плевел!»

6.

В трактире «Отдых друзей» машина играла беспрерывно. Когда останавливалась, чтобы перевести дух, кто-нибудь из друзей кричал отчаянно пьяно: — Музыка!

Машина, не отдохнув, с треском крутила новый барабан. Растроенно-хрипло неся не то вальс из «Фауста», не то «Полька-кокетка». Трудно разобрать в чаду, дыме, шуме, что играла старая машина.

Поэтому и выбрал этот трактир Савинков. В нем ничего не разобрать. Настолько он настоящий, русский, головоломный трактир. Люд здесь не люд, а сброд. Больше извозчиков, ломовиков, торговцев в разнос, проституток, уличных гаменов. Порядочные господа, мешаясь, сидят тут же. Непонятен вид трактира.

Грязные служающие разносят холодную телятину, чай парами, водку, колбасу. Наполняют залу духом кислой капусты, таща металлические миски, — щи порциями.

Савинков занял дальний угольный стол. Видел пестрый шумящий улей трактира. Чахоточному юноше половому заказал ужин на две персоны. И покуривая еще петькину папиросу, поджидал.

Петр пришел во время. В черной косоворотке, черном пиджаке, смазных высоких сапогах. Такой же черный картуз, с рвущимися из под него смоляными кудрями. «Как цыган». Петр подходил с улыбкой.

Тощий юноша, с изгрызенным болезнью румянцем, гремел сальными вилками, ножами, раскладывая по приборам. Поставил графин холодненькой посредине.

— Ну, как дела?

Петр смотрел с улыбкой, словно хотел продлить удовольствие приятных сообщений. Когда Савинков кончил вопросы, опрокинув рюмку сморщившись от того, что пошла не в то горло, сказал:

— Все в лучшем виде. Четыре раза видал. Раз у Балтийского, в пятницу. Три раза на Фонтанке в разных местах.

— Каков выезд, опишите?

— Выезд Павел Иванович прекраснейший, — широко улыбался Петр, показывая хищные зубы, — воронные кони, как звери, кучер толстый, бородатый, весь в медалях и задница подложена, на козлах сидит, как чучела какая, рядом лакей в ливрее. За коляской несутся сыщики гужом на рысаках, на велосипедах. Вообще, если где случайно сами увидите, враз заметите. Шумно едет.

Петр налил рюмки и указывая Савинкову, — взял свою.

— За его здоровье, Павел Иванович.

— Пьете здорово, — как бы нехотя сказал Савинков.

— Могу выпить, не брезгую, но не беспокойтесь, делу не повредит. Одно только плохо, Павел Иванович, — «конкуренция». Места на улицах все откуплены, чуть в драку не лезут торговцы сволочи, кричат, кто ты такой, да откуда пришел, тут тебя не видали, собачиться здорово приходится, раз чуть-чуть в полицию не угодил, истинный бог, ну каюк, думал.

— Почему же каюк? Ведь паспорт прописан, все в порядке?

— В порядке то в порядке, да лучше к фараонам не попадать, — улыбнулся Петр, обнажая зубы.

Машина прервалась. Зал мгновенно наполнился грохотом, перекатным шумом голосов. Кто-то вдре-

безги пьяный закричал откуда то, словно с полу: — Музыка! Хозяин, музыку!

Машина загремела маршем.

— С Иваном Фомичем видаетесь?

— Через день. У него тоже дела идут. Часто видит. Все двигается по углам. По Фонтанке, — к вокзалу. Все время отмечает, хочет выследить до минутной точности, когда где едет.

— Иногда наверное меняют маршрут.

— Пока что все одним едут.

— Вы когда увидите Ивана Фомича?

— Завтра.

— Скажите, чтобы послезавтра в десять ждал на Литейном у дома 33.

— Ладно. А простите Павел Иванович, что Иван Николаевич приехали?

— Нет пока не приехал. А как вы думаете, Петр, за вами слезки нет?

Петр покачал головой.

— И Иван Фомич не замечает?

— За ним и вовсе нету. Становится у самого департамента, сколько раз жандармских полковников возил, — тихо засмеялся Петр.

— Стало быть все как по маслу? — улыбнулся и Савинков. — Скажите, верите? — сказал тихо, наклоняясь к нему.

— Кто знает, — пожал плечом Петр, — должны, Павел Иванович по всем видимостям. А на все воля божья. С его помощью, — смеялся Петр.

Савинков сказал спокойно, холодно: — У вас не должно быть никаких сомнений, товарищ Петр. Ясно как день, наш и кончено!

— Тоже думаю, только Павел Иванович, ну ведем наблюдение все такое, а кто метать будет? Неизвестно. Я такого мнения, уж если рискую вешалкой, то пусть за настоящее дело с бомбочкой, — испытующе смотрел на Савинкова Петр. Савинков увидел, что у этого человека чортовская сила, что он только так прикидывается шутками да прибаутками.

— Да правда, уж рисковать, так рисковать как надо, чтобы было за что, а то ведешь наблюдение, а придет товарищ, шарахнет его по твоей работе и вся недолга, а ты опять не при чем.

Савинков улыбнулся. Этот уклон показался вредным.

— Вы стоите на ложной точке зрения, товарищ Петр. Для нас, для партии совершенно безразлично, кто. Надо убить. Вы ли, я ли, пятый ли, десятый ли, все равно: — убьет БО, а не вы и не я. То, что вы говорите, неверная, вредная точка зрения, — тихо проговорил Савинков.

Петр слушал, сведя брови. Потом взял пузатенький графинчик, выдавил из него последнюю рюмку, сказал как бы сам себе:

— Может и так. Хотя как сказать, у всех свои точки.

— А мы, — улыбнулся Савинков, — должны стоять на точке зрения партии. Иначе выйдет разбой, товарищ.

— Ну это положим, запускаете, Павел Иванович, — глядя вплотную улыбнулся Петр.

7.

По Невскому вереницей неслись экипажи. Плыла особая, ночная толпа, которой может не бывало в других городах. Люди, часто пьяные, искали где бы на карту поставить жизнь, проиграть ее рискованней.

Шелестели шелковые юбки. Мелькала разрисованность лиц. Мужчины гонялись за женщинами. На улицу вместе с криками вырывалась музыка. Кого то тащили в полицию за то, что слишком шумно проигрывал жизнь.

«Партия, террор, это так», — думал Савинков, — не мало, но и не все.»

— Пойдемте, поскучаем, — услышал кошачий голос. Молоденькая проститутка дотронулась до локтя.

У нее были зеленые глаза, небольшая фарфоровая фигурка. Савинков прошел. Приостановился, оглянувшись. Девочка заметила взгляд Савинкова, на лицо выплыла улыбка, она скосилась и подошла как то боком, пропев: — Все скучаете, молодой человек?

— Скучаю, — сказал Савинков взяв ее под руку. Она не ожидала, что отказавший господин вдруг прямо возьмет под руку, стало быть кончено, пойдет либо на квартиру, либо за углом в полинялые номера «Мадрид», где день и ночь проигрывают жизнь.

— А вы тоже скучаете?

— Ах, что вы, чего скучать.

-- Почему же не скучать, когда скучно?

— Хи-хи-хи, — хихикнула девочка в руку, тут же откинулась лицом к Савинкову, обещая страсти-мордасти. Она всегда так делала, когда не знала, что ответить гостю и это выходило всегда приятно.

Савинков смотрел на пудренное лицо. На блестящие совиные глаза, на очерченные губы.

— Зачем так сильно пудритесь?

— А вы ништо не любите пудренных? Чай белей то лучше, — сказала девочка и пошла вдруг весело вертя задом, прижимаясь к Савинкову.

Девочка была глупая, беспомощная, не умеющая торговаться, идущая на все. Она не знала, что молодость и, в сущности, красивое тело, стоят больше чем трешницы, которые дают сумасшедшие с Невского.

— Поедмте на извозчике, пешком далеко. — Подсадил ее в экипаж. Она села стремительно, ничего не говоря. В экипаже взял маленькую руку и сжал. Она привалилась, сияя кошачьими в темноте глазами. Савинков откинул, крепко обхватив за спину поцеловал в губы, ощутив запах пудры и слабый алкоголя.

Ни извозчику, ни прохожим, ни городовому не было до них дела. Тогда пришлось бы смотреть на все едущие Петербургом пары. А их ехало тысячи. На лихачах. В каретах, автомобилях. На ваньках.

Многие были даже интереснее проститутки и террориста, которым было скучно.

8.

Сквозь вестибюль швейцар проводил дикенькой улыбочкой. Было непонятно, почему такая улыбочка рождается у швейцаров, провожающих людей с женщинами.

Савинков долго не попадал ключем в скважину. Девочка стояла в полутемноте коридора. Когда открыл, она шагнула в темноту номера. Штепсель, повернувшись, осветил тоскливость дешевой гостиницы. Красные обои с рисунком напоминающим чертей с разводами, стул, умывальник. Стена противоположного дома уперлась в окно, лишив перспективы.

Девочка еще не раздевалась. Стояла упершись худыми руками в бедра.

— Ну что же ты не раздеваешься, — пробормотал Савинков, охватывая хрупкую фигуру.

— Постой я разденусь, — прошептала она не делая никакого движения, чтобы высвободиться.

Савинков, целуя, чувствовал, что семнадцатилетние губы мягки, невыразительны, не сопротивляются ничему. И вся она, опавшая, глупая, ничего не смыслящая. Он отпустил ее, чтобы разделась. Проводя рукой по лицу, как от усталости, сел на диван и закурил папиросу.

Потом потушил электричество. Номер стал темнел. Белело постельное белье и раздевшиеся люди. Чем покорней, бессловесной была женщина, острее чувствовал подкатывающееся бешенство он. Она не представляла, что он чувствует и чего хочет.

Она привыкла одеваться в темноте по несколько раз в ночь. Одевалась быстро. Савинков слышал всхлипывающий плач. Вспыхнуло электричество. Услыхал, протопали каблуки. Девочка пудрилась у зеркала. Потом повернулась к постели:

— Я уйду, — сказала она.

Савинков понял: надо платить. Надел рубаху, в одной рубахе пройдя к пиджаку, вынул пять рублей.

Она сунула в сумочку и вышла.

Ночь была в разгаре. Улицы плыли желтым огнем. Где-то бились длинные глухие удары часов. — Поздно, — сказал Савинков. Пахло телом, измятым бельем. Он сидел в рубахе на диване. Опершись руками о стол, держал в руках голову, было скучно.

9.

Уж один раз Иван Фомич как будто заметил филера. Что-то неладное показалось и товарищу Петру, в разговоре с дворником на постоялом. А утром в комнату Савинкова приоткрылась дверь.

— Войдите! — крикнул Савинков.

Как бы приседая, в комнату вошел старый еврей в потертом сюртуке с пугливыми глазами. Танцующей походкой он шел к столу и сел.

— Здравствуйте, господин Семашко, — сказал он, лицо пересеклось многими складками.

— Я не имею чести вас знать.

Вошедший улыбался, как старый друг, улыбаясь рассматривал Савинкова, словно собирался писать портрет.

— Мы кажется с вами немножко знакомы, господин Семашко?

— Что вам угодно?

— Вы же писатель Семашко, мне угодно вас пригласить для сотрудничества.

— Я представитель фирмы резиновых изделий братьев Крамер. Вы ошиблись, потому, простите пожалуйста, — Савинков встал, указывая вошедшему на дверь.

— Что значит вы не писатель? Что значит вы представитель фирмы? Моя фамилия Гашкес, но если вы не хотите продолжать разговор. — Гашкес сжал

плечи, фигура стала до жалости узкой. Он встал и идя к двери, дважды оглянулся на Савинкова.

«Готово. Следят. Сейчас за Гашкесом ворвутся жандармы». И когда Гашкес еще не дошел до двери, Савинков уже обдумывал, как выбежит из номера и в гостиницу не вернется.

В коридоре было тихо. «Задним ходом, во второй двор». Савинков накинул пальто, отшвырнул шляпу, взял кепи, подбежал к зеркалу. Взглянул.

Выход на черную лестницу был в самом конце. На Савинкова дохнули прелость, смрад, вонь кошками, помоями, отхожим местом. Он спускался. В голове билось «не убегу, схватят, виселица». Он был уже на пыльном дворе. С дворником ругался какой-то тряпишник. Савинков сделал несколько шагов по двору. Но было ясно, двор не проходной. Стало быть выходить надо на улицу, где у входа сыщики и жандармы.

Савинков стал у отхожего места, как бы за нуждой, смотрел в ворота, ждал не мелькнет ли пустой извозчик. И когда дворник закричал:

— Чего пристыл, нашел место, лень зайти то, чоорт!

Савинков увидал, легким шагом мимо ворот проезжает пустой лихач, сидя на козлах полубоком.

Савинков махнул и бросился к воротам. Натянув возжи, лихач стал посреди улицы. Замедлив бег у ворот, Савинков быстрым шагом, не глядя по сторонам, пересек улицу. И когда был уж в двух шагах, прыгнул в коляску.

— Что есть духу за Невскую! Гони!

Рысак бросился с места, размашисто откидывая рыжие в белых отметилах ноги. Савинков оглянулся. У подъезда гостиницы метались швейцар, фигура Гашкеса и два гороховых пальто побежали на угол, очевидно за извозчиком. Но лихач не оглядывался, только смотрел, как бы в страшной резвости призового коня не раздавить случайную старуху. Лихач нес-

ся, крича — «Ей, берегись!» — Мимо Савинкова лети улицы, переулки, прохожие.

«Ушел, ушел», — радостно думал Савинков, когда взмыленный рысак уменьшал бег к Невской заставе. Улица была пустыня. Савинков сошел с извозчика, расплатившись, вошел в попавшуюся пивную.

В пивной никого не было. Савинков заказал битки по казацки и бутылку калинкинского. — «Плеве будет жить», — думал он. — «Надо снимать товарищей. Но где же Иван Николаевич?»

10.

Явка была в Демидовом переулке на углу Мещанской. Издали он увидел Петра. Но не остановился, а проходя мимо, только как бы задержавшись у окна, бросил:

— Сегодня же снимайтесь оба, уезжайте из Петербурга. За нами слежка.

— Что за чорт, — пробормотал Петр, — чье распоряжение?

— Мое. Немедленно езжайте оба в Вильно.

К окну шла дама под зеленым зонтиком, стремясь рассмотреть выставленные кофточки.

Они разошлись.

Ночью Савинков, без вещей, без паспорта, ехал на конспиративную квартиру в Киев, решив оттуда пробираться к Гоцу. Поезд укачивал его мерным стуком.

11.

Эти дни в Берлине Азеф прожил, волнуясь. Из Петропавловской крепости кто-то передал записку о том, что Гершуни и Мельников преданы. Жандармский поручик Спиридович оказался глупее, чем думали. Это было первое дело поручика. Он неумело торопился с расследованием и арестами по делу Том-

ской типографии. Откуда то выплыл тонкий слух о предательстве. И как было не выплыть. Жандармы промахивались, не щадя агентуру. Азеф говорил, чтоб транспортистку литературы фельдшерицу Ремянникову, не трогать. Ее взяли. Просил оставить главу московского «Союза социалистов-революционеров» Аргунова. Арестовали и его.

Азеф волновался. Надо было выждать. В голову лезло с деталями конспиративное свидание с Аргуновым в Сандуновских банях. Голые, в номере с зеркалами обсуждали они планы «Союза». Азеф припоминал непохожесть тел в зеркалах, — его и Аргунова. Он толстый, с громадным животом, ноги в черных вьющихся волосах. Все время намыливаясь крупной пеной, растирался мочалкой, выплескивал воду из шайки. Тощий Аргунов в голом виде был смешон. Стоял голый, все говорил. Когда номерной постучал в дверь: — что, мол, час уже прошел, Аргунов одевал белье на сухое тело. А Азеф растирался цветным полотенцем, приседал и крякал. Аргунова нельзя было трогать. Азеф понимал. А они сослали его в Якутскую область.

У Азефа был математический мозг. Он хотел ясности. И писал к креслу Гоца: — «Дорогой Михаил, меня мучит совесть, что товарищи в Петербурге брошены на произвол судьбы, кабы не случилось чего, в особенности с Павлом Ивановичем, он горяч и плох, как конспиратор. Но поделать ничего не могу, в Берлине задерживает техническая сторона дела. Напиши о новостях.

Крепко целую. Твой *Иван*».

12.

Но Савинков уже трясся на тряской балагуле. Вез его к немецкой границе хитрый фактор Неха Нейерман, двадцать лет из Сувалок переправлявший рус-

ских эмигрантов. В лунную ночь балагула была переполнена.

Савинков часто спрыгивал с балагулы, бежал разогреваясь, по извозчичьи хлопая руками.

— Ай, господин, вы бы сели себе и сидели, нельзя же, чтобы все мы бежали, тогда бы нам лучше было бегать, чем ездить! — И Савинков, смеясь, впрыгивал на балагулу. Плотней кутаясь в пальто натягивал на себя еще рогожу. Тихо поскрипывая в ночи, через границу медленно ехала балагула. И было тихо на ней, словно старый фактор Нейерман вез мешки с овсом.

13.

В окнах квартиры Чернова стояли кактусы, им коллекционировались. На звонок стали приближаться медведеобразные шаги. Снялась цепь. Щелкнул замок. В полутемноте выросла крупная фигура с сердитым лицом, взлохмаченными волосами. Видно было, что Чернов писал статьи, лохматя волосы.

— Чем могу служить? — сказал скверно по французски.

— Я — Савинков.

— Что? — удивленно пробормотал Чернов. — Проходите, — буркнул зло.

Тот же портрет Михайловского, окурки в пепельнице, несмотря на погоду, — пять удочек с красными поплавками.

— В чем дело? Почему вы здесь? — закричал Чернов.

Савинков увидел гнев. Прыгнула рыжая борода, круглые, косые глаза метнулись в стороны.

— Я хотел видеть Гоца, его нет.

— Михаил уехал. В чем дело?!

— Азеф нас бросил. За нами началась слежка.

— Что вы мелите вздор! Иван на месте! Я знаю! Вы бежали с поста!

— Я прошу вас, Виктор Михайлович.

— Вы не смели! Вы сорвали дело! Вы обязаны беспрекословно повиноваться Ивану! Он начальник! Назначен ЦК! Вам было приказано быть в Петербурге! Вы должны быть на месте, чего б это ни стоило! — чем сильней кричал Чернов, визгливей становился крик, неуловимей разбегались глаза. Толстые ручищи вонзились в волосы. Чернов ходил возмущенными шагами. — Чорт знает что! В то время, как вы тут, Плеве порет крестьян, гонит людей в застенки, наполняет Сибирь лучшими людьми! Россия обливается кровью! да! кровью! — закричал он, топая ногами.

— Виктор Михайлович я хочу есть.

— Чего!? Что вы хотите?!

— Есть! Накормите, я ехал две недели без денег.

— А знаете что, — остолбенев, вскрикнул Чернов. — Вы, молодой человек, с наглечой! вот что!

14.

Назавтра, за обедом Виктор Михайлович, смеялся прекрасным рядческим смешком. Приговаривал, поглядывал с добродушием дяди.

— Да как же, голубок, согласитесь, сеяли рожь, а косим лебеду. Затеяли важнейшее партии дело, все в уверенности, Павел Иванович ведет, а вы авось да небось да третий ктонибудь. Да разве это дело, кормилец? Постоите, как Иван вас взгреет. Молодо зелено, то то и оно то вот. Что бы сказала Вера?

— Какая Вера?

— Как какая, Вера Николаевна Фигнер, — ответил Чернов, прожевывая шницель.

— Мальцейт! — проговорила пышная немка в телесах, зашуршав мимо Чернова и Савинкова. За ней прошли протороторившие француженки.

— А, скажите Павел Иванович, — говорил за кофе Чернов, — ну вот, скажем так, перешли вы к нам

от социал-демократов, говорите, не удовлетворяет вас пробел в аграрном вопросе, ну а как же мыслите то, вот хотя бы по тому же вот аграрному вопросу, скажем? А? С литературой то едва ли знакомы? Ох, едва ли? Про французских утопистов то Анфантена, Базара, пожалуй и не слыхивали? И про производительные ассоциации Лассалья не довелось почитать?

Савинков пил кофе с ликером, прислушиваясь к дальней ресторанной музыке.

— Это верно, не слыхивал, — сказал он, улыбаясь монгольскими углями глаз, отхлебывая кофе. — В аграрных делах, не специал. Признаюсь.

— Не специал? — захохотал Чернов, трясая львиной шевелюрой, и шмыгая носом. — Так сказать, революционер на свой салтык? Так что ли? Плохо-с, что не специал, как же так, вы же член партии?

— Не по аграрным делам. Вашего департамента не касаюсь. Бог там знает, сколько мужику земли надо? Вон, Толстой говорит, три аршина. Вы кажется предлагаете значительно больше.

— Так как же это, кормилец, Лев Толстой и прочее. Ведь это же стало быть индифферентизм к программе партии?

— Зачем? Просто приемлю, что по сему поводу излагаете вы, и ни мало вопреки глаголю. Не та специальность, Виктор Михайлович. Вы теоретик, вам и книги в руки. Я выбираю другое. Разделение труда — верный принцип достижений. Вам теория. А нам, разрешите, бомбы. Я ведь думаю, что ваш друг, Иван Николаевич тоже мало занят французскими утопистами?

— Аристократия духа, стало быть! Понимаю, понимаю! Такими мелочами, мол, не занимаемся, что там аграрные дела, нам бомбы подавай. Ну что же, что же, — быстрым говорком пел Чернов, — два стоят, два лежат, пятый ходит, шестой водит. Ну бутылочка то вся? Другую спрашивать то уж не будем.

Отставляя стул, Савинков говорил: — Я, Виктор Михайлович, собственно, народовол.

— Это зря, батюшка, зря, ни к чему, это история уж, история, да, да, пойдете ка, пойдете, и так заобедались.

15.

В четверг в двенадцать еженедельно блиндированная карета министра Плеве вымахивала из дома на Фонтанке. Окруженная рысаками, велосипедистами мчалась стремительно черным лаковым кубом, мимо Троицкого моста, Дворцовой набережной к Зимнему дворцу.

Сквозь затуманенные стекла была видна фигура, плотного человека, смотревшего на белозамерзшую Неву.

Никаких препятствий на пути не встречала карета. Ее мчал рыжебородый кучер Филиппов, как мчат только русские кучера на русских орловских конях.

16.

На этот раз из Женевы Савинков ехал не один. Ехал нервный с светлыми, насмешливыми глазами Каляев, крепкий, как камень, динамитчик Максимилиан Швейцер, такой же крепкий, только румяный и веселый Егор Сазонов, колеблющийся Боришанский, больной экземой Алексей Покотиллов. Ехал и сам Иван Николаевич.

Все уже были в разных городах России: — в Риге, Киеве, Москве. Но лица были обращены — к Петербургу. И когда запахло мартовской весной, все съехались, чтобы убить министра.

17.

Перед подготовкой убийства боевики были в Москве. Посланные на дело партией, еще не знали друг

друга. Савинков остановился в фешенебельном отеле «Люкс». И в один из дней, когда он без дум ходил из угла в угол, на пороге появилась грузная, каменная фигура Азефа.

Азеф не подал руки. Он спросил коротко, как спрашивают обвиняемого:

— Как вы смели уехать из Петербурга? — уставился фунтовыми глазами.

— Я уехал потому, что вы бросили нас. Нам грозил арест, мы были выслежены полицией, чтобы не замарать дело, я снял товарищей. Но разрешите спросить, как вы смели бросить нас на произвол судьбы, на арест полицией, не давая ни указаний, ни денег. Почему не было ни одного письма, по указанному вами адресу?

Азеф смотрел на Савинкова в упор. Хотелось знать: есть ли подозрение? Его не было.

— Меня задержала техника динамитного дела, — сказал Азеф. — Я не мог раньше выехать. Но это все равно, вы не смели сходить с поста.

— Вплоть до бессмысленной виселицы?

— За вами никто не следил.

— Если б за мной не следили, я б до сих пор был в Петербурге. Я был накануне ареста, еле бежал из рук сыщиков.

Азеф молчал, был спокоен: — подозрений не было. Сказал ржавым рокотом, как бы в сторону:

— Расскажите результаты наблюдений.

Это значило конец неприятному разговору. Савинков стоял, поставив ногу на стул. Сняв ногу, ходя по комнате, Савинков говорил о выездах Плеве. Азеф смотрел в ковер. Когда Савинков кончил, Азеф грузно, лениво вздохнул животом.

— Это я знал без вас. Стало быть, вы ничего не сделали. Извольте отправляться в Петербург, возобновить наблюдение.

— Я для этого приехал из Женевы.

— Сегодня в 12 ночи вы увидите с Покотиловым. Он будет ждать в отдельном кабинете «Яра»,

загримирован, у него большая русая борода. Кабинет номер 3. Там вы решите относительно поездки. Покотиллов будет готовить снаряды. Швейцер ждет в Риге. Я его уже вызвал телеграммой в Петербург. А с Каляевым вы связаны?

— Да. Он живет здесь в одной гостинице.

— Пусть едет с вами. Выезжайте завтра же. Первая явка со мной будет 20 марта в купеческом клубе на маскараде. Поняли?

— Понять нетрудно.

— Очень рад, что нетрудно. Думаю, что работать будем лучше.

— Если вы будет уловимы, я тоже думаю.

Вдруг Азеф улыбнулся медленной растягивающей скулы улыбкой. Это была — ласка.

— Ну ладно, — проговорил он, — не будем ссориться, я вас ей богу люблю. Кстати все хочу перейти на ты. Вы будете помощником в деле Плеве. Ладно что ли? — тяжело вставая с низкого кресла, смеялся он, — я же говорил, что вы барин, но ничего не плохо, нам в конспирации нужны и баре и извозчики, — смеялся гнусаво.

И сжимая руку Павла Ивановича двумя руками, проговорил:

— Сегодня в «Яру» увидите Покотилова. Завтра втроем выезжайте на место.

18.

Снег московских тупиков был глянец, словно вымостили столицу белым паркетом. С Тверской по белонатертому полу в Петровский парк начинали ход запаленные, заезжаные московской удалью голубцы, в бубенцах и лентах. Храпели кони. Разномастная публика неслась в ковровых санях с отлетами. Кокотки с офицерами. Купцы в старомодных енотах. Европеизированные купеческие сыновья в шубах с бобрами. Заезжие провинциалы. Пропивающие казну

чинсвники. Кого тут не было! На сером лихаче, приятно откидываясь в гулких ухабах, неся петербургским шоссе Борис Савинков. Отставали многие от резвого лихача. Только пара пар наемных голубцов, несшихся диким аллюром, объехала вскачь, словно торопились седоки, что не доживут, не доедут до «Яра».

Любителей цыганской тоски, от которой ныли кости, подносили мокрые, хрипящие кони к небольшому одноэтажному дому с обыкновенной вывеской «Яр».

«Яр» был низок, столики, открытая сцена.казалось, ничего особенного, но что то было в загородном кабаке. Отчего сотни мечтателей, богачей, дураков, невропатов стрелялись в кабинетах под цыганские плясы Шуры да Муры.

— Кабинет номер три.

— Пожалуйте, — склонился татарчонок. Савинков пошел за резво бегущим татарчонок во фраке. Они прошли переполненный зал. Савинков чувствовал запах цветов, духов, алкоголя. Сидели фраки, декольте, смокинги, сюртуки, поддевки. Под поляковские гитары, которые, казалось каждую минуту разломаются вдребезги от сумасшедшей игры, со сцены пела женщина с горячими, ассирийскими глазами, вся в яркочерном, смуглая как земля:

«В чыасы рыаковой кыагда встрэтил тебя»

Женщина показала Савинкову полной отчаяния.

— Пожалуйте, — склонился татарчонок у кабинета.

Дверь закрылась. Из-за стола встал высокий русский барин с длинной, кудряватой бородой.

— Павел Иванович? Не узнаете? — проговорил Покотиллов, пожимая руку.

— Чорт знает, что такое, на расстоянии двух шагов, четыре часа говоря с вами, не узнал бы.

— Тем лучше. Это меня радует. Я непьющий. Но тут приходится. Вы разрешите?

— Благодарствуйте, — подставил Савинков узкогорлый бокал.

Из зеркал глянули на Савинкова два изысканных русских барина. Один с бородой, очень русский. Другой бритый, с монгольскими смеющимися глазами, похожий на молодого кюре.

— До чего тут зеркала исчерчены, заметили? Столетиями упражнялись.

— Пробовали алмазы. Поджидая вас, все читал надписи, довольно забавно.

Савинков встал, подошел к зеркалу, в глаза бросилась сделанная размашистым пьяным почерком надпись во все зеркало — «Любовь» и неразборчиво.

— Можно попробовать и мой. — Савинков черкнул сперва, потом перечеркнул надпись «Любовь» надписью «Смерть». Но вышло плохо и он, смеясь в зеркало, отошел.

— Выг видались с Иваном Николаевичем?

— Да.

— Иван Николаевич сказал: вы, я и «поэт» завтра выезжаем в Петербург. Швейцер выехал, Егор уж на месте.

— Да, да Иван Николаевич говорил. Сведения и наблюдения будут передаваться вам, вы будете непосредственно...

Но вдруг за стеной грянул хор с топотом ног, визгами и тут же полетела бьющаяся посуда. Заплясало много ног. Среди гика, свиста, словно тысячи веселых балалаек, выговаривал хор:—«Ах, ты барыня, ты сударыня».

— Должно быть купцы, с размахом, — улыбнулся Савинков, любивший визг, пенье, хлопанье бутылок.

— Сгало быть связь с Иваном Николаевичем будет у вас?

— У меня. Сазонов и Мацевский станут извозчиками. Каляев пойдет в разнос с папиросами. Вы и Швейцер — приготовление снарядов.

— Да, да, — отпил глоток шампанского Покотилов, прислушиваясь к несмолкавшему кутежу.

Было странно, что женеvский эмигрант «товарищ Алексей», которого знал Савинков, сидит русским барином с бородой и из чужой бороды идут голос и мысли эмигранта Покотилова.

— Павел Иванович, конечно я подчиняюсь дисциплине и распоряжениям Ивана Николаевича, — он прекрасный организатор, хороший товарищ, но поймите для меня будет ужасно, если и теперь меня обойдут.

— То есть как?

— Вы подумайте, — тихо говорил Покотилов, — хотел убить Боголепова, был совершенно готов, все было решено, я приехал из Полтавы в Петербург, записался уж на прием к нему и вдруг Карпович меня предупреждает. Я стал готовиться на Сипягина, на него пошел Балмашов. Я ездил в Полтаву к Гершуни, просил, было решено:—я убью Оболенского, вдруг узнаю, что не я, а Качура, Качура рабочий, ему предпочтение.

Покотилов слишком жарко говорил, слишком близко приближал лицо. На лбу Покотилова от экземы выступили мелкие капли крови.

— Павел Иванович, вы понимаете? Я не могу больше. У меня не хватает сил. Я измучен. Бомба на Плеве должна быть моей. А я вижу, Иван Николаевич относится с недоверием.

— Откуда вы взяли?

— Мне так кажется. Я прошу, поддержите меня. Я буду готовить бомбы, но этого мало, я хочу сам выйти, понимаете, сам?

— Понимаю.

— Ну вот. Поддержите? Покотилов положил на руку Савинкова тонкую белую руку.

— Поддержу.

— Ну тогда за успех, — улыбнулся Покотилов. Оба подняли бокалы.

— Вы верите? — сказал Савинков.

— Безусловно, — обтирая губы, проговорил Покотилов, — вы знаете Ивана Николаевича? С ним не успеха быть не может. Он расчетлив, точен, хладнокровен и очень конспиративен, это важно. Я убежден, что убьем. Только трудно ждать. Я храню динамит. Жить с динамитом в ожидании невыносимо.

— Теперь уж недолго. — Савинкову не хотелось, чтоб Покотилов говорил на болезненную тему тоски ожиданий. — Может перейдем в зал? — сказал он, — а то как бы не показалось подозрительным, сидим вдвоем? Иль может пригласим девочек, вы как?

Покотилов сморщился.

— Не стоит, — сказал он, — я уж хочу ехать, пора, хотя знаете, у меня бессонница, поэтому я и выпил больше обычного. Раньше четырех не засыпаю.

Савинков, проводил Покотилова до двери. Вернувшись, сидел один, допивая бокал, потом закурил и позвонил.

Вошел татарин.

— Кто эта певица, в красном, когда я вошел?

— Шишкина.

— Пригласи ее.

— С гитаристами?

— Нет, одну.

— Могу сказать, что не из таких, понимаете, — фамильярно проговорил лакей.

Савинков смерил лакея с ног до головы.

— Поди и позови. Вот моя визитная карточка.

На карточке — «инженер Мак Кулох».

19.

В дверь кабинета ворвалась музыка. На пороге стояла женщина в ярко-красном платье, отделанном золотом, смоляные волосы были заколоты большой, светившейся шпилькой.

Как хорошо воспитанный человек, Савинков встал навстречу. Она пошла к нему, улыбаясь. В дверь

вошли два гитариста в цветистых цыганских костюмах. Заперли дверь и в кабинете стало тихо.

— Хотите цыганскую песню послушать? — проговорила низким голосом женщина, обнажая в улыбке яркие зубы.

Она была хорошего роста. Красивые, обнаженные, суглинные руки. Такое же лицо. Волосы крупные, простой прически, черно-синие, словно конские. Глаза горячие, с чуть растянутым разрезом и в них было словно какое то отчаяние. Может быть женщина была негресва. Гитаристы стали в отдалении. Оба черные, кудрявые.

— Очень хочу послушать вашу песню, — проговорил Савинков, целуя руку, всю в кольцах.

Лакей нес шампанское. Другой — фрукты. Следом вошла бедно одетая девушка с корзиной цветов. Савинков собрал красные розы и передал Шишкиной.

— Ой, ой какой барин добрый! — низко прохохотала, имитируя таборных. — вы нерусский?

— Англичанин.

— Ой, шутишь, барин, — прищурила Шишкина глаз — и засмеялась.

— Англичанин купит розу, купит две, а так русские покупают. Да и в кабинет к одному англичанин не зовет. — Отхлебнув полным глотком шампанское Шишкина сказала — Ну что ж, спеть штоль тебе, барину-англичанину.

Она была необычайна. До того много было в ней огня, жизни. А в глазах вместе с огнем билось отчаяние. Шишкина пела сидя. Только отодвинулась от стола. Гитаристы встали по обе стороны. Она в красном. Гитаристы в разноцветном. Сначала щемительно заиграл, топя ногой, один. Другой подхватил пронзительный мотив, но чересчур рвал гитару, было слышно, как хватаются струны и что-то дребезжит. Шишкина вздохнула, вдруг кабинет наполнился сильной, придушенной нотой, хрипловатого

голоса. Но это показалось. Шишкина пела полней. Голос гремел в зеркалах. Она пела совсем невесело:

«Скажи мне что-нибудь глазами, дорогая»

И от неученого пенья Савинков чувствовал, как пробегает по коже мороз. Глаза Шишкиной полузакрыты, руки сложены. Последние слова песни произнесла пленительно, словно вырвала их из груди и перед ним положила. Сидела не шелохнувшись, пока гитары доигрывали акомпанимент, жалобно переходя в минор из мажора.

— Чудесно — проговорил Савинков. Окна кабинета занавешаны. Но Савинков знал, за окнами уж светло. Шишкина что-то сказала гитаристам по цыгански. Кивнули головами. И вдруг ударили с вскриками. Она, покачиваясь на стуле, содрогаясь от выкрикиваемых, выговариваемых нот, пела старое, древнее, может быть индийское.

Все плыло плавкими, легкими переплавами. Песня, Шишкина, гитаристы. Странно было, что взрослому человеку в кабаке захотелось плакать.

Шишкина кончила. Подвинулась к столу. Спросила тем же низким грудным голосом, смеясь глазами:

— Хороша, цыганская песня?

— Хорсша.

— Только барин-англичанин — смеялись глаза — должна я от вас итти — и заговорила таборно, а ее узкие, горящие отчаянием глаза смеялись.

— Спасибо за песню. Сколько я вам должен?

— Этого, милый барин, не знаю, гитаристы мои знают.

Протянув руку в серебряных кольцах, Шишкина, шурша красным платьем, вышла из кабинета, от дверей послав огненный взгляд и махнув рукой.

— Двадцать рублей за песню, барин, берем — крикнул старший гитарист.

Савинков кинул сторублевку.

В зале «Яра» никого уже не было. В кабинетах неслась шум, музыка пляса, пенья. Торопливо пробежали запыхавшиеся лакеи, красный, фрачный метрдотель. Бегом неслось вино, кушанья, тарелки, вилки.

«Если будет неудача, повесят» — думал Савинков, когда — «Пожалте барин» — давал бобровую шапку и трость швейцар. У подъезда рванулись лихачи. Один въехал оглоблей под дугу другому, оба разразились саженой руганью, маша толстыми руками кафтанов. Савинков сел на третьего. Ладная кобыла, храпя, рванулась от «Яра».

Савинков мчался Москвой. Приятно ощущая на разгоряченном вином лице ветер. Когда кобыла несла сани по Садовой-Триумфальной невольно взглянул на вывеску — «Номера для приезжающих. Северный полюс». Там жил Каляев. «Спит, наверное, счастливый ребенок, и видит во сне смерть министра». Под ветром Савинков слабо улыбнулся. Кобыла быстрым ходом несла к «Люксу».

20.

Азефу было трудно. Смерти Плеве требовала воля террористов. Требовала партия. Требовали слухи о провокации. Надо было рассеять. Но, после убийства, страх перед департаментом: — провал, предание в руки революционерам? При этой мысли, Азеф жмурился, закрываясь руками. Он боялся молодых, готовых на все людей. Чтоб обстановка стала яснее, он выехал в Варшаву.

Старый сыщик, провокатор, действительный статский советник П. И. Рачковский был странный человек. Темноватый шатен был высок, сутул, с острым носом, реденькой бородкой, росшей только на подбородке. Говорил мягким тенором, при разговоре слегка шепелявил, любил белые жилеты, отложные воротнички. Глаза Рачковского никогда не останав-

ливались, бегали. Он был похож на бритву сжатую в темные ножны.

В царствование Александра II начал карьеру Рачковский. Двадцать лет комбинировал игру провокаторов, нанося удары революционерам, разбивая смелые планы, совершая налеты, аресты. Но старика, похожего на бритву, как пса, вышвырнул Плеве. В бедноватых комнатах на Бураковской живет тот, кому французами поручалась охрана президента Лубэ, кто имел руку в Ватикане, дружа с епископом Шарметэном, был близок с Дэлькассэ, оказывая влияние на франко-русский союз.

Сыщика любил сам царь. Когда министр не подал руки провокатору, царь лично представил провокатора министру, сказав: «Вот Рачковский, которого я особенно люблю». — Министр крепко пожал руку.

Но на докладе Плеве царь положил резолюцию — «желаю, чтобы вы приняли меры к прекращению деятельности Рачковского раз навсегда». Через личных сыщиков Плеве поймал Рачковского и скомпрометировал. В докладе вменялись: пособничество анархическому взрыву собора в Льеже, участие агента Рачковского в убийстве генерала Селиверстова, кража у Циона нужных Витте документов, дела с иностранными фирмами по предоставлению концессий в России.

Что вилось в душе прожелтевшего от шпионажа и комбинаций старого Рачковского! «Убили» — шептал он, мечась по истрепанному ковру квартиры. Но не от отчаяния, а как загнанный матерый волк, ища, нет ли прогалины, куда бы броситься, вымахнуть, перекусить горло.

— Петр Иванович, динэ! — проговорила жена французенка Ксения Шарлэ.

Шепча про себя, Рачковский пошел обедать. Но даже, как смертник, не чувствует вкуса пищи. «И кто? негодяй, сын органиста, убийца Богдановича?» — задыхается злобной слюной Рачковский.

Когда Петр Иванович съел две ложки рассольника с гусиными потрохами, в передней тихо позвонили. «Кто б мог быть?» — подумал, переставая есть, Рачковский и встал, закрывая дверь в столовую.

В темноте коридора Азеф сказал протягивая руку:

— Здрасти, Петр Иванович.

— Простите, сударь, не узнаю — придвигаясь проговорил Рачковский — а! Евгений Филиппович! вот бог послал, страшно рад, проходите пожалуйста, совершенно неожиданно!

— Я проездом — буркнул Азеф, в словах было слышно, что он задохнулся, поднимаясь лестницей.

В бедноватом кабинете с потертым ковром, когда то в цветах, где только что метался Рачковский, Азеф сел в качалку, опустив ноги на пол, поднял ее и не качался. Разговор еще не начинался.

— Из рук вон плохо работа идет, Петр Иванович — гнусаво рокотал Азеф, было видно, что действительно чем-то расстроен — посудите, какое отношение? Не говорю о деньгах, сами знаете, гроши, о деле: — я же не штучник какой-нибудь, слава богу, не год работаю, и знаете, как пользуются?

— А что такое? — тихо сказал Рачковский и весь подался вперед.

— Сдал о «Северном союзе», сдал Барыкова, Вербицкую, Селюк, литературу, типографию, только просил не трогать фельдшерницу Ремянникову, сама неинтересна, ее квартира служила только складом и я сам накануне был у нее. А им мало показалось, на другой день взяли Ремянникову.

— Ну и что же? — делая вид, как бы не понимая, проговорил Рачковский.

— Бросьте — пробормотал Азеф. — Я к вам не за шутками пришел, понимаете, что в партии идут слухи, мне пустят пулю в лоб.

— Да, конечно, это неразумно — сказал Рачковский и ему показалось, что разговор с Азефом может быть чем-то полезен.

— И что же? И не один раз так что ли случилось? Ведь позвольте, с Ремянниковой-то дело давно уж?

— Я не уверен, что из за нее нет подозрений.

Рачковский, щурясь, смотрел вглубь беззрачковых глаз Азефа, улыбаясь синеватыми губами, сказал медленно:

— Могу успокоить, не повесят вас еще. Ведь это Любовь Александровна Ремянникова? так что ли? Фельдшерца? Ну знаю, знаю. В предательстве подозревают Вербицкую, то есть даже знают, что она запуталась и выдала на допросе Спиридовичу. Да, да, тут волноваться нечего. Вербицкая обставлена неплохо, эс-эры обвиняют ее, а с Ремянниковой шито крыто. Покойны? За этим и приходили?

Азеф опустил ноги, слегка закачался.

— Восбще безобразие — тихо бормотал он. — Ратаев притворяется, что недоволен моими сведениями. Не понимает, что надо быть осторожным, не могу я лезть в дурацкие расспросы. Тут еще этот Крестьянинов узнал от какого-то филера Павлова обо мне. Ну да это-то прошло. А вы посудите опять, что с Серафимой Клитчоглу? Она назначила свидание в Петербурге. Я доложил Ратаеву, спрашиваю, допустить свидание или нет, но говорю, если свидание мое с ней состоится, то трогать ее нельзя потому, что опять на меня падет подозрение. Собрали они там, как Ратаев говорит, собрание с самим Лопухиным, решили, что свидание нужно и что ее не трогать. Я дал ей явку. Пришла. Они ее через несколько дней арестовали. Да разве это работа? Не понимаю, что они думают? Что мне жизнь не дорога? что я сам в петлю лезу? Да чорт с ними, что думают, но что ж, не нужен я им что ли? — Азеф волновался, начинался гнев, на толстых губах появилась пена слюней.

Рачковский смотрел на него пристально и именно на его слюни.

— Ведь у них же никого нет, они врут, что есть, никого нет — напирал Азеф, вглядываясь в Рачковского.

Рачковский соображал, глаза мышью бегали под бровями.

— Что говорить, ваши услуги конечно велики, работа нештучная, серьезная — сказал он, задумываясь и что-то как будто сообразив. — Нет там людей сейчас, Евгений Филиппович, поэтому и беспорядок. Настоящих, преданных делу людей господин министр выбрасывает, новых берет. Не понимает дурак — проговорил резко Рачковский — что в розыском деле опыт — все. Все — повторил веско Рачковский.

Помолчав, Азеф сказал вяло:

— Вас Плеве сместил?

— Как видите, после двадцатипятилетней службы — улыбка кривая, полная злобы, как будто даже плача, показалась на лице Рачковского.

Азеф глядел искоса.

Рачковский повернулся и, как бы смеясь, сказал:

— А что вы думаете, господин Азеф, о кишиневском деле?

— О каком?

— О погроме.

Азеф потемнел.

— Это его рук?

— Кого-с?

— Плеве?

— А то кого же с! — захохотал Рачковский. — Полагает правопорядок устроить! 30 тысяч свреев убил! Я вам по секрету скажу — наклонился Рачковский — разумеется между нами, ведь отдушину-то господин министр не столько для себя открыл, сколько для наслаждения тайного повелителя, Сергея Александровича, чтоб понравиться так сказать, да не рассчитал, как видите, не учел Запада, а теперь после статьи-то в «Таймс» корреспондента высылают, то да

сё, да с Европой не так-то просто, не выходит, да-с. Видит, что переборщил с тридцатью-то тысячами, да не Иисус Христос, мертвых не воскресит — захохотал Рачковский дребезжаще, не сводя глаз с Азефа.

Азеф выжидал. Хоть это было, кажется то, зачем он приехал.

— А скажите, Евгений Филиппович — начал Рачковский, вставая, — правда, что революционеры готовят большие акты?

Азеф смотрел на полупрофиль Рачковского. Он впился в задышанный, змеиный полупрофиль. Хотелось знать, правильны ли ассоциации.

Рачковский быстро повернулся к Азефу, как бы говоря: «что же ты думаешь, что я тебя боюсь что ли?» Азеф проговорил как бы нехотя.

— Готовят как будто. Не знаю.

— Надеюсь не центральный? — подходя, заметался Рачковский. — Думаю, что мимо вас это не идет?

— Нет, не центральный — оправляя жилет, мелко скользнув по Рачковскому, сказал Азеф.

— Что ж, министерский?

Сделав вид, что ему не так уж это интересно, Азеф поднялся.

— Готовят, Петр Иванович, акт, но вы теперь лицо неофициальное, я собственно не имею права — улыбался вывороченными губами Азеф.

— Хо-хо! куда хватили! — хлопнул по плечу Рачковский — а вы не бойтесь, дорогой! — вдруг заговорил Рачковский, смело и близко придвигаясь, подчеркивая каждое слово произнес: — И не такие опалы бывали, важно одно, а там и я в опале не буду, да и вы, милый друг, не с олухами работать будете и не за такие гроши рисковать петлей.

И пристально глядя Рачковский проговорил:

— Ведь не хочется в петле-то висеть, а?

Азеф понял. Но захохотал.

— Чего же смеетесь? — обидчиво сказал Рачковский.

— Да так, Петр Иванович.

— Ну да — протянул Рачковский и, задерживая руку Азефа, опять придвигаясь, проговорил:

— А вы бросьте, батенька, подумайте-ка, не шу-чу говорю. Надо выходить на дорогу, да, да. Мои связи-то знаете?

Азеф с удивлением чувствовал, у Рачковского сильная рука. Рачковский крепко сжимает его плавник, говоря «знаете», сдавил почти до боли.

— Попробуем счастья — бормотнул Азеф. Рачковский мог даже бормотанья не слышать. Но он говорил, ведя к двери:

— Сегодня же нас покидаете?

— С вечерним.

Выйдя на лестницу, Азеф стал сходить по ней медленно, как всякий человек обремененный тяжелым весом.

22.

Савинков был уверен в убийстве. Наружное наблюдение сулило удачу. Слежка выяснила маршрут. Экспансивность Покотилова уравновешивалась хладнокровием Сазонова. Нервность Каляева логикой воли Швейцера. Одетый в безукоризненный фрак Савинков, торопясь, ехал на маскарад. Лысеющую голову расчесал парикмахер на Невском. У Эйлерса куплена орхидея. Когда Савинков подымался озеркаленной, сияющей лестницей меж пестрого газона масок, кружев, блесок, домино, был похож на золотого юношу Петербурга, ничего не смыслящего в жизни кроме танца. Был пшютоват, говорил с раздевавшим лакеем тоном фата. Трудно было заподозрить террориста.

В зале гремели вальсом трубачи. Зал блестящ, громаден. Танцовала тысяча народу. Найти среди масок Азефа представлялось невероятным. Савинков перерезал угол зала, красное домино рванулось к нему, взяло за локоть и тихо сказала:

— Я тебя знаю.

Это была полная женщина. Савинков засмеялся, освобождая локоть.

— Милая маска, ошибаешься. Ты меня не знаешь так же, как я тебя.

— Ну все равно, ты милый, пойдем танцевать.

— Скажи, где ты будешь, я подойду после, я занят.

— Чем ты занят?

Три белых клоуна завизжали, обсыпая Савинкова и маску ворохом конфетти, обвязывая серпантином. Савинков хохотал, отстраняясь. Маска опиралась о Савинкова, прижимаясь. Было ясно, чего хочет красное домино.

Из коридора Савинков увидал: — в черном костюме, только что причесанный парикмахером, по лестнице подымался Азеф. Он был слегка напудрен. Шел уверенно, солидно, как хороший коммерсант, не торопящийся с развлечениями маскарада.

— Знаешь, маска, не сердись, иди в зал...

— Нет, ты обманешь.

— Слушай, говорю прямо: иди, ты надоела.

— Негодяй — прошипела маска, ударяя по руке веером и пошла прочь.

Савинков видел, Азеф поздоровался с стоящим в двери молодым человеком, в элегантном светлом костюме. Человек был лет двадцатипяти, крепок, невысок, напоминал англичанина.

Савинков знал, Азеф его заметил. Не упуская Азефа и молодого человека, тронулся. В буфете, догнав, положил руку на плечо Азефа.

— Ааа — обернулся Иван Николаевич, дружески беря под руку Савинкова — познакомьтесь.

Савинков пожал руку молодому человеку. Тот сказал:

— «Леопольд».

Савинков догадался — Максимилиан Швейцер.

Буфет купеческого клуба звенел тарелками, вилками, несся хлоп открываемых бутылок. Маски, люди

без масок, заполнили столы. Напрасно Азеф с товарищами искал места. Но лакей провел их в зимний сад. Тут под пальмами они были почти что одни. Азеф был сосредоточен. Савинков перекинулся с Швейцером незначащими фразами. Швейцер показался похожим на автомат: уверенный и точный.

— Вы привезли динамит? — проговорил тихо Азеф, обращаясь к Швейцеру.

— Да.

— И приготовили снаряды?

— Да.

— Сколько у вас?

— Восемь. Могу сделать еще три — сказал Швейцер, затягиваясь папиросой.

— Так, так — подумав, сказал Азеф.

— А как у тебя наблюдение, Павел Иванович?

— Хорошо. Егор и Иосиф трижды видели карету.

Оба извозчика стоят у самого департамента.

— Это опасно, предупреди, чтобы не делали этого.

— Я говорил. Они не замечают никакого наблюдения.

— Все таки предупреди. У самого дома стоять не к чему. Это не нужно. А как «поэт»? И как ты предполагаешь, у тебя есть план?

— Да, наружного наблюдения совершенно достаточно. Оно выяснило, что по четвергам Плеве выезжает с Фонтанки к Неве и по Набережной едет к Зимнему. Возвращается той же дорогой. Раз это ясно. Раз снаряды готовы. Люди есть. Так чего же недостает? Плеве будет убит, это арифметика.

Азеф посмотрел на него, сказал.

— Не только не арифметика, но даже не интегральное исчисление. Так планы не обсуждают. Если б все так гладко проходило, мы б перебили давно всех министров.

Швейцер молчал, не смотря ни на одного из них.

— Никакого интеграла тут чет — вспльчиво проговорил Савинков — план прост, а простота плана всегда есть плюс.

— Ну, говори без философии, — улыбаясь перебил Азеф — как ты думаешь провести?

— Лучше всего так. Покотиллов хочет во что бы то ни стало быть метальщиком. Так пусть...

— Что значит во что бы то ни стало? — перебил Азеф.

— Он говорит, что его опередил Карпогич, Балмашов, Качура, что он не может ждать.

— Какая чушь! Мне наплевать может он или не может ждать. Я начальник БО и кого назначу, тот будет метать. Из-за истерики Покотилова я не рискую делом.

— Дело тут не в истерике. Покотиллов хороший революционер, я в нем уверен. Он сделает дело. И я не вижу оснований, почему ему не итти первым?

— Ну? — перебил Азеф.

— Покотиллов с двумя бомбами сделает первое нападение прямо на Фонтанке у дома Штиглица. Боришанский с двумя бомбами займет место ближе к Неве. Если Покотиллов не сможет метать или метнет неудачно, то карету добьет Абрам. Сазонов извозчиком тоже возьмет бомбу и станет у департамента полиции. Если ему будет удобно метать бомбу при выезде Плева, он будет метать.

Азеф чертил карандашом по бумажной салфетке, казалось, даже не слушая.

— Ну а если Плева поедет по Пантелеймоновской и по Литейному, тогда что? — презрительно смотрел на Савинкова.

— Тогда на Цепном мосту будет стоять Каляев. Если Плева поедет по Литейному, Каляев даст знак, Покотиллов с Боришанским успеют прейти.

— Ерунда — сказал Азеф — этот план никуда не годится. Это не план, а дерьмо. С таким планом нищих старух убивать, а не министра. Дело надо отложить. Тобой сделано мало, а с недостаточностью сведений нельзя соваться. Это значит только губить зря людей и все дело. Я на это не соглашусь.

— Человек! — махнул Азеф лакею — бутылку сельтерской!

Савинков был взбешен. Сердило, что незаслуженные упреки говорятся при новом товарище. Он выждал пока лакей откупоривал задымившуюся бутылку и наливал Азефу в стакан. Когда лакей отошел, Савинков заговорил возбужденно.

— Если ты недоволен моими действиями, веди сам. С моим планом согласны Сазонов, Покотилов, Мацевский, «поэт», Абрам, я не знаю мнения товарища «Леопольда» — обратился он в сторону спокойно сидящего Швейцера — все же другие товарищи уверены, что при этом плане 99% за то, что мы убьем Плеве.

— А я этого не вижу — сказал Азеф, отпивая сельтерскую.

— Тогда поговори сам с товарищами, может они тебя убедят.

— Надо бить наверняка. А не наверняка бить, так лучше вовсе не бить. — Азеф откинулся на спинку стула, смотря на взволнованного Павла Ивановича.

— Как знаешь, я свое мнение высказал. Я его поддерживаю — сказал Савинков. — Дай тогда свой план.

Азеф молчал.

— Как вы думаете, товарищ «Леопольд»? — обратился он к Швейцеру.

Швейцер взглянул на Азефа спокойно и уверенно.

— Моя задача в этом деле чисто техническая. Я ее выполнил. Восемь снарядов готовы. Что касается плана Павла Ивановича, то думаю, при некоторой детализации он вполне годен. — Сказав он замолчал, не глядя на собеседников.

— А я думаю, что это плохой план — упрямо повторил Азеф — и на этот план я не дам своего согласия.

В это время в дверях зимнего сада появилось красное домино под руку с средневековым ландскнехтом. Савинкову показалось, маска указала на него кавале-

ру. Азеф увидел ее косым глазом и легши на стол тихо проговорил:

— Что это за красное домино, Павел Иванович? Она была с тобой?

Лицо Азефа побледнело. Не меняя позы сидел Швейцер. Домино шло, смеясь с пестрым ландскнехтом.

— Чорт ее знает, пристала просто.

— Это может быть совсем не просто — бормотал Азеф — до какого чорта ты неосторожен. Надо платить и расходиться.

— Да говорю тебе, просто пристала.

— А ты почему знаешь, кто она под маской? — зло сказал Азеф. И откинувшись на спинку стула, как бы спокойно крикнул:

— Человек! Счет!

Все трое, вставая, зашумели стульями. И разошлись в разные стороны в большом танцевальном зале. Первым из клуба вышел Азеф. Он взял извозчика. И только, когда на пустынной улице увидал, что едет один, слез, расплатился и до следующего переулка пошел пешком.

«Убьют» — говорил находу. «Теперь не удержишь». Но вдруг Азеф улыбнулся, остановившись. «Если отдать всех? Тысяч двести!» — пробормотал, и пот выступил под шляпой. «Полтора ста наверняка». В мыслях произошел перебой. Когда пахло деньгой, чувствовал всегда захватывающее волнение. «Надо увидаться с Ратаевым, завтра же» — сказал Азеф и свернул в переулок.

23.

Л.А. Ратаев приехал в Петербург одновременно с Азефом. Конъюнктура в департаменте волновала. Карьере грозили удары. Департамент в новом составе, словно игнорировал работу по борьбе с революционерами, оказываемую инженером Азефом. Ратаев понимал, это интриги полковника Кременецкого. Их

надо вывести на чистую воду. Вот почему Ратаев нервно ходил по конспиративно-полицейской квартире на Пантелеймоновской, поджидая Азефа.

Ровно в четыре, после обеда, Азеф вышел из гостиницы «Россия». Ратаев сам ему отпер дверь. Но таким мрачным, как свинцовая туча, Ратаев никогда не видал сотрудника. Азеф, войдя, не сказал ни слова.

— Что вы, Евгений Филиппович? Что случилось?

— Случилось самое скверное, что может случиться — пробормотал Азеф, проходя в комнату, как человек хорошо знающий расположение квартиры. Ратаев шел за ним.

Азеф стоял перед ним во весь рост. Лицо искажено злобой, толстые губы прыгали, как два мяча, белки были красны, беззрачковые глаза налиты ненавистью, он махал руками, крича:

— Леонид Александрович! Если дело так будет идти, я работать не буду! Так и знайте! Меня ежеминутно подставляют под виселицу, под пулю, под чорт знает что!

— Да в чем же дело? Что же случилось?

— Вот что случилось! — Азеф кинул письмо. Оно начиналось «Дорогой Иван». Ратаев взглянул на подпись «цалую тебя, твой Михаил».

— Гоц? — спросил он.

Азеф не ответил, он сидел взволнованный, желто-белый, похожий на гигантское животное, готовое прыгнуть.

Покуда Ратаев читал, изумление росло. Азеф повернулся.

— Ну что вы скажете? Видите, действия департамента уж начали выдавать меня. Этот Рубакин прямо пишет Гоцу, что я провокатор! — Азеф в злобе поперхнулся слюной, закашлялся. — Это чорт знает что! А арест Клитчоглу вы думаете пройдет даром? Вы думаете, революционеры дурее дураков из департамента? — кричал Азеф. — Нет, простите, у них не пропадают документы, как пропадают в департа-

менте, что вы скажете об этом? Ведь у вас сидит их человек, теперь это ясно, вас мало беспокоит, что я буду за гроши висеть на вешалке или валяться собакой!

Азеф ходил вокруг Ратаева, лицо наливалось докрасна, он был страшен. Ратаев молчал, крутя, тебя ус.

— Вы полагаете, Евгений Филиппович, Гоц может поверить? Ведь он же пишет, что все это вздор, чтоб вы не волновались. Мне кажется, вам надо только...

— Вы оставьте, что мне надо! Вы говорите, что вам надо, чтоб избежать таких промахов, разве, скажите пожалуйста, в Москве у Зубатова это было возможно? Ведь здесь такой хаос, что черт ногу сломит. Один отдает приказ не арестовывать, другой хватает, разве так можно вести дело? Да еще за гроши, я эти гроши мирной работой заработаю — Азеф на ходу бросил: — Не для этого я сюда шел.

Ратаев встал.

— Пойдите, Евгений Филиппович, я схожу поставлю кофейку, выпьем, потолкуем спокойней, а то вы действительно на меня страху нагнали. Не так черт страшен.

Азеф не сказал ни слова. Оставшись, ходил из угла в угол. Подошел к окну. Окно завешено плотной занавесью. Встав за ней Азеф глядел на пустую улицу. Ехали ваньки, шли усталой походкой люди. Азеф стоял, смотрел в пустоту улицы и решал убить Плеве. За то, что так дальше нельзя работать. За то, что Рачковский намекает провалить. За кишиневский погром.

В коридоре раздались шаги. Азеф был уже спокоен. Но при входе Ратаева принял прежнее, насупленное выражение.

Ратаев вышел с подносом. Изящной фигурой напоминал о кавалерии. С чашками, кофейником, сухарями был даже уютен. И странно предположить, что пожилой, легкий кавалерист, с подносом, ведет борьбу с террористами.

— Выпьем-ка кофейку, парижский еще, да вот толкуем, как всяческого зла избежать. Я тут же обо всем напишу Лопухину. Милости прошу — передавал Ратаев Азефу чашку стиля рококо с венчиком роз по краям.

Азеф молча клал сахар, молча отхлебывал. Все было решено. Он поставил точку, точка стала спокойствием.

— Бидите ли, Евгений Филиппович — говорил Ратаев, он любил самое дорогое, ароматное кофе — вы так распались из за этого письма вашего Мовши — улыбнулся Ратаев — что я даже не возражал, а ведь, дружок, наговорили кой-чего оскорбительного. Да как же? Ну, друзья положим старые, во многом соглашусь даже, что правы. Конечно у Зубатова никогда такого столпотворения не было. С вами, например, ряд ошибок, грустнейших. Про арест Клитчоглу уж я выяснил, штучка полковника Кременецкого. У него есть такой наблюдательный агент, который врет ему как сивый мерин и они с ним, якобы, не утерпели. Все конечно в пику мне делается, как вы знаете. И с пропажей документов, все это есть. Но донос Рубакина совсем же не страшная вещь. Этого всего избежим и избежим навсегда. Обещаю, что переговорю лично с Лопухиным. И волноваться нечего, революционеры вам конечно верят и письмо Рубакина...

— Верить вечно нельзя — сказал гнусаво Азеф, поставив чашку.

— Это вы правы, но ведь нет же никаких оснований к недоверию, есть только слухи?

— Слухи могут подтвердиться фактами, Леонид Александрович. Я бы вас просил не только поговорить с Лопухиным, но устроить и мне свидание.

— С Лопухиным? На какой предмет?

— Во первых, хочу просить прибавки. За это жалованье я не могу работать. А потом у меня к нему будут сообщения важного характера.

— Но вы же можете сообщить это мне? — глаза Ратаева стали осторожны.

— Я хочу ему непосредственно сообщить, чтоб подкрепить мою просьбу.

— Ах так, ну дипломат, дипломат вы, Евгений Филиппович, ну что ж, я доложу, мое отношение к вам известно, доложу и думаю, он вас примет.

— И возможно скорей. А то я уеду.

— Хорошо — сказал Ратаев — кофейку еще прикажете?

Азеф подвинул чашку.

Наливая, Ратаев заговорил снова, чувствовал, что гроза прошла, можно было переходить безболезненно к делу.

— А вот что я хотел вас спросить, Евгений Филиппович, тут стали поступать тревожные слухи. Вы же знаете наверное, что из ссылки за границу бежал некий Егор Сазонов и будто бы с твердым намерением вернуться и убить министра Плеве.

— Ну? — недовольно сказал Азеф, как будто Ратаев говорил что-то чрезвычайно неинтересное.

— Вы его за границей не встречали? Не знаете о нем? И насколько все это верно?

— Не знаю, — покачав головой, отпивая кофе, сказал Азеф — как вы говорите, Егор?

— Да, да, Егор Сазонов.

— Такого не знаю. Изота Сазонова в Уфе встречал, а Егора нет.

— Так Изот его брат.

— Не знаю. Да откуда у вас эти сведения?

— Сведения конечно непроверенные, но как будто источник не плох, хоть и случайный.

— Ерунда — сказал Азеф — не слышал.

— Но как же, Евгений Филиппович, ведь настаивают даже, что здесь есть несколько террористов.

— Здесь есть.

— Ну?

— Так что ну? Вы сами знаете, что я приехал сюда два дня, не свят дух, чтоб насквозь все видеть.

— Но вы же сами говорите, что есть?

— Говорю, что есть какие-то, но не узнал еще кто, это кажется даже не заграничные, местные, из других городов. У меня будут с ними явки, тогда скажу.

— Да, да, это очень важно, очень важно — захоптал Ратаев — а не может ли быть это подготовлением центрального акта, спаси бог, как вы думаете?

— Не знаю пока. Но думаю, это бы я знал.

— Стало быть у вас сведений никаких решительно, кроме тех, что сообщили?

— Есть. Хаим Левит в Орле. Его надо взять. Он приступает к широкой деятельности. Взять можно с личным.

Ратаев вынул записную книжку, быстро занес.

— А Слетова взяли?

— Как писали, на границе.

— Тоже опасный. Держите крепче — прогнуса-вил Азеф.

— А скажите пожалуйста, Евгений Филиппович, правда, что Слетов брат жены Чернова?

— Правда — сказал Азеф и встал.

— Стало быть я прошу, Леонид Александрович, устройте мне свидание с Лопухиным, оно необходимо, а кроме того все выясните и переговорите, чтобы в корне пресечь безобразное ведение дел. Скажите прямо, что я не могу так работать, мне это грозит жизнью.

— Знаю, знаю, Евгений Филиппович, будьте покойны.

— Известите меня до востребованья.

— Будьте покойны. А Левит, простите, сейчас наверняка в Орле?

— Наверняка. Телеграфируйте. И возьмут. Он там еще месяц пробудет.

— Брать-то его рано, надо дать бутончику распусться.

— Это ваше дело. Ну прощайте — сказал Азеф — мне пора.

Ратаев видел, как через улицу шел Азеф. Улица была мокра от мелкой петербургской слякоти. Машинально Ратаев взглянул на часы: — в конспиративно-полицейской квартире они показывали четверть шестого.

24.

В пять на Гороховой стояли два извозчика, не на бирже. Один — возле дома № 13, другой у дома № 24. Первый был щегольской, с хорошей извозчичьей справой, с лакированным фартуком, лакированными крыльями пролетки. Другой — дрянной. Лошадь понурилась. И понуро сидел на козлах извозчик. Извозчики были заняты, отказывали седокам.

Четверть шестого на Гороховой появился элегантный господин в коричневом пальто, такой же в тон широкополой шляпе. Как все петербургские фланеры господин шел рассеянной походкой, помахивая тросточкой.

Поравнявшись с первым извозчиком, глянул на него. Но мало ли кто глядит на извозчиков. Может барин ехать хотел, а теперь раздумал. Молодой человек в коричневом пальто перешел улицу. Он уже прошел второго извозчика, но вдруг, сообразив, круто повернулся и махнул тростью. Разбирая возжи, синий кафтан завозился на козлах. Господин сел в пролетку и извозчик тронулся.

Проезжая шагом мимо первого извозчика, господин заметил в его взгляде извозчичью зависть: — взял вот, мол, седока, а я еще стою. Но извозчичьего взгляда никто на Гороховой улице не видел. К тому ж, он изменился. С противоположной стороны к извозчику шел толстый коммерсант в черном глухом пальто и котелке, с зонтиком в руках. Коммерсант шел медленно, был толст. Оглянувшись, уж перед извозчиком назад, коммерсант сел, толщиной нажав на рессоры. Извозчик тронулся.

Из блестящего центра извозчики ехали к окраинам, в квадратную петербургскую темноту с скверной желтью фонарей. Шли рабочие глухие кварталы, с запахами, дымами. Прыгали извозчицы пролетки по плоховымощенной мостовой. В пролетках прыгали два седока — элегантный господин и толстый коммерсант. У Невской заставы притухшим дымом дымились трубы фабрик. Извозчики ехали. Пошла уж неизвестная окраина Петербурга с какими-то грязными трактиришками. Мостовая стала, как уездная гать. Пролетки ехали медленно. Скоро, свернув с дороги на проселочник, скрылись в темноте.

В поле первый извозчик остановился. Савинков, слезая с пролетки, пробормотал: — Заехали к чорту на рога, Иосиф.

Мацевский по извозчицы спрыгнул с козел и пошел к лошади. В темноте он поправлял сбившуюся на сторону запряжку. Лошадь пофыркивала, обмазала кафтан, шедшей из под удил, пеной.

Вырисовывался силуэт второй пролетки. Лошадь остановилась. К первой, в темноте, медленно прошла полная фигура Азефа.

— А, не накроют? — сказал он, здороваясь с Савинковым.

— Какой чорт, тут хоть глаз выколи. У тебя револьвер есть?

— Есть. Мы чисто ехали? Ты уверен?

— Уверен.

— Сделаем так — сказал Азеф. — Сядем в первую пролетку и все обсудим, это во всех смыслах удобнее, если и погоня будет.

Шумя длиннополым кафтаном подошел от второй пролетки Сазонов. Здороваясь с Савинковым и Мацевским, проговорил певуче, смеясь.

— Темь-то какая, своих не узнаешь.

Мацевский сел на козлы, Азеф и Савинков в пролетку, Сазонов встал, поставив ногу на подножку.

— Ну, Иван Николаевич — заговорил Мацевский надо кончать, все ясно, в 12 каждый четверг выезжает. Я даже в стекло самого министра видал.

— Где видали?

— На Фонтанке, недалеко от департамента.

— А вы, Егор, видели?

— Один раз, совсем мельком, — сказал Сазонов.

— Это вздор, вздор — страстно говорил Мацевский — ошибки быть не может, выезд известен, часы известны, ошибиться каретой нельзя, за ней несутся сыщики на лихачах, велосипедах, у кареты белые, отмытые спицы, черный лаковый кузов, рысаки либо вороные, либо серые, кучер с окладистой бородой, рядом сыщик, переодетый лакеем, ошибки быть не может. Давайте я буду первым метать, я ручаюсь.

— Пойдите — сказал Азеф, — что вы думаете, Егор?

— Мне трудно говорить — сказал Сазонов — я видел только раз. Но если товарищ Иосиф так уверен, если например он станет сигнальщиком. Подтвердит карету, то я готов.

— Нет, так нельзя — раздраженно сказал Азеф — бить надо наверняка.

— Иван Николаевич — заговорил Савинков — я не понимаю, более точных сведений у нас никогда не будет. Товарищи видели карету три раза на расстоянии двух шагов. Стало быть Плеве мог быть уж три раза убит. Проводя наружное наблюдение дальше, мы только рискуем всем делом. Я предлагаю немедленно утвердить план и в следующий же четверг произвести покушение.

Азеф ничего не ответил. Мацевский сказал:

— Совершенно верно, времени терять нечего.

Наступило молчанье.

«Убьют» — думал Азеф.

— Хорошо — сказал он — но мне не верится, чтоб план прошел в точности, ведь маршрута не знаете, ставить акт у самого департамента, как ты хо-

чешь Павел Иванович, все равно что мыши лезть к кошке в рот. Я не могу дать на это свое согласие.

— А я вам говорю, Иван Николаевич, дальше вести такое наблюдение невозможно, мы влетим в лапы полиции. Нужно скорей кончать. Сорвется, не мы одни в БО, пойдут другие. А сидеть, ждать лучших условий — невозможно.

— Верно, — сказал Сазонов, — надо убить. Давайте говорить о плане.

Азеф молчал. Фыркнула громко лошадь второй пролетки, обдавая слюной. В поле было необыкновенно темно и тихо.

— Ну что ж, Иван Николаевич, согласен? — спросил Савинков.

— Если вы так хотите, хорошо, попробуем счастья, — медленно проговорил Азеф

Мацеевский вздохнул, повернулся на козлах.

— Что ж ты предлагаешь свой план, Павел Иванович?

— Да, в общем, план этот, товарищи его знают.

— Он мало детализован, — сказал Азеф, — до будущего четверга есть еще время, приходи завтра в «Аквариум» половина десятого, мы детализуем план. А ты сообщишь товарищам.

Недалеко в поле раздался крик. Кричал мужской, хриплый голос «Стой! Стой!» и полетел шум, стук столкнувшихся телег.

— Что такое? — прошипел вскакивая с пролетки Азеф.

Сазонов бросился на шум в темноту. Все замолчали. В темноте Сазонова не было видно. Крик сменился бранью. Брань неслась по полю в несколько голосов. Было ясно, столкнулись в темноте мужичьи телеги.

Сазонов вернулся.

— Стало быть завтра полдесятого в «Аквариуме»? — говорил Савинков.

— Они по этой дороге едут? — спросил Азеф.

— По этой, но еще далеко.

— Все равно. Надо ехать. Все детали получите от Павла Ивановича.

Пожав руку Мацевскому и Савинкову, толстое черное пальто и котелок скрылись у второй пролетки. Лошади с трудом проворачивали экипажи в пашне. Вытащив на укатанный проселочник, быстро тронули в темноте. Было слышно веселое пофыркивание и мягкий цок восьми копыт, ударяющихся в притоптанную землю.

25.

— Как вы, Иосиф, думаете, будет убит Плевэ?

— Уверен, — ответил Мацевский, сдерживая наезжавшую на первую пролетку лошадь.

— Я тоже.

Они выезжали на большой, тряский, плоховымышленный тракт. Вторая пролетка поехала шагом, первая тронула рысью и скрылась в темноте.

Сидя в полоборота, Мацевский разговаривал с Савинковым.

— Знаете что, провезите меня по Среднему.

— Хорошо. Что там у вас?

— Жена и дети, — голосом улыбнулся Савинков.

— Правда? И вы их не видите?

— Вот уж полтора года. Без меня мальчишка родился.

— Мацевский, покачав головой, пробормотал длинное «иэх».

— Какой номер?

— 28.

Когда ехали Средним, он был пустынен, желт от пятен огней. Проплыла фигура городского рядом с странным очертанием ночного сторожа. Мацевский пустил лошадь шагом. Пролетка проезжала дом № 28.

— Темно, — сказал Савинков.

— Какой этаж?

- Третий. Крайнее окно. Темно, — он вынул часы. — Скоро два, — сказал.
— Куда же вас?
— Отвезите на Невский.

26.

Нина стояла в темноте у кровати ребенка. Одной рукой держала сонное, пахнущее теплотой и детскими запахами тельце, другой меняла обмоченную простынку, что то тихо шепча в полусонье попискивающему мальчику. Но это были не слова, а какая то таинственность между матерью и сыном.

27.

Барин в пенсне, с безразличным лицом и завитыми усами, без четверти девять кончал пить кофе. Несколько раз взглядывал на стенные часы. Кофе был допит. У подъезда — экипаж. В девять директор департамента Лопухин проходит в кабинет на Фонтанке. Без пяти девять. А человека, свиданье с которым условлено, нет.

Рядом с чашкой лежало письмо. Оно было прочтено. Но все ж, дожидаясь, Лопухин перечитывал:— «Дорогой Алексей Александрович! Простите, что опять беспокою вас, но обстоятельства крайне важные вызывают меня к этому. Еще осенью от известного вам секретного сотрудника были получены мною вполне определенные указания, что приблизительно в январе предполагается совершить покушение на жизнь статс-секретаря Плеве, при чем были указаны и лица наиболее близко стоящие к террористической деятельности. Таковыми являлись Серафима Клитчоглу, Мария Селюк и Степан Слетов. Серафима Клитчоглу была обнаружена, проживающей нелегально в Петербурге, и за ней велось секретное наблюдение. Испро-

сив вашего разрешения, я предложил сотруднику отправиться к Серафиме Клитчоглу и вступить с ней в сношения. Секретный сотрудник посетил ее, при чем Серафима Клитчоглу рассказала следующее:

«Боевая организация существует и в ее составе насчитывается 6 человек исполнителей, выразивших готовность пожертвовать собой. Для покушения на министра предполагается применить динамит, коего в распоряжении организации имеется до двух с половиною пудов. Никого из исполнителей пока еще в Петербурге нет, она же находится здесь в качестве маяка, т. е. к ней должны все являться. Руководителя обещали прислать из-за границы и, кажется, что он уже приехал в Россию, но в Петербурге его еще нет. При этом Клитчоглу рассказала сотруднику подробно, как выслеживают министра и как предполагают подкараулить его при выходе от одной дамы, проживающей на Сергиевской».

Обо всем изложенном я своевременно доложил письменно (доклады за №№ 26 и 32—904) и словесно вам. Но, к сожалению, наблюдать за Клитчоглу было поручено наблюдательному агенту начальника охранного отделения полковника Кременецкого. Этот агент, имеющий склонность сообщать преувеличенные и не всегда точные сведения, был помещен на жительство в те же меблированные комнаты, где жила Клитчоглу. 28 января Клитчоглу посетил Мендель Витенберг. Агенту «показалось», что он принес с собой бомбы. И ввиду, якобы, этого полк. Кременецким было отдано приказание о ликвидации, которая и была произведена в ночь на 29 января, но осязательных результатов не дала, да и дать не могла потому, что из вышеприведенных слов Клитчоглу ясно было, что план только что разрабатывался и что исполнители еще в Петербург не приехали.

За отсутствием улик, Клитчоглу теперь находится на свободе. Секретному же сотруднику, через которого получают столь важные сведения, благодаря неразумной и невызываемой делом поспешности пол-

ковника Кременецкого, грозит провал, в доказательство чего прилагаю при сем копию письма к нему известного члена центрального комитета партии соц.-рев. Михаила Гоца.

Сообщая о вышеизложенном убедительно прошу вас, Алексей Александрович, пресечь невыгодные общему делу интриги отдельных чинов департамента полиции и охранного отделения, подводящих заслуживающий всяческого внимания источник под неминуемый провал.

Искренно преданный вам Л. Ратаев.»

Лопухин органически не переносил расхлябанности. Он точно сказал Ратаеву, чтобы Азеф был без четверти девять. Говорить с провокатором, конечно, отвратительно, недовольно морщась, думал Лопухин. «Еще чего доброго с рукой полезет? Нинет, голубчик, ты необходим, но на почтительной дистанции».

В девять, Азеф, грузно и тяжело шел в кабинет за Лопухиным. Было видно, он взволнован. Лопухин принял это за выражение смущенья.

— Садитесь пожалуйста, — сказал Лопухин, укаывая на кресло против письменного стола. Азеф сел. Свет окон осветил его. Лопухин остался в полутени.

«Как отвратителен», — думал, глядя на Азефа. Азеф был бледен утренней бледностью. Лицо смято, поэтому губы казались особенно красными и мясистыми.

— Вы инженер Евно Азеф?

— Да, — сказал Азеф, и поморщился, ему было неприятно название фамилии и тот легчайший оттенок антисемитизма, который показался в слове «Евно».

— Леонид Александрович мне передал, что вы имеете важные сведения, которые хотели сообщить непосредственно мне?

— Да, — сказал Азеф. Во все время он не смотрел на Лопухина. Только сейчас скользнул. «Едва ли выйдет», — подумал Азеф. И положив руки на ручки кресла, сказал:

— Алексей Александрович, кажется так?

— Так, — сухо, несколько брезгливо ответил Лопухин.

— Прежде всего я хотел вам сказать, вы должны, — Азеф замялся, — должны обратить серьезное внимание на революционные организации в Орле. Сейчас там ведет чрезвычайно опасную работу террорист Хаим Левит.

Лопухин сидел, как изваяние, молча. Только глаза скользили по Азефу. Оттого, что глаза были пронизательны, Азеф, взглядывая в них, потуплял беззрачные масляные в стол, в стул, в кресло, в сторону.

— Хаим Левит занят организацией массового террора в форме вооруженных демонстраций. Кроме того занят подготовкой террористического акта первоочередной важности.

— Откуда у вас эти сведения? — сказал Лопухин, не выражая к рассказу, как показалось Азефу, ни интереса, ни доверия.

— Я сам был в Орле, я объехал несколько городов, — сказал Азеф.

— Так. Мы проверим. И примем меры. Есть у вас еще чтонибудь ко мне? — Лопухин взглянул на часы.

— Есть.

— Пожалуйста.

— Готовится покушение на вашу жизнь — проговорил Азеф, глядя в лицо Лопухину. И несмотря на всю сдержанность директора, заметил, по лицу пробежала тень. Лицо дрогнуло. Директор не ответил и не менял позы.

— Известно доподлинно, — гнусаво рокотал Азеф, за вами установлена слежка, террористы выслеживают вас.

— Каков же план? — перебил Лопухин и вдруг его тонкие, искривленные губы выразили нечто вроде улыбки. «Поймал, взял», — думал Азеф, голос его стал тише.

— Террористы следят за вашими выездами с Сергиевской через Пантелеймоновскую на Фонтанку, думают произвести покушение у самого департамента.

— У самого департамента!!? — проговорил, улыбаясь, Лопухин, — да ведь это ж глупее глупого!

Азеф пожал плечами.

— Тем не менее это так. Наверное будут стараться произвести покушение там, где представится более удобным при проезде с квартиры в департамент.

Лопухин был бледен, но улыбался.

Азеф был уверен, Лопухин взят.

Лопухин посмотрел на часы: — было четверть десятого.

— Мне пора в департамент, — улыбнулся он. — Больше у вас ничего нет, я вам не нужен?

— Есть у меня к вам личная просьба, Алексей Александрович, — проговорил Азеф. Лопухин уже стоял. Встал и Азеф.

— В чем дело?

— Я просил бы вас прибавить мне жалованье, — Азеф поймал насмешливый взгляд директора и сжался под ним. — Я полагаю, что сведения, даваемые мной, заслуживают...

«Ага, вот где план на мою жизнь». — улыбаясь, думал Лопухин. — «Этот негодяй лжет, желая получить за это деньги, шантаж».

— Хорошо, я подумаю об этом. Но полагаю, что это не стоит в связи с покушением на мою жизнь? — презрительно рассмеялся Лопухин.

— Думаю, что за мою работу я заслужил больше доверия.

— Нет, нет, я шучу, я подумаю, и думаю, — задержался Лопухин, — что я вам прибавлю, ибо сведения конечно интересные, а пока... Прощайте, благодарю вас, — и сам не зная как, Лопухин протянул холеную руку в плавник Азефа.

Застоявшаяся лошадь ждала бегу. Перебирала забинтованными ногами. Когда в дорогом пальто и цилиндре вышел Лопухин, она рванулась, не дала ему

сесть. Лопухин впрыгнул на ходу. Кучер, ударив обеими возжами, передернул и бросил с места хорошим ходом.

Сергиевской, Литейным, Пантелеймоновской летели они. Лошадь вымахнула на Фонтанку. «Как просто, бомба и кончено». Лопухин рассеянно смотрел на проходящих людей. «Убили же Сипягина». Он почувствовал, что пробежала нервная дрожь и захотелось зевнуть. «Чорт знает, какая ерунда», — пробормотал он, вылезая из экипажа и входя в подъезд департамента полиции, не обратив внимания на поклон галунного, ливрейного швейцара.

28.

Азеф шел медленно в сторону Воскресенского проспекта. «Если не дураки, схватят», — лениво думал он, — «дураки, от кареты не останется щеп». Остановившись, он закурил. Папироса не раскуривалась. Когда раскурил, Азеф, тяжело ступая, пошел, напевая любимый мотив: «Два создания небес шли по улицам Мадрида».

С очереди взял извозчика, сказав: «Страховое общество «Россия». И поехал внести страховую премию, за застрахованную в обществе «Россия» жизнь.

29.

В «Аквариуме» за бутылками и кушаньями качались веселящиеся люди. Куплеты закидывающей ноги певицы летели в зал. Певица в зеленоватоблестком платье была похожа на сильфиду.

— Я голоден, как чорт, давай ужинать, — пробормотал Азеф.

С аппетитом жуя бифштекс в просырь, посматривал на рябчика в сметане, которого дробил ножом и вилок Савинков. Вместо сильфиды на сцену выкатился

мужчина в костюме циркача с порнографическими усами, делаая невероятные телодвижения, заплясал под ударивший оркестр:

«Матчиш прелестный танец
Живой и жгучий
Привез его испанец
Брюнет могучий».

— Я сегодня был на Фонтанке, обдумывал план, — рокотал в звоне зала Азеф, — «поэт» должен обязательно стоять на Цепном мосту. Плеве может поехать Литейным. Это надо учесть.

Мужчина сильнее вихляя задом:

«В Париже был недавно
Кутил там славно».

— Только знаешь, я твоему Алексею не верю. Ты думаешь, он хорош для метальщика? Ведь тут нужен железный товарищ. А Алексей нервная баба.

— Пройдет.

— Что значит пройдет? И ставить дело прямо у департамента все таки итти на отчаянность. У департамента шпиков, филеров кишмя кишит. Или ты думаешь, они такие дураки, что даже к департаменту подпустят?

— Дело тут не в дураках. До сих пор ни один из товарищей не замечал слежки. Все ходили чисто. До четверга три дня. Так почему ж за три дня все изменится, когда не менялось за три недели?

— Измениться может в одну минуту.

— Если будет провокация?

— Хотя бы. А ты что думаешь, этого в нашем деле не надо учитывать? Разве ты знаешь насквозь всех товарищей? Мне, например, некоторые могут быть подозрительны, — нехотя проговорил Азеф.

— Ерунда! Лучших товарищей нет в партии.

— Ну как знаешь, — бормотал Азеф, — я сказал, попробуем счастья. Но еслиб не желанье товарищей я б все таки не приступил к выполнению. Можно ставить по другому.

— То есть?

На сцену вплыли мужчина во фраке, женщина в полуголом оранжевом платье. Музыка заиграла томительно. Они затанцовали танго.

— Ну хотя бы так, — вяло рокотал Азеф, — у Плеве есть любовницы. Одна, графиня Кочубей, живет на Сергиевской с своей горничной. Очень просто. Можно выследить, когда он ездит.

— Там?

Азеф растянул губы и скулы в улыбку.

— Нехитрый ты, Павел Иванович, слабó на счет организационных способностей. Все прямо в лоб. Надо кому-нибудь из товарищей познакомиться с горничной, подделаться, вступить в самые настоящие сношения, прельстить можно деньгами. Когда Плеве будет в спальне, товарищ у горничной, он отопрет двери и все.

— Ты понимаешь, что говоришь? Ведь это же будет узнано, печать вылет на нас такие помои, что ввек не отмоешься.

— Чушь, не все равно где убить?

— Не все равно.

— А я вот, если не удастся твой план, обязательно отправлю тебя на мой план. Ты эlegantный, должен нравиться горничным. — Азеф высоко и гнусаво захохотал.

— Брось шутки, Иван Николаевич, — недовольно проговорил Савинков. — Через три дня может быть все погибнем, а ты разводишь такую пошлость.

Выраженье лица Азефа сменилось. Он смотрел ласково.

— Я ж не всерьез.

Савинков смотрел на сцену. Танец был красив. Танцовщики стройны. Тела как резиновые, до того гнулись, выпрямлялись и снова шли танцем.

— Тебе надо денег, — пророкотал Азеф. — Я уезжаю завтра.

— Уезжаешь?

— Не могу. По общепартийным делам. После акта пусть товарищи разъезжаются.

— Кроме тех, кто будет на том свете, конечно?

Не слушая, Азеф отдавал приказания:

— Часть пусть едет в Киев, часть в Вильно. А ты приезжай в Двинск, мы в субботу встретимся на вокзале в зале I-го класса. В случае неудачи все должны оставаться на местах. — Он передал Савинкову, толстую, радужнорозовую пачку.

30.

В паршивой гостинице «Австралия» Каляев не спал, писал стихи.

«Да, судьба неумолима
Да, ей хочется, чтоб сами
Путь мы вымостили к счастью
Благородными сердцами.»

Номер был вонючий. Коптила керосиновая лампа. За перегородкой слышались возня, взвизги. Каляев был бледен, на бледности мерцали страдающие глаза. Пиша, склонялся низко к столу:

«Миг один и жизнь уходит
Точно скорбный, скучный сон
Тает, тенью дальней бродит,
Как вечерний тихий звон.»

Дверь его номера стремительно растворилась. Через порог ввалился пожилой, бородатый человек с совершенно расстегнутыми штанами. Человек был пьян и икал.

— Ах черти дери, — крикнул он, — простите, коллега, не в свой номер,—и икая, заплетаясь ногами, повернулся и хлопнул дверью.

Каляев не отвечал, не заметил человека с расстегнутыми штанами. Ему было тепло и зябко от музыки стиха.

«Что мы можем дать народу
Кроме умных, скучных книг,
Чтоб помочь найти свободу?
— Только жизни нашей миг.»

По улице, звеня, прошла утренняя конка. Каляев кончил стихотворение. Встал и долго стоял у окна, смотря на рассветшую улицу.

31.

Когда вечер окутывал туманом великолепие императорских дворцов, мосты, сады и аркады, Алексей Покотиллов вышел из гостиницы «Бристоль» в волнении. В минуты волнения у него выступали на лбу кровавые капли от экземы. Он часто прикладывал платок ко лбу. И платок кровянился. Алексей Покотиллов был в волнении не от убийства, назначенного на завтра. Он получил из Полтавы полное любви письмо женщины. Пробужденное письмом чувство, вместе с напряженностью ожидания завтрашнего, создали невыразимое мученье. Но мучение настолько сладостное, что ничего так сладко режущего душу Покотиллов не переживал. Он знал, Дора из газет узнает обо всем. Это будет невыразимое счастье! Ведь Дора не только любимая женщина, Дора — революционер, товарищ, мечтавший о терроре. И вот Алексей начал, а за ним выйдет Дора.

Покотиллов шел в наклеенной русой бороде. Савинков ждал его на Миллионной.

— Ну как?

— Прекрасно, — улыбался Покотиллов.

Идя в сторону Адмиралтейства, Савинков заметил — Покотиллов движется неровно, то напирая рукавом, то откачиваясь. «Может прав Азеф?» — думал Савинков.

— Я получил сегодня письмо, — улыбаясь, заговорил Покотиллов, — от любимой женщины и вот теперь необычайное чувство, необычайное, — повторил он, — ах, Павел Иванович, если б она только знала, что будет завтра! О, как бы она была счастлива, как счастлива, мы решили вместе идти в террор.

— Она ваша жена?

Покотиллов повернулся.

— Что значит жена? Какой вы странный.

— Вы не поняли. Я не о церковном браке. Вы любите друг друга?

— Конечно, — тихо отозвался Покотиллов. — Ах, Павел, дорогой Павел, вы простите, что я вас так называю. Хотя, правда, к чему это «вы»? Мы должны говорить друг другу «ты», ведь мы братья, Павел.

— Да, мы братья.

— Павел, я совершенно уверен в завтрашнем. Больше того, я знаю, что именно я убью Плеве. Знаешь, без революции нет жизни. А ведь революция — это террор.

Глядя на бледное лицо, смявшуюся, русую бороду, возбужденные глаза, кровавой платок, Савинков думал: — «А вдруг не убьет, вдруг не сможет, и выдаст всю организацию».

— Павел, вы любили когда-нибудь? Я путаю «ты» и «вы», прости, все равно. Ты любил когда-нибудь?

— Я? Нет, не любил.

— Жаль. Ах, если б ты любил. Я уверен, что завтра вы все будете живы. Плеве мой, я убью его. А вы должны жить и вести дальше дело террора. Жаль только, что не увижу Ивана Николаевича. Знаешь, многие его не любят за грубость, говорят, что резок, не по товарищески обращается, но ведь, это та-

кие пустяки, я люблю Ивана, как брата, он наша душа, жаль что не увижу.

— Ничто неизвестно, Алексей. Может быть ты не увидишь, может я, может быть оба. Я Ивана тоже люблю. Он больше чем мы нужен революции.

— Как я жалею, что Дора не с нами, — протянул Покотилов, — она замечательный человек и революционер, я хочу, чтоб ты знал: — ее зовут Дора Бриллиант, она член нашей партии, давно хочет работать в терроре, но не могла добиться, чтоб ее взяли. Я ее больше не увижу, но это счастье, Павел! Ты понимаешь, что это счастье?

— Если ты говоришь, я тебе верю. Но это вероятно что-то очень метафизическое.

— Нет, не метафизическое, — строго сказал Покотилов. — Мы не можем иначе жить и мы отдаем себя нашей идее. В этом наша жизнь, разве ты не понимаешь этого?

Савинков улыбнулся: «Не болен ли Покотилов?»

32.

Эту ночь министр Плеве страдал бессонницей, вставал, шлепал синими туфлями с большими помпонами, зажигал свет. Принимал капли. Бурчал что-то про себя. Он ощущал тяжесть в желудке. Это мучило и не давало сна.

Но к рассвету Плеве заснул.

33.

Покотилов сидел полураздетый в номере, писал прощальное письмо Доре. Каляев до рассвета ходил улицами. Боришанский проснулся от собственного крика, снился страшный сон, но когда вскакивал, не помнил, что снилось.

В извозничьей квартире, на постоялом, спокойно спал Егор Сазонов. Спал Иосиф Мацеевский. Заставил бромом уснуть себя и Борис Савинков...

Не спал Максимилиан Швейцер. Не хватало трех снарядов. К десяти утра они должны были быть готовы. Швейцер с засученными рукавами быстро мешал у стола желатин, вполголоса напевая:

„In die Gassen
Zu den Massen“.

У стен лежали железные коробки, реторты, колбы, паяльные трубки. Швейцер размешивал, паял, резал. Он был силен, легок, с упрямой линией лба. Швейцер слегка волновался, как химик, назавтра готовящийся к гениальному открытию.

Переходил от большого стола к маленькому. Брови были сведены. Шагов по запертой комнате не слышалось. Он был в туфлях.

В шесть утра снаряды были готовы. Швейцер обтерся мокрым полотенцем и лег, поставив будильник на стул у кровати. В девять будильник приглушенно затрещал. Швейцер выбрился, умылся. На полу лежал чемодан, годный для взрыва полпетербурга. Увидав в окно подъезжающего извозчика, Швейцер надел пальто, взял чемодан и вышел.

С козел улыбнулся Сазонов. Взяв чемодан на колени, Швейцер сказал: «Поехали».

34.

После бессонницы, Плевел встал пасмурным. Ждал действия желудка, наконец съел яблоко и выпил сырой воды. Действие желудка несколько прояснило его, но все же настроение оставалось отвратительным.

Камердинер брил министра прекрасным клинком Роджерса. Принес вычищенное платье. Надевая виц-

мундир, ленты и звезду, Плевел посмотрел в зеркало и сказал строго:

— Карета готова?

35.

По 16-й линии Васильевского острова, в экипаже ехали Швейцер и Покотиллов. Покотиллов спокоен. Не говорил ни слова. У Тучкова моста увидели фигуру Боришанского. Покотиллов с двумя бомбами вылез. Боришанский сел в экипаж. У Боришанского глаз подергивался тиком. Возле облупленного дома купца первой гильдии Сыромятникова, извозчик - Сазонов, остановился. Швейцер и Боришанский сошли. Швейцер отдал Сазонову пакет со снарядами. Спрятав его под фартук, Сазонов поехал шагом.

В 11 все были на местах. Савинков с видом петербургского жуира прошел по Фонтанке. Диспозиция ясна. Все спокойны. Он шел к Каляеву на Цепной мост.

— Янек, веришь? — подойдя, проговорил Савинков.

— Мне не достало снаряда. Почему Боришанский, а не я?

— Он сказал бы, наверное, тоже самое. Будь спокоен, трех метальщиков достаточно.

Улыбнувшись, Савинков пошел к Летнему саду. Его охватывало щемящее чувство, как на номере облавы, когда начался уже гон и слышится, кустарником шелестит выходящий зверь. «Для этого стоит жить», — проговорил Савинков. В Летнем саду сел на скамью, вынул портсигар и закурил.

36.

— Да держи крепче, дурак, раскурвился! — кричал на глуповатого конюха министерский кучер Никифор Филиппов. Кучер вышел из каретника в

синем кафтане с подложенным задом, в ослепительно белых перчатках. Осмотрел карету, открыл дверцу, заглянул: — вычищена ли. Рысаков держали подузды конюха.

Поднявшись на козла с колеса, схватив возжи в крепкие руки, Филиппов осадил бросившихся вороных коней. Тихим, красивым ходом выехал за ворота, на Фонтанку. Рысаки кольцами гнули чернолебедные блестящие шеи.

Карета замерла в ожидании министра. Сзади становились экипажи сыщиков. Вышли велосипедисты. Все ждали появления пожилого человека в треуголке. Без четверти двенадцать Плевелу быстро прошел к распахнутым дверцам кареты. Велосипедисты сели на велосипеды. Рысаки тронули. Плевелу был сумрачен. Карета неслась маршрутом, мимо расставленных Савинковым метальщиков. Плевелу не знал, что у Рыбно-го ждёт Боришанский. У дома Штиглица Покотилов. Плевелу обдумывал, как начнет доклад императору по поводу «Сводки заслуживающих внимания сведений по департаменту полиции». Карета мчалась стремительно. Во всем великолепии перед ней вырос расстреллиевский Зимний дворец.

Ровно в двенадцать рысаки стали у дворцового подъезда. Зашедшая поцеловать императора, императрица, увидев карету в окно, сказала:

— Ники, у Плевелу немецкая кровь. Смотри, как он пунктуален.

Императрица вышла прямой походкой.

— Что значит немецкая кровь! а? как вы пунктуальны, Вячеслав Константинович! — смеялся царь. И взяв из рук министра «Свод заслуживающих внимания сведений по департаменту полиции», Николай II мутной голубизной пробежал обычное каллиграфическое начало: — «Долгом поставляю себе всеподданейше представить при сем вашему императорскому величеству...»

— Кто это писал? — проговорил император.

- Барон Иксуль, ваше величество.
— Прекрасный почерк, — сказал царь.

37.

Чтобы спасти боевую организацию, террористы выезжали из Петербурга разными направлениями. Слежка у здания департамента за Боришанским была явной. Если б он с бомбами не бежал проходным двором, боевая организация была бы разгромлена.

С динамитом в желтом чемодане Швейцер ехал в Либаву. Боришанский в Бердичев. Каляев в Киев. Покотилов в Двинск.

Савинков перед отъездом захотел увидеть Нину. Удрученный неудачей плана, он стоял у остановки конки. Шли люди, ехали экипажи. Все куда-то торопились. Савинкову казалось, что суетня людей глупа и никчemuшная. «Ну к чему бегут? Ну вот эта дама. С нее льет пот, озабочено лицо, а куда бежит? — за чулками или панталонами, и думает, что ни бог весть как все это нужно. Какая ерунда, какая ерунда», — прошептал Савинков. — «Неужели я убиваю Плеве для страны, состоящей из вот этих самых бегущих кругом неведомых миллионов, родственников мне не более зулусов и тунгусов?»

Конка подходила со звоном, потому что Савинков стоял на рельсах. Савинков выпрыгнул на ходу на Среднем. Было спокойно. Шла покрасневшая под тяжестью корзины торговка и худой студент в прозеленевшей шинели с лицом Раскольникова.

В воротах не было даже дворника. Савинков вошел в подъезд и почти побежал по той самой лестнице, по которой первый раз поднимался, приехав в Петербург. Та же выцветшая, в грязных сучках дверь, та же визитная карточка с оборванным углом. Он задохнулся и позвонил.

Ключ поворачивался туго. Савинков приложил палец к губам, чтобы не вскрикнула Нина. На пороге стояла незнакомая старуха в переднике.

— Вам кого? — проговорила она испуганно. Вслед за словами, из комнаты, где жил Борис с Ниной, раздался громкий плач.

— Нина Сергеевна дома?

— Их нет, — сердито сказала старуха, закрывая дверь.

— Пойдите, когда она придет?

Внизу лестницы раздались шаги многих ног. «Полиция». Савинков заговорил быстрее:

— Передайте Нине Сергеевне, что был господин Вологодский, очень хотел видеть. Завтра я уезжаю, может быть напишу.

Старуха плохо слушала молодого господина, потому что в комнате закатился ребенок.

Внизу слышались мужские голоса.

Савинков шел вниз. «Если арестуют, погибло все. Дурак», — твердил, пока не увидел поднимающихся лестницей телеграфных чиновников. Они видимо шли на именины, первый полноватый, угрястый, в фуражке с желтыми кантами говорил, что стол будет на двенадцать персон.

38.

Входя в квартиру Нина прошептала: — Ну что, няня, плакал?

— Знамо плакал, — тихим шепотом отвечала нянька, — когда болен. И прибавила: — к вам господин приходил, как фамилию-то назвал, Болоцкий. что ли.

39.

Густым вечером, киевским купеческим садом шли террористы. Аллея была глуха, далека. Проходящему

показалось бы, что гуляет приехавшая в Киев экскурсия учителей.

— Не понимаю, где Иван Николаевич? ждал его в Двинске — его нет. У меня самые скверные предположения — говорил Савинков. — До выяснения его судьбы мы не можем ничего принимать в деле Плеве. Предлагаю поставить на Клейгельса, здесь. Он ездит каждый день по Крещатику. Я и «поэт» знаем его в лицо. Ошибка невозможна. Мы убьем его и это будет нужное партии дело.

— Павел Иванович, партия нас на Клейгельса не уполномочивала. Партии нужен Плеве. И это надо выполнить во что бы то ни стало, — горячился Покотиллов. — Как хотите, товарищи, я решил завтра поехать в Петербург и поведу это дело один.

— Я поеду с тобой, — сказал Боришанский.

— А, по моему, Павел Иванович прав, — заговорил Каляев, — наличных сил для Плеве нет, надо выждать, а пока поставим на Клейгельса.

— Ваше мнение, «Леопольд»? — обратился к Швейцеру Савинков.

— Я согласен. С Плеве надо выждать, чтобы выяснилась судьба Ивана Николаевича. Пока что можно заняться Клейгельсом.

— Товарищи, я против этого. Я завтра же еду в Петербург, — проговорил Покотиллов.

— Я тоже.

Савинков чувствовал, что не в силах управлять этими волями. Обращаясь к Покотиллову сказал:

— Я не могу удерживать тебя и Абрама. Я только ставлю на вид: если Иван Николаевич не арестован, вы повредите делу.

40.

С паспортом на имя мещанина Альберта Неймайера Азеф возвращался из Парижа, удобно расположив толстое тело в кресле вагона. Поезд мчал к русской границе. Коммерсант Альберт Неймайер раску-

ривал оглушительную сигару, выкладывая: — «Снять квартиру, купить автомобиль, обставить без подозрений, выследить в автомобиле, с автомобиля убить, принцип правилен...»

За окном шел игольчатый дождь. Азеф опустил окно. Ворвавшийся с полей воздух был ароматен.

41.

Покотиллов подстриг бороду до небольшой испаньолки. Боришанский обрился. Они сидели на вокзале в Вильно поодаль друг от друга. Следя за Покотилловым, Боришанский увидал, что к Покотиллову идет человек со скуластым лицом Азефа. «Азеф? Неарестован! Но неужели так неконспиративен, неужели подойдет?»

— Вот неожиданно, как дела? — улыбаясь проговорил Азеф, протягивая Покотиллову руку. На лице Покотилова было счастье. Азефу стало ясно, думали об аресте.

— Пойдемте на платформу, до поезда еще далеко.

Покотиллов взял тяжеловатый чемодан с динамитом.

На платформе лицо и тон Азефа изменились. Он шел мрачный, злой. Лицо передергивалось.

— Что за чорт? — говорил отрывисто, — почему я встречаю вас здесь? Почему вы не в Петербурге?

— Я еду туда с Абрамом. Первое покушение не удалось.

— Почему? — остановился Азеф.

— Абрам заметил слежку, еле ушел от полиции.

— Где была слежка?

— У департамента.

— Я говорил, что это глупый план, — зарычал Азеф, — где ж остальные, где Павел Иванович?

— В Киеве.

— Как в Киеве? — заливаясь злобой пробормотал Азеф. — Стало быть слежка за Плевеле брошена? что? чорт знает что! — сжимал кулаки Азеф.

— Павел Иванович хочет ставить дело на Клейгельса.

— Что? — вскричал Азеф в совершенной ярости. — Бросить порученное ЦК дело и ставить никому ненужные дела?! Дайте сейчас же мне явку к нему.

Минута прошла в молчании.

— Мы думали, вы арестованы. Павел Иванович не нашел вас в Двинске.

— Мне надо было заметить следы, за мной следили, — и как бы желая отделаться от разговора Азеф спросил, — куда ж вы едете? вы вдвоем едете?

— Вдвоем.

— Что за вздор, должны выехать все и снова ставить дело.

— Если товарищи приедут — хорошо, но я уверен, мы вдвоем уьем Плева, а может быть я один.

— Какая чепуха, какое безобразие, все брошено, все начатое утеряно, чорт знает...

Они остановились в конце перрона.

— Ну я страшно рад, что вы живы и свободны, Иван Николаевич, — улыбался Покотилов, — мне уж время садиться, надо не потерять Абрама.

Азеф молча протянул руку.

— Кланяйтесь товарищам, — сказал Покотилов.

Азеф не ответил, оставшись стоять. Покотилов с чемоданом пошел от него по перрону.

— «Чорт знает, убьют дурака Клейгельса. Убить его раз плюнуть. Будет скандал». — Бормоча извозчичьи ругательства, Азеф пошел к выходу.

42.

«Он был очень мягок и очень чист», — думал Савинков, держа полученное письмо с описанием самоубийства брата Александра в Якутской ссылке. Савинков старался припомнить Александра. Было странно, что Александра нет на земле.

Савинков взял лист, исписанный почти женским мелким почерком. Это был его, Бориса, почерк. Зажег огонь, перечел свое вчерашнее стихотворение:

«Когда принесут мой гроб,
Пес домашний залает,
Жена поцелует в лоб,
А потом меня закопают.
Глухо стукнет земля,
Сомкнется желтая глина
И не станет того господина,
Который называл себя я».

«Застрелился» проговорил Савинков, представляя Александра. Савинков сидел в забытьи. «Почему я уступил Каляеву метать бомбу в Клейгельса? Он меня просил. И я согласился. Но разве я испугался? Нет, я метал бы. Но Каляев больше меня ищет этого...»

Стук в дверь вывел Савинкова из себя. «Кто б мог быть? Дверь заперта. Никто не должен приходить». Опустив руку на револьвер, Савинков открыл.

Азеф вошел быстро. Задохнувшись от злости и лестницы, он проговорил:

— Какое ты имеешь право самовольно менять решения ЦК? Ты опять бросил Петербург и все дело?

Савинков никогда не видал такой злости.

— Я вторично с товарищами был брошен тобой. Тебя не было в Двинске и опять не было сведений. Где ты был?

— Я уполномочен ЦК! Если меня не было в Двинске, это ничего еще не говорит за то, чтоб вы бежали, бросив дело!

— Я ниоткуда не убежал!

— Ты бежал и увел товарищей! Что ты тут затеваешь с Клейгельсом? Кому это нужно?

— Партии и революции.

— Никому не нужно! У нас постановление ЦК, мы должны провести его чего б ни стоило! Вы испугались мифической слезки за Абрамом! Да хоть бы и была слезка, это не может менять плана, вы не сме-ли уходить!

— В таком случае, — проговорил Савинков, — я вовсе отказываюсь работать, ибо упреки считаю незаслуженными.

— Это не так то легко, входить в террор и уходить, это не театр!

Лицо Савинкова искривила наглая гримаса.

— Уж не грозишь ли ты мне?

Азеф понял, что взял через край, надо потушить, будет разрыв с Павлом Ивановичем, который нужен.

— Бросим! — махнул он рукой, — мы оба взволнованы, надо говорить спокойней, а то еще перестреляемся, — и вдруг засмеялся рокочущим гнусавым смехом. Это было неожиданно, внезапно. Савинков не засмеялся. В комнате смеялся один Азеф.

— Кипяток ты, Павел Иванович. Я говорил, что план, который ты выдвинул, плох. Клейгельса надо бросить. А за Плеве возьмемся как следует. Пусть сегодня же едет в Питер «поэт». «Леопольд» готовится еще динамиту. Я возьму новых товарищей. Тебе тоже надо ехать. Перед этим съездишь в Харьков, я дам явки, там есть товарищи занятые изготовлением македонок. А здесь встретишься с одной женщиной, тоже возьмешь ее.

— Для чего она мне?

— Это партийная, Дора Бриллиант, хочет работать в терроре.

— Бриллиант?

— А что? Ты ее знаешь? — остановился Азеф.

— Не знаю. Но о ней говорил Покотиллов.

— Да, он ее рекомендовал. Другие тоже рекомендуют. Она производит хорошее впечатление.

— У тебя новый план?

— Ты с Дорой в Петербурге, — говорил Азеф, — снимешь, как англичанин Мак Кулох, квартиру в

хорошем районе. Дора будет твоя соержанка, ку- харкой будет Ивановская.

— НародоVOLка?

— Да. Ты найдешь ее в Петербурге, дам адрес ночлежного дома, она сейчас там. Сазонов будет ла- кеем. Кроме того «поэт» пойдет в разнос с папиро- сами. Двое будут извозчиками. Боришанский будет учиться на шоффера. Ты купишь автомобиль, он бу- дет шоффером. От такого плана Плева никуда не уй- дет. Теперь он будет убит, — улыбка Азефа была странна. — А с Клейгельса сними всех, сегодня же ликвидируй, понимаешь?

— Хорошо, — нехотя сказал Савинков. — Что бы- ло в Двинске? За тобой следили?

— Пришлось колесить по всей России. Но отвя- зался, ничего, — проговорил Азеф. — Приезжай в 11 в «Континенталь», — потолкуем.

Когда Азеф ехал на извозчике, он улыбался. Улыбку увидел переходивший улицу прохожий, подумав: — «Чему улыбается? Ведь эдакий урод, а ста- ло быть счастливым, раз улыбается».

43.

По Крещатику, бежа, кричали газетчики: — «Взрыв в Петербурге!» — «Взрыв в Северной гости- нице!» — Газетчики торопились отклеить от сырой стопы экстренный выпуск. Неслись дальше, крича: — «Взрыв в Петербурге!» — «Взрыв в Северной го- стинице!»

Савинков читал, замедляя шаг:

«В ночь на 31 марта в «Северной гостинице» в Пе- тербурге произошел взрыв, разрушивший угол зда- ния. Причины до сих пор не выяснены. Взрыв про- изошел в номере 17, занятым только что приехавшим и еще не прописавшимся человеком. Опознать уби- того невозможно, ибо взрывом тело разорвано на мелкие клочки. Цельной осталась только правая ру-

ка и кусок головы. Загадочность взрыва волнует Петербург. Департаментом полиции приняты самые энергичные меры расследования, потому что не устраняется возможность, что номер был занят членом террористической организации».

«Сильный снаряд», — думал Савинков, идя мимо памятника Богдану Хмельницкому. — «Должно быть дрожали руки, сломал трубку». Издали увидел толстую, качающуюся фигуру Азефа, на ходу размахивавшего газетой.

— Читал? — сказал Савинков.

Азеф тяжело дышал от взволнованности.

— С чем теперь поедем, — пробормотал он. — Покотил весь динамит взорвал, ясно. Осталось на один снаряд. Но с одним метальщиком нельзя выходить на Певе, — хрипел Азеф, — придется послать «Леопольда» в уезд, чтобы готовил по крайней мере снарядов восемь.

Азеф взял Савинкова под руку, чтоб удобней было говорить.

— Вот тебе адрес Доры, — передал он бумажку. — Завтра пойдешь и завтра же выедете в Петербург. Ищи квартиру хорошую, выбирай поблизости, на Литейном, на Миллионной. Обязательно купи автомобиль, это необходимо. С автомобиля произведем покушение, выбирай сильную машину. Это входит в план. Как снимешь квартиру, в ночлежном доме Ширинкина на Лиговке, найдешь Ивановскую, она живет под именем Федосьи Егоровны, человек верный. Сазонов придет по объявлению. Если слежки за квартирой не будет, извести меня, до востребования сюда, на главный почтамт инженеру Неймайеру. Я приеду прямо на квартиру и тогда поставим.

— Хорошо, — идя в ногу, сказал Савинков.

— Теперь, — высвободил руку из под руки Савинкова Азеф, — тебе нужны деньги и деньги большие, — улыбнулся он, — только постой, свернем вот сюда.

Свернув в переулок они пошли медленней. Азеф вынул толстый бумажник. — Вот тут, — бормотал он гнусаво, — десять тысяч, на первое время достаточно, за автомобиль можешь дать задаток и тут же известишь, тогда я переведу еще.

Савинков взял деньги. Бумажник оттопырил его пиджак. Он застегнул пальто наглухо.

— После смерти Покотилова департамент удесятирит охрану — проговорил он.

— Может быть. Ну так что?

— Ничего. Труднее будет убить.

— Убить всегда трудно. Это только Покотиллов думал, — вышел да убил. А почему ты говоришь это? Может ты сомневаешься в возможности?

— Я никогда не сомневался.

— Может после Покотилова то страшновато стало, а? — залился тонким смехом Азеф, — смотря сбоку закатившимся глазом на Савинкова, — ты ведь барин у нас, Павел Иванович, поди взрываться то страсть не хочется, а? ха-ха-ха!

Савинков сухо свел губы, глядел на Азефа углыми глазами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

1.

На вокзалах всех городов России гремели оркестры. Это была война с Японией. Но расчет главнокомандующего армией генерала Куропаткина оказался неверен. Куропаткин считал, что для русской победы на театр военных действий надо выставить на полтора солдата японских одного русского. Генерал Ванновский спорил, находя совершенно достаточным на двух японских одного русского. Оркестры гремели. Поражение шло за поражением.

На Дальний Восток грузились войска. С песнями шла пехота, кавалерия. С грохотом артиллерия. Го-

рода затопились крестными ходами, хоругвями, иконами. Генерал Драгомиров по России пустил шутку об иконах и шимозах.

Запершись в дворцовом кабинете, царь с пожелтевшим лицом ходил мелкими шажками. И чаще черная карета неслась Дворцовой набережной к Зимнему дворцу.

На царя успокоительно действовал Плеве. Министр был умнее, сильнее. Не было границ, которых побоялся бы перейти министр. Ощущая страшную силу на одной шестой части мира, Плеве был счастлив.

— Вячеслав Константинович, мы проиграли Тюренченский бой, Куропаткин доносит о страшных потерях. Мы не победим Японию, это позор Вячеслав Константинович!

— Ваше величество, ничто не создается сразу. Нужны подкрепления и вера. Неудачи временны. Для того, чтоб поднять дух войск было б хорошо, если б вы, ваше величество, предприняли личное благословение отправляемых частей, совершив поездку по стране.

— Ах, вы успокаиваете, Вячеслав Константинович. Витте говорит совершенно иное. Вы говорите о подкреплениях, а уверены вы, что не вспыхнет революция, если мы уведем войска? Макаки рассчитывают именно на это!

— Среди вашего народа, ваше величество, вы должны быть спокойны. Народ любит и чтит своего монарха. Революционеры же не смеют шелохнуться, они у меня в руках. Я расстреляю их при первой попытке.

— Вы говорили, что революционеры будут раздавлены через два месяца, а война будет победоносна, — нервно проговорил Николай II-й.

— Моя работа для трона известна, ваше величество, — твердо, но обидчиво сказал Плеве.

И разве он не прав? Разве не раздавлены революционеры? По сибирским дорогам гонят в каторги,

ссылки. Губернаторы порют. Тюрмы переполнены. Повешены известные, безвестные революционеры.

Смягчив недовольство, Николай II-й ласково кончает прием. Едет напутствовать, благословлять войска: в Москву, Полтаву, Коломну, Пензу, Сызрань, Одесу, Ровны, Сувалки, Бирзулу, Жмеринку. Императрица сопровождает императора, вместе раздавая образа любимого святого Серафима Саровского.

2.

В задушенной перчаткой Плеве стране тянулись руки к горлу министра. Руки были молоды и стары. Кроме Каляева, Сазонова, Покотилова, Швейцера в туманный Петербург, где в туманах носилась карета министра, приехала, бежав из Сибири, старуха Прасковья Семеновна Ивановская, чтобы стать кухаркой на конспиративной квартире и способствовать убийству того, кто заледенил, окровавил Россию.

В день поражения в Тюрненском бою, когда Плеве сидел в кабинете царя, из душного третьего класса на Балтийском вокзале, вместе с другими бедными пассажирами вылезла кухарка Федосья Егоровна. Сгорбившись под тяжестью мешка, пошла по платформе. Долго торговалась у вокзала с извозчиком. Наконец за семь гривен сговорилась ехать на Лиговку. С трудом втащив мешок, села. Пролетка затарахтела по дребезжащей мостовой.

3.

Вонюч был четвертый этаж облупленного дома Ширинкина на Обводном канале. Трудно полиции в угловой ночлежке найти бежавшую из Сибири революционерку. Да ее и вовсе не существует. В дом пришла снимать угол неграмотная кухарка, в паспорте ее стоят отметки служебных качеств.

С слышимися букляшками и монопольным запахом хозяйка ночлежки, задрезжала визгом, похожим на дребезг городского:

— Располагайся старая, 4 рубля в месяц беру, деньги никакие, только чтоб ни дристать, да ни пачкать! не во рву валяемся!

— А ты зря на людей не ори, не гарлопань, не таких как ты видала, эку грязь распустили, а ще кричишь, — рассудительно говорит Федосья Егоровна, ей тоже на шею не сядешь, она бывалая кухарка.

4.

Когда Ивановская оглядывалась на свою жизнь, видела борьбу и кандалы. Осужденная по процессу 17-ти, Прасковья Семеновна девятнадцать лет отбывала две каторги: — Акатуйскую и Карийскую. Выйдя на поселение в Забайкальи, вновь бежала в Россию.

Ничего она не знала. Знала, надо прописать паспорт и ждать вести от партии. От молодых, пришедших на смену народовольцам, которых еще не видала. Волновало: — каковы они? подымут ли старое знамя?

Поутру подоткнутая, в грязном, ситцевом платье в цветочек, лестницей, где прыгают кошки, летают уроненные поленья и воняет невыносимым нужником, Федосья Егоровна спускается на низ, в трактир Пряничкина. Там за семишник дают ночлежникам чайник кипятку и на плите можно обжарить картошку. Длинным, пятнастым хвостом засаживаются за столы трактира ночлежники.

Федосья Егоровна близко ни с кем не сходилась. Но живешь бок о бок, поневоле узнаешь жизнь и горе. Упавший на дно человек любит рассказать, почему упал и как падал.

С Анной и Аделью подружилась Федосья Егоровна. Анна как жердь, с плоской грудью, испытаным лицом. Адель проститутка-полька, глупая, полная де-

вушка, погибшая в Петербурге, где летала карета министра.

Все их судьбы знает Федосья Егоровна. Аннин муж, блондин Вахромеев, с высокими залысами лба и грустными глазами, пьяница, служит в охранке. Федосья Егоровна часто вступает в разговор. Охранник полюбил сердитую, правильную старуху.

— Человек я, Федосья Егоровна, последней деградации. Тридцать восемь лет, а лежу и встать не могу. Бывало посудите по каким верхам ходил, в кабинетах сановников, министров бывал, с лучшими людьми ел, пил.

— Да как же ты, батюшка, до этой беды дова-
лились?

— Люди погубили, Федосья Егоровна, растоптали, выбросили. Вот и влачу позорное существование. Четырнадцатилетним мальчишкой из деревни прибежал, мыкался, как бездомная собака, слонялся, грамоту сам изучил, до всего любознательностью дошел, до лучших людей поднялся. у министров, господ разных бывал, ценили, любили, баловали, а вот выбросили, растоптали. Как плевком свою жизнь считаю, каждый можно сказать семишник пропиваю и живу с позорной женщиной.

— А ты не ори, чем она позорней тебя?

— Правильно, Федосья Егоровна, не позорней, но что вообще есть женщина? Воздушный поцелуй через мгновенье увядающий.

Запахи селедки, вони, завивают ночлежку, ночь завладевает низким чердаком. Но не спит Федосья Егоровна. «Не забыли ли?» А задремлет, вздрагивает: плачет на нарах больная Адель, из комнаты, где спит хозяйка с «рыжим», раздаются визги, босые ноги бегут в коридор и сыплятся удары. — Уууу, кобель рыжий, чорт!

— Заволоводились, — проснулся пряничник, схожий лицом с Николаем-Чудотворцем.

Федосье Егоровне кажется, что корабль человеческих несчастий, ночлежка Ширинкина, в эту ночь не выплывет со своим грузом.

5.

В черном, шелковом платье с шумящим змеиным шлейфом в номере гостиницы «Франция» в кресле сидела Дора Бриллиант. Савинков уехал по объявлению «Нового времени» смотреть квартиру на Жуковской. Фигура Доры выражала тоску. Даже, пожалуй, болезненно-напряженную. Тосковали лучистые, цвета воронова крыла, глаза. Тосковали бледные, малые, как цветы, руки.

Дорогое платье придавало странный вид этой женщине. Она была привлекательна в нем, походя на раненую птицу, готовую из последних сил оказать сопротивление.

Дора медленно прошла из угла в угол. Неумело, словно грозя оторваться, за Дорой волочился по ковру шлейф. Дора подходила к окну, садилась, вставала. Она тяготилась жизнью в гостинице. И ролью содержанки англичанина Мак-Кулоха.

В этом городе, где Дора никогда еще не бывала, страшно разорвавшись в куски, умер любимый человек. Теперь, смотря в окно на чужой петербургский вид, Дора знала, зачем она здесь. И когда так думала, ей было легко и убить и умереть.

Распахнув с шумом дверь вошел Мак-Кулох. Он в модном костюме, в рыжих английских ботинках. В зубах сигара, с которой не растается Мак-Кулох.

— Ну как?

— Не квартира, Дора Владимировна, а восторг! Хозяйка немка-сводница, не живет в доме. Совершенно отдельная. Лучше желать нельзя. Завтра же переезжаем. Сегодня съезжу на Обводный за Ивановской. И заживем с вами, дорогая моя, прекрасно! — Мак-Кулох близко подошел к Доре.

Дора отстранилась.

— Поскорей бы переехать, — тихо сказала, — в этой отвратительной гостинице я измучилась.

— Дора Владимировна, вы сегодня грустны. Что случилось?

— А разве для нашего дела надо быть веселой?

— Бог мой, какая вы право! Говорю, что дело пойдет блестяще. И надо быть уж если не веселой, то бодрой. Иван от квартиры будет в восторге! Только не знаю как с автомобилем. Дора, вы любите автомобили?

— Мне кажется, что вы так входите в роль, что иногда принимаете меня за содержанку?

— Перестаньте Дора, в вас живет тысячулетняя еврейская грусть, Дора, это красиво, но утомительно. Итак завтра в четыре часа переезжаем. А сейчас идемте обедать.

— Но неужто нельзя подать сюда?

— Моя дорогая, — строго сказал Савинков, — я говорил, в вашей роли могут представиться более неприятные эпизоды. Поэтому пойдемте в общий зал, чтобы все видели, как богат Мак-Кулох и какая у него красивая любовница.

Не дослушав, Дора встала, вынула из шкафа малиновое манто.

— Дора Владимировна, милая, манто прекрасно, но в черном платье вас видели слишком часто. К обеду надо одеть хотя бы стальное. К тому же, заметьте, черное шелковое, — классический мундир террористок. Прошу вас.

Дора покорно улыбнулась. Ушла за перегородку надеть стальное с серебром.

6.

Все таки Прасковья Семеновна уставала от ночлежки. Ведь шел шестой десяток. В этот день она поздно возвратилась из города. Настроение было

подавленным. Все мерещилось, обойдутся без нее, забыли. А может даже отказались убивать Плеве. Прасковья Семеновна чувствовала ломоту во всем теле, когда с трудом поднялась на четвертый этаж.

Но как только отворила дверь, Адель кинулась с криками:

— Егоровна! Господа приходили! Нанимать! Богатые, ненашинские!

«Наконец то». Но чтоб не сбиться, Ивановская грубовато остановила:

— Да не метлешься ты, девка, говори толком.

— Говорю, сейчас были. Барыня красивая, такая роскошная, не знай, как в нашу дыру и влезла. С перьями, Егоровна, в малиновом пальте...

— Не егози, Аделька! — с нар гаркнул Вахромеев. — Полчаса, больше не будет, Егоровна, были, — сказал он, — в услужение хотели взять. Барин не русский, завтра придут в двенадцать, чтоб дома была.

Ивановская глянула на охранника. «У него острый глаз». Но Вахромеев говорил на любимую тему.

— Вот с такими господами и я по Питеру возжался, а теперь, эх мать твою в прорву! — и с нар под хохот Вахромеева полетела калоша, запрыгав по полу.

— Может и не придут, наговорили только, — сказала Федосья Егоровна, садясь на доски, покрытые байковым одеялом.

— Что ты, — тараторила Адель, — придут, барыня велела обязательно наказать, в 12 мол, будут. Знать ты повариха, а? что господа сами лезут, Егоровна?

— Ладно, не трещи, устала я, находилась, — Ивановская легла на постель.

7.

Шлепая сбитыми котами, без пяти двенадцать Егоровна взяла ведерный, жестяной чайник, стала тихо спускаться лестницей. Лестница пуста. Держась рукой за осклизлые перилы, медленно шла Егоровна.

На одной площадке остановилась, делая вид, что смотрит в разбитое камнями, веками невымытое окошко.

Снизу услышала легкие, мужские шаги. В пролете видела мелькнувшее светлое пальто. «Он».

Барин с стриженными усами, был в десяти ступенях. «Чорт знает, как бы не налететь. Вот какая то старуха?» — Савинков замедлил шаг, вглядываясь в морщинистое лицо. «Не она, кухарка».

— Скажи-ка тетка, — ломая язык обратился Мак-Кулох, — где здесь кухарка, Федосья Егоровна?

Старое сердце ударило.

— Это я, барин.

Савинков остановился. Перед ним: петербургская кухарка с коричневыми, засученными, рабочими руками. Савинков в замешательстве. На лестнице не слышалось шагов.

— Ну я же и есть, — сказала Ивановская, — она самая, давайте условимся, а то могут выйти.

— Вы Ивановская? — изумленным шопотом сказал Савинков, сжимая мозолистую коричневую руку, — невероятно! Послезавтра в девять приходите, Жуковская 31, фамилия: Мак-Кулох.

— Жуковская, 31, Мак-Кулох, — повторила Ивановская, зарубая в памяти, — в девять, хорошо. А теперь идите, сверху спускаются.

Савинков быстро пошел из дома Ширинкина, к ждавшему за углом лихачу.

8.

Федосья Егоровна вошла радостно. — Ну, Аделюшка, кончились мои мытарства, получила место, приходил барин.

— Приходил?

— Приходил. Аделюшка, уж и чуден, верно, что ненашинский, а только богатеющий барин.

— Когда же уходишь то?

Пряничник, Анна с мужем, даже хозяйка и «рыжий» сгрудились около Егоровны.

— Вот так Егоровна, сами разыскали! первоклассная стряпка!

А когда разошлись, на все лады обсуждая егоровнино счастье, к Ивановской тихо подошла Анна.

— Егоровна, — сказала она, обнимая, — попросить хочу, да боюсь осердишься.

— Чего ж осержусь?

— Сама видишь, — Анна вздохнула, — какая жизнь с чортом то шатоломным, пьет, пропивает последнее. ребенка заморил, — закрылась фартуком, плача Анна, — Попросить хотела, уступи ты мне твое место, пропаду я, вгонит он меня в могилу.

«Глупая ты, глупая», — думала революционерка.

— Да как же бабочка, ты это соображаешь, уступи. Вас двое, ты да муж, одно дите прокормить не можете, а я одна одинешенька, откажусь, кто ж меня кормить будет? что у меня тыщи што ль для житья припасены?

Анна гневно метнув глазом в старуху, встала:

— Злые вы все проклятушие, только для себя и норовите.

— Да прямо скажу, если б место подходящее, может и уступила, а то ведь, ну, куда ты сунешься, готовить на богатых господ не умеешь, проживешь два дня и ты и я места решимся.

— Ну и иди, иди, чтоб тебя розорвало с твоим местом!

— Егоровна, а Егоровна, — подошла Адель, — я к тебе ходить буду, а? Да я нечасто, знаю, барыня заругаться на меня может, я разок в неделю, а?

— Приходи девушка, — обняла Ивановская Адель и поцеловала в толстую, бледную щеку. — Часто, сама знаешь нельзя, люди подневольные, не наша воля гостей принимать, а разок в неделю приходи, я тебе писну адресок, ты и придешь.

В старый рундучек, внутри оклеенный афонскими картинками, портретами царствующей фамилии, Егоровна укладывала вещишки. В пятнастом капоте, в

сбитых букляшках хозяйка прямо шла к ней с бумажкой в руке.

— Вот с тебя старуха получить еще.

— Чего получить? Я все заплатила!

— Как все!? — пронзительно завизжала хозяйка, упираясь в бока и наступая на Егоровну, норовя броситься в драку.

— Ну да все.

— Волос седых постыдись! Люди знают, за четыре с полтиной угол сдала, а ты по бедности четыре платила! Кого хошь спроси!

— Да побойся бога, Евпраксия Матвеевна, ты мне за четыре угол сдала.

— За четыре? Да ты что в полицию вшей кормить захотела?! — взвизгнула отчаянно Евпраксия Матвеевна и букляшки на лбу заходила. — Вапья! Слушь, что старуха брешет, ловка стервь, да видали мы ваших, не дурее вас!

В дверях мрачный, пьяный стоял «рыжий».

— Не дури старуха, при мне уговаривались за четыре с полтиной.

— Ах, нехристи окаянные, с живого человека шкуру дерете! — в бешенстве кричала Ивановская, но уж лезла в рундучек, где аккуратненько были завязаны монеты и выкинула на пол прыгнувший полтинник. — Подавись ты моим полтинником!

— Так то лучше, по хорошему то, — сказала Евпраксия Матвеевна, ловя полтинник. И пошла из комнаты. За ней, мрачно повернувшись, пошел «рыжий».

9.

Квартира Амалии Рихардовны Бергеншальтер на Жуковской 31 опустела из-за японской войны. Жили тут: генерал Браиловский, адъютант поручик Недзельский и ротмистр Рунин. Это была холостяцкая, выдавшие виды квартира. Но полк выступил на

Дальний восток. И Амалия Рихардовна оплакивала войну, пока квартиру не заняли террористы.

Пять комнат освещались люстрами. В зале висели картины в тяжелых багетах. Мебель была стиля Империи, желтого шелка. Вечерами квартира была элегантна. Утрами обнажала убогость. Желтый шелк был засален, затерт. Обои отставали. Занавески нецельны. Но ловко показывала Амалия Рихардовна представителю велосипедной фирмы квартиру. Мак-Кулох не заметил дефектов. Хоть осматривал даже черный ход и заглянул в уборную.

Новые господа подъехали на длинной мягкой машине. Был июнь. Мак-Кулох одет в английский костюм с тысячью цветов и пятнышек. Широкий галстук с жемчужовой булавкой. Широкополая шляпа, каких в России не знают. Надменные манеры. Длинные пальцы рук. Плечи остро выступают вперед. Грудь чуть впалая. Глаза оригинальны поперечным разрезом. Мало ли у англичан каких глаз не бывает. Мак-Кулох гибкий, безукоризненный джентельмен.

Под руку с любовницей прошел в квартиру № 1. Малиновое манто чересчур пестро для дамы общества. Но любовница, певица от Буффа. Шляпа с белым страусом. Ноги в крохотных золотых туфельках.

— Как вам нравится, Дора? — говорил Савинков, водя Дору по комнатам. — Недурно?

— Удобно. А когда придет Прасковья Семеновна?

— Завтра, в девять.

В желтой гостиной Савинков, закуривая трубку, улыбался.

— Вы грустите, Дора, что носите на себе все эти роскоши, а какво курить трубку, когда больше всего на свете любишь русскую папиросу?

— Когда придет Сазонов?

— Завтра к вечеру. Но по объявлению наверное поперет целая армия лакеев. Надо быть осторожнее.

Савинков прохаживался желтой гостиной, попыхая тружкой.

— Скажите Павел Иванович, правда что у вас в Петербурге жена, дети и вы их не видите?

— Правда. Откуда вы знаете?

— Алексей говорил. Вы не видите их совершенно?

— Один раз пробовал, после покушения, не застал.

Дора молчала.

— Вашей жене тяжело. Она революционерка?

— Нет. Просто хорошая женщина, — засмеялся Савинков.

— Тогда вдвое тяжелее. У нас ведь нет жизни, такой как у всех, мы не живем, отдаем свою жизнь.

Савинков никогда не видал в женщине такой смешанности грусти и решимости, как в Доре. Преданность делу революции была фанатична. Он знал, хрупкая, болезненно-красивая, Дора пойдет на любой акт.

— Вот смотрю на вас, похожи вы, Дора Владимировна, на раненую птицу, которая хочет отомстить кому то. Вы правы, вы не из тех, кто любит жизнь. Возьмем хотя бы такую мечту, — побеждает революция, революционеры приходят к власти. Я не представляю, как вы будете жить? Представляю «Леопольда», он прекрасный химик. Ивана, он директор треста. Егора, Мацеевского, Боришанского, всех, но вас, — нет.

Дора слушала, чуть улыбаясь из подбровья лучистыми, грустными глазами.

— Может вы и правы, не знаю, что бы я делала в мирное время. Всю жизнь стремилась к научной работе. Не удалось. А теперь не хочу и не могу. Вот недавно, гостила у знакомых: лес, луга, фиалки, чудесно, и вы знаете, я не могла. Почувствовала, что надо уехать, потому что от этого воздуха, цветов, размякнешь, не будешь в состоянии работать. И уехала.

— Вы из богатой семьи?

— Из зажиточной. Мой отец купец, жили хорошо, были средства. Но родители до исступления ор-

тодоксальные евреи, это помешало образованию, я ушла из дому, пыталась пробиваться, ну, а потом захватило революционное движение и на всю жизнь...

— Странно, — говорила она, — как сильны бывают встречи. Неизгладимое впечатление произвели два человека. Брешковская и Гершуни. После них я пошла в революцию, и революция стала жизнью. Раньше я не представляла, что есть люди беззаветно отдающиеся идее. Вы встречались с Григорием Андреевичем?

— Нет. Брешковскую знаю.

— Ах, Гершуни исключительный человек. Ему нельзя не верить, за ним нельзя не идти.

— Убедить не революционера пойти в революцию нельзя, — сказал Савинков. — Мы особая порода бездомников, которым иначе жить нечем; эта порода водится, главным образом, в России, подходящий так сказать климат.

Савинков посмотрел на часы.

— Вот видите, — проговорил он, вставая, — пора на свидание к «поэту».

— Я рада, что придет Прасковья Семеновна, — сказала Дора.

— Да, да, она будет у нас вроде тетушки, — одеваясь, улыбался Савинков.

10.

В доме 31 по Жуковской — до 20-ти квартир. Лучше всех жизнь жильцов знает швейцар Силыч. Он четырнадцать лет служит. Да что скрывать, иногда послеживал за жильцами. Были неблагонадежные. И полицейские чины приходили, указывая, кто требует наблюдения.

Наметан глаз у Силыча на господ. Даром, что ходит странной походкой, словно вот-вот расклется от старости. Живет в каморке под лестницей, религиозен, заклеил каморку картинами жития святых.

К господам квартиры № 1 присматривался морщинным глазом Силыч. Но, прямо сказать, господа понравились. Сначала был недоволен, что бусурман снял, потому что очень скупы. Но Мак Кулох, как снял, кинул Силычу три рубля, не сказав ни слова. «Понимай, мол, что за барин». Силыч полюбил господ. Барыня приветливая, обходительная, улыбается. Барин чудён, все с трубкой. Почтальон таскает кучами заграничные каталоги с велосипедами, машинами, автомобилями. «Широкою деньгу имеет», — решил Силыч, расклеенной походкой, словно отклеивались ноги от задницы, спеша отворить Мак Кулоху, зубами сжавшему прямую трубку и глубоко засунувшему в карманы руки.

— Доброе утро, — снимает Силыч шапку с позументом.

Мак Кулох только кивнет и выйдет. С угла — лихач. След простыл Мак Кулоха.

11.

Дора полюбила старую, суровую женщину, дымящую в кухне кастрюльками, сковородами. Свободное время проводила с ней. Жмурясь, отвертываясь от летящих брызг со сковороды, Прасковья Семеновна быстрым ножом перевертывала картофель.

— Балуете вы нашего барина, Прасковья Семеновна, — улыбается Дора.

Прасковья Семеновна прикрыла картофель крышкой, улыбается.

— Барин хороший, деньги платит, что прикажет, то и надо делать.

— Ах, вы не можете представить, Прасковья Семеновна, как тягостно разыгрывать из себя эту барыню. Покупать все эти бриллиантовые застёжки, золотые безделушки, денег жаль на это, — говорит Дора. — Меня, Прасковья Семеновна, волнует Сазо-

нов, что такое? По объявлению лакеи идут один за другим, его все нет. Уж не случилось ли что?

Ивановская была фарфоровым молотком шницеля, они подпрыгивали как живые. Голова была по-кухарочьи повязана платком. Лицо раскрасневшееся от плиты. Не прерывая работы, пожала плечами.

— Не понимаю. Вчера еле выпроводила одного, пристал, «комиссию» обещает, да нанят, говорю, а он свое, не уходит, ты меня устрой, я, говорит, у редактора «Гражданина» князя Мещерского служил. Вот думаю, самый подходящий нам лакей, — засмеялась Ивановская громко, раскатисто, как смеются добрые люди.

На лестнице раздались шаги. Кто-то шел снизу. — Идут, может швейцар, вы уйдите.

Дора в платье цвета водоросли, расшитом цветными шелками, вышла. Ивановская накинула цепочку на дверь. Приходы соседней горничной Дуняши были чересчур часты, разговоры однообразны. Дуняша все жалилась, что адвокат Трандафилов скопидом, мяса покупает фунт, а кормиться хочет им три дня, ничего не украдешь. И широкой жизни егоровниных господ страшно завидовала.

Шаги были мужские. Шел человек в тяжелых сапогах. Шаги замерли у двери. Рука Ивановской, посыпавшая шницеля тертыми сухарями, остановилась. У двери мялись шаги. Раздался короткий стук.

Ивановская, приоткрыв, посмотрела в скважину за цепь. На нее глядели серые, смеющиеся глаза живого румяного лица. Чуть искривленный нос досказал приметы.

Ивановская радостно сняла цепочку.

Высокий, с ярко русским, веселым лицом, сдерживая смех, Сазонов переступил порог. Но вместо пароя, видя тот же смех в лице Ивановской, расхохотался.

— Наконец-то у пристани! чорт возьми! как я рад, — выговорил.

Подвижной, трепещущий здоровьем, с открытым лицом, широкими жемами, старовер Сазонов смеялся, глядя на работу Ивановской.

— Голову даю, вкус Савинкова! Он любит жареную картошку.

Ивановская смеялась с ним.

— Ну как живете-то, удобно? — говорил Сазонов, в глазах брызгали радость, веселье.

— Понемногу. Да что вы так долго не приходили? Тут без вас лакеев валило видимо невидимо.

Сазонов улыбался белозубой улыбкой. И так бывает, в этом русском, лихом человеке, старая Ивановская почувствовала близкое и родное. Словно встал из гроба Желябов, Михайлов. Сила, ясность бились в Сазонове. Ни анализов, ни сомнений, ни колебаний. Воля, знающая цель. Вот каков был лакей Афанасий, с ним душа в душу почувствовала себя на кухне те-тушка Ивановская.

12.

Жизнь квартиры № 1 шла полным ходом. Ранним утром, с корзинкой, первой выходила кухарка Федосья Егоровна. Шла по лавкам, на базар, в мясную. Мало смысла в кулинарии, все боялась попасть в просак. Не знала, например, частей мяса. Потому не торопилась, а выжидала в толпе кухарок, ведя разговоры, незаметно расспрашивая. Особенно подружилась с поварихой графини Нессельроде. Стол графини повариха вела на десять персон, закупала деликатессы.

— Здравствуй, Егоровна, чего нынче берешь?

— Да уж не придумаю, Матвевна, привиредливы больно, намедни взяла от грудинки, не пондравилось, барыня развизжалась, норовистая.

— Ты ссек возьми, аль огузок. Тут огузки хороши. Я завсегда беру, свежее, хорошее мясо. Да ты каждый день что ль забираешь-то здесь?

— А как же.

— Твой забор-то какой, рублей на пять берешь? Ты скажи им, что мол всегда забираю. Они тебе с сотни процент платить будут.

— Ой, ды што ты?

— Ды как што, дело торговое, ты насколько купишь? Мне десять рублей завсегда платят, да как же? ништо неправильно?

— Обязательно скажу.

— Ну прощай, Егоровна, суббота сегодня, ко все-нощной-то пойдешь?

— Не знай, как уберусь, уберусь, так схожу.

На черной лестнице с Силычём стоит Афанасий, в темносиней русской рубахе, в брюках на выпуск, каштановые волосы вьются крупными волнами. О чем-то говоря, ловко чистит барские костюмы Афанасий, разглаживает, стряхивает пылинки с брюк Мак Кулоха. Повесив на гвоздок, переходит к дамскому тайору, аккуратно счищая пылинки с платья Доры.

— Барин ничего, хороший, — подходя, слышит Егоровна, — барыня вот норовистая, несмотря что тихая, иногда поди, как запылит!

— Из евреек барыня-то?

— Да кто ее знает.

— Ну, они крикливые, — хрипло смеется Силыч.

— Здравствуй, Силыч, — проходит Егоровна.

— Здравствуй, здравствуй, Егоровна.

— Спят еще? — на ходу спрашивает Афанасия.

— А что им делается, спят, — смеется Афанасий.

— Надо итти, ботинки чистить, а то как бы встать не стали, прощай, Силыч.

— Прощай.

Силыч расклеенной походкой ковыляет подметать главную лестницу, чистить ковер, встречая кухарок, лакеев, судачить о барской жизни.

13.

Мак Кулох просыпался полчаса девятого. Одев мягкие, верблюжьи туфли, накинув ярко-желтый ха-

лат, шел в ванну. Умывался, делал гимнастику, брился. Занимало сорок минут. После этого Мак Кулох выходил к кофе.

Дымился спиртовой кофейник. На другом конце, блестя угольями, кряхтел самовар. Разрезая румяный калач, Савинков соображал, как распределить день, чтобы провести все явки.

В комнату с вычищенным платьем вошел Сазонов.

— Как дела, «барин»?

— Идут. Выпьем кофейку?

— Нет, мы уж у себя, на кухне с тетушкой. Я, ей богу, себя чувствую настоящим лакеем,—смеялся Сазонов. — Конспирация хороша, когда в кровь и плоть входит.

Отпивая коричневое, густо заправленное сливками кофе, Савинков проговорил:

— И я себя чувствую англичанином. Даже начинаю интересоваться велосипедным делом, — рассмеялся он.

— А как «поэт», вы его видали?

— Сегодня увижу. Он молодец. Дает самые ценные сведения. Редкий день не видит кареты. Карета стала его психозом: точно знает высоту, ширину, подножки, спицы, кучера, возжи, фонари, козлы, оси, стекла, всех министерских сыщиков и охранников знает. Феноменально! Извозчики не могут дать таких сведений. А вот и наша барыня, — повернулся Савинков.

В комнату входила, в утреннем японском халате, Дора.

— Смотрите, Егор, какой я халатик купил? а? С войны какой-то генерал привез, по случаю, какая прелесть, драконы какие, драконы.

— Вкус у вас вообще изысканный, «барин».

— Павел Иванович, как же вы думаете, когда приступим к делу? — проговорил Сазонов.

— Дело только за приездом Ивана Николаевича. Я его вызвал, через неделю наверное приедет.

— Ну дай бог, — проговорил Сазонов, — вот вам ваши костюмы, вычистил как настоящий лакей не вычистит, — улыбаясь, указал на сложенные на стуле вещи.

— Стало быть мы сегодня с вами пойдем, Егор? да? — сказала Дора.

14.

В десять, деловито попыхивая трубкой, Мак Кулох спускался лестницей. Заслышав стук желтых ботинок, Силыч выбежал раскрыть дверь. Через час барыня в шикарном мантио с громадным белым страусом на шляпе, пошла в сопровождении лакея. Лакей, как всякий лакей, в синей суконной паре, синем картузе с лакированным козырьком, на некотором расстоянии от барыни.

На Невском барыня выбрала два платья. Покупки в руки набирал лакей. Шел за барыней с белыми квадратами коробок, круглыми свертками. К двенадцати, барыня свернула с набережной на Фонтанку. Легко ступая крошечными ногами, пошла по направлению к департаменту полиции. В отдалении с покупками шел лакей.

15.

Свидание Савинкова с Каляевым было у Тучкова буяна. Как всегда Савинков проехал сначала несколько улиц на извозчике. Потом шел пешком. Установив, что слежки нет, направился к Тучкову буяну. Час был ранний. Было пустынно. Он увидел Каляева издали. По мостовой шла фигура торговца-разнощика, с лотком на ремне. Было заметно, что под тяжестью торговца несколько откинулся назад. Белый фартук опоясывал грудь, прикрывая рваный, засаленный пиджачишко в заплатках. Вытертый картуз, стоптанные рыжие сапоги. Похудевшее, небритое лицо. Только легкое страданье глаз отличало Каляева от

торговца. Но в глаза, в эту задумчивость, надо ведь вглядываться.

Когда у мрачного Тучкова буяна они сошлись на пятнадцать шагов, Савинков понял, что Каляев неподражаем, самый опытный филерский глаз ничего не увидит. Лицо Каляева засветилось радостью и улыбкой. Савинков знал эту улыбку, любил с детства.

На лотке уложено все цветным веером, разлетелись нарядные коробки папирос, зеркала, кошельки, картинки, чего только нет у ловкого торгаша,

— А вот «Нева», «Красотка», апельсины мессинские! — весело-профессионально крикнул Каляев.

Савинков махнул разнощику. Разнощик подставил для продажи ногу под лоток. И началась покупка.

— Ну, Янек дорогой, как дела? — говорил, глядя в бледное, детское лицо Каляева Савинков.

— Лучше не надо. Важное сообщение: — ездит теперь другим маршрутом, заметь, очень важно, царь переехал в Петергоф, теперь он вместо Царскосельского едет на Балтийский. Передай извозчикам, а то вчера Дулебов зря стоял на Загородном. Карета та же, черная, лакированная, у кучера рыжая борода, рядом всегда лакей, белые спицы, гнутые большие подножки, узкие крылья, — Каляев оглянулся, никого не было, — два больших фонаря, возжи у кучера всегда видел белые, стекла ярко отчищены. Ты знаешь, я даже раз видел его, он показался мне за стеклом испуганным и старым.

— Где ты видел?

— У вокзала, только городские отогнали, но знаешь, будь у меня вместо апельсинов бомба, я б убил его шесть раз, я подсчитал.

— Подожди, подожди, дело так идет, что все равно он наш. А как насчет слежки?

— Ни-ни, — мотнул головой Каляев. — Но когда же, Борис? Зачем тратить время, надо кончать, этого ждет вся Россия, подумай, сейчас такой удобный момент, поражения на фронте. Иван Николаевич здесь?

— Скоро приедет.

— Торопи, Борис, нельзя, можем упустить.

Савинков улыбался.

— Дорогой Янек, вопрос недели не играет роли. Зверь обложен, уйти некуда.

— Кто-то идет, надо прощаться, — проговорил Каляев.

Приближались трое, шедших с моста мужчин, в шляпах и широких пальто.

— Следи за Царскосельским, послезавтра в 11 у Юсупова сада.

— Хорошо. Возьми апельсины. — Каляев ловко завернул в пакет два десятка, подал профессиональным быстрым движением и, кинув в кожаную сумку деньги, пошел к мужчинам, закричав:

— Эй, господа, купите «Троечку»! «Красотку»! вот кошелек для богатой выручки! А вот патреотическая картинка, как русский мужик японца высек!

Савинков оглянулся. Темной тучей вздымался бироновский дворец, любимое Савинковым здание. Возле него стоял Каляев, подперев коленом лоток, продавал папиросы.

16.

В «Тарифном отделе страховых обществ» служил литератор Новопешев, услугами которого пользовались террористы. Передав визитную карточку Мак Кулоха, Савинков присел на диван. Но сидел лишь две минуты.

Мальчик распахнул дверь важному господину:

— Пожалуйте.

За длинным столом, заваленным по русски бумагами, папками, расчетами, книгами, правительственными распоряжениями, страховыми расчетами, сидел человек сугубо интеллигентского вида с дрожащим пенсне и бородкой. Улыбаясь, встал навстречу Савинкову. И тряся руку потноватой, мягкой рукой сказал:

— Давненько, давненько не заходили, ну как вы теперь?

— Да благодарю, существуем.

— Ну а дела-то как? Будет?

— Должно быть, Алексей Васильевич, если того хотят восемь человек.

— Восемь это мало.

— Прибавьте всю Россию.

Лицо Новопешева стало серьезно. — Я без шуток спрашиваю, Борис Викторович, — сказал он тихо, — ведете наблюдение?

— Все идет как надо, скоро кончится.

— Уверены?

— Больше чем уверен, — сказал Савинков, раскрытым портсигаром предлагая папиросу.

— Ну и слава богу. Благодарю вас, я бросил, доктора запрещают.

Савинков закурил.

— У меня к вам, Алексей Васильевич, личное дело.

— Слушаю.

— Я не видел жену года полтора-два. Хочу поглядеть. Не можете ли устроить свидание. Опасность в том, чтобы не привела с собой филеров. Я-то совершенно чист, это выверено. Но, если б вы взяли ее под свое покровительство, вы воробей стреляный.

Новопешев слушал молча, смотря на носок широкого ботинка Савинкова. Носок был свежо отчищен, ему нравился, хотя сам Новопешев носил нечищенные, смурьгие штиблетишки.

— Вы знаете, что Нина Сергеевна вас видела на извозчике?

— Видела? — удивился Савинков, — не знал.

— Даже была у меня. Она очень страдает. Вам надо с ней увидаться.

— Как сделать?

— Лучше всего так, — уставившись на носок ботинка, говорил Новопешев. — У моего знакомого на Офицерской есть квартира, они уехали на Кавказ,

ключи оставили. Я вызову Нину Сергеевну сюда и провожу ее на квартиру. Если мы будем совершенно чисты, то крайнее окно второго этажа будет освещено. Если ж что-нибудь не удастся, квартира будет темной.

— Хорошо. Когда же можно сделать?

— Скажем, — отвел голову к стене Новопешев.

— Скажем в субботу, в восемь вечера?

— Прекрасно. А с женой вы снесетесь?

— Да, да.

Оба встали. Прощаясь, Новопешев тихо сказал:

— Стало быть уверены?

— Да.

— И когда? — еще тише сказал Новопешев.

— Может быть через неделю.

— Ну дай вам бог всего, — пожал Новопешев руку Савинкову.

17.

Сведения извозчика Мацевевского, на которого Савинков сел, нового не давали. Изменение маршрута и вокзалов Мацевевский заметил. Подробности, как Каляев, о карете он не мог сообщить. Но из рассказа явствовало, что в сознании Мацевевского карета отчетлива. И если он станет метать, то не ошибется.

— Только скорей надо, Павел Иванович, — обернувшись с козел говорил Мацевевский. — Как бы чего не случилось. Я ведь уже сам четыре раза мог.

Встречный извозчик обругал Мацевевского «вихляем», махнув кнутом у морды лошади. Откинувшись в фаэтоне Савинков соображал, как кончить «инспекторский смотр», как шутя называл объезд товарищей.

В окне на Жуковской стояла Дора. Увидев пролетку, узнала Мацевевского. Рукой слала привет барину и извозчику. Выставив оmozоленную руку, извозчик ждал денег. Но как все извозчики был нахален. И, качая головой, бормотал вслед уходящему

барину: — Прибавили б двугривенничек, от Летнего сада ведь ехали!

Мах Кулох прошел озабоченно. А Мацевский повернул от квартиры и поехал шагом, не глядя в окна. На углу Литейного, дама, держа двух детей за руки, села к нему. Он повез их, очевидно, на именины, потому что дети были разнаряжены.

18.

— Я вам апельсинов от поэта привез.

Савинков развернул кулечек, раздавая.

— Мы сегодня с Егором видели карету, на Фонтанке, в двух шагах.

— «Поэт» мог убить шесть раз, Мацевский четыре, Дулебов тоже наверное.

— Это говорит за то, — взволнованно сказал Сазонов, — что дело нельзя тянуть, наблюдение назрело, надо кончать.

— Без Ивана Николаевича нельзя. Я послал телеграмму. Он просил пропустить его в квартиру так, чтоб решительно никто не видал, через черный ход. Он проживет у нас, не выходя, до окончательного дня. Но как изумителен «поэт»! какое это золото! какой это революционер! В его устах описание кареты Плевсе превращается в поэму. До чего преобразился! Ведь кричит, как заправский торговец. Для филеров абсолютно неузнаваем, ах Янек, Янек, а помните, Егор, вы находили его странным? — обернулся Савинков к Сазонову.

— Да, вначале это, — пробормотал Сазонов, вспыхнув, — я как-то его не мог понять, узнал его только в Киеве. Конечно «поэт» неоценимый товарищ, человек, революционер.

Припоминая, чуть улыбаясь, Сазонов сказал: — Странность показалась мне оттого, что при первой встрече он вдруг стал говорить о поэзии, о Брюсове, я глаза вытаращил, а он захлебывается, я его спраши-

ваю — какое это имеет отношение к революции? — а он еще пуше, — заразительно захохотал Сазонов, — кричать на меня стал, они говорят, такую же революцию делают в искусстве, как мы в обществе, ну я и удивился, да и до сих пор это конечно неверно.

— В «поэте» много чистоты, — сказала Ивановская. — Такие были народовольцы, многие такими были.

— Многие такими и не были, — сказал Савинков.

— Некоторые не были. Я говорю о лучших, о вере, о страсти, об идеализме, за который отдавалась жизнь. — Слова Ивановской были обращены к Савинкову.

— Да, — сказал он, — Каляев человек героического склада, такие люди очень ценны, но массам непонятны. Это трагические натуры, больше жертвы, чем деятели.

— Я не понимаю, Павел Иванович, вы говорите, герои, — сказала Дора, — и в то же время непонятны массам, как же они могут быть непонятны, если отдают свою жизнь за народ?

— Вы рассуждаете, Дора, по женски. Еще у Алексея Толстого сказано: «то народ, да не тот». Есть народ книжный, в который верят мальчики и девочки из гимназии и который у нас идеализируется. А есть живой, настоящий, так вот настоящий народ глух и туп, как стена, и никогда даже в случае победы не оценит жертв тех индивидуальностей, которые отдали революции жизнь.

Савинков говорил уверенно, небрежно. Брови Сазонова сводились, это был признак вспышки.

— Вы поймите трагедию хотя бы народовольцев, — продолжал Савинков, — приносили себя в жертву революции, сгорали за народ факелами свободы в темноте самодержавия и вот их предает кто? не жандарм, не генерал, предает настоящий рабочий, с которым вместе вышли на борьбу. Знаете, что Фигнер закричала Меркулову при аресте? Время барской покаянности, лубочных пейзажей пора бросать. Ставить икону глупо.

Сазонов возбужденно вскочил.

— Может вы и правду говорите, барин, да не всю! — закричал он. — А если не всю, то значит и неправду! Вы видите низость, предательство, и не хотите видеть благородство и самоотвержение. В тех же самых «низах», о которых вы пренебрежительно сейчас говорили, есть грандиозные порывы беззаветного энтузиазма, геройства, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, безвестных могил? Наша история полна мучениками, полагавшими душу за други своя, да! вот что барин, не народ надо судить за отдельных негодяев, а самих себя надо судить, за собой следить! Нехорошо вы сейчас говорили и неправы, приводя примеры «Народной воли»; пусть там был провокатор рабочий, но ведь Дегаев был «барин». Пусть были провокаторы рабочие, но разве можно по ним отзывать о народе? — Сазонов горел. Ивановская смотрела с любовью. — Нет! Мы должны быть именно народовольцами в отношении народа, они шли мимо единиц, страдая и борясь за народ, за его свободу, за социализм. И мы должны воскресить именно эту веру в революции, иначе ведь нельзя даже понять, зачем же делать революцию? Я первый раз, Павел Иванович, слышу от вас подобное о народе. И не понимаю, если вы не верите в него, зачем же тогда вы, дворянин, барин, интеллигент идете в революцию? да еще в террор? то-есть убивать и умирать? Зачем же? Нет, вы из-за красиво-декадентской позы клеветаете на себя, говорите неправду, — возбужденно оборвал Сазонов. Он был прекрасен в негодовании.

Савинков сидел спокойно, закинув ногу на ногу. Иногда на лицо выходила чуть приметная улыбка, сводившая разрез глаз.

— Вы, Егор, говорите, что думаете. И я говорю, что думаю. Если б я хотел говорить неправду, я б говорил так, как вы, соглашался с вами. Но искренность выше всего. Мы друг для друга должны быть прозрачны. И вот то, что я сказал, я повторю. Вы народник-идеалист, схожи с «поэтом», потому что на

многое смотрите, как дети. Правда, сказано, «устаами младенцев», а я скажу «глазими младенцев». Но у меня нет, Егор, как у вас любви и слепой веры в народ. Я вижу, что самодержавие гнило и мерзко. И я, поймите, Я, — подчеркнул Савинков, — Я бью его. Это моя игра. Для чего я бью? Для революции? Да. Чтоб пришли новые. Но разве я уверен, что новые будут белоснежны и наступит царствие божие? В это я не верю, Егор. У меня нет веры. Я знаю, что данная государственная форма изжита, новая не родится без мук, борьбы, крови. И я хочу участвовать в борьбе, но не для Ивана, Петра и Пелагеи. А для себя. Вот моя с вами разница. Вы идете жертвовать для метафизических Петров и Пелагеев. А я жертвую собой — для себя. Потому что Я этого хочу, тут моя воля решающая. Я может быть буду бороться одиночкой, не знаю. Но иду только до тех пор, пока сам хочу итти, пока мне радостно итти и бить тех, кого я бью!

— Я ничего не понимаю! Стало быть вы во главу угла ставите свою личность, свою особу? так я понял?

— Так, — и на спокойное лицо Савинкова выплыла надменная улыбка, обозначившая тонкие зубы, сузившая монгольские глаза.

— Тогда позвольте спросить, где же при эдакой-то ницшеанской постановочке место борьбе за социализм?

— Место есть. Я борюсь за социализм, потому что Я хочу социализма, вот почему.

— Но ведь, если вы не верите в народ, в массу, в коллектив, а верите только в себя, то в одно прекрасное утро вам может захотеться встать и против народа?

— Этого не может быть, Егор, — резко сказал Савинков. — Если я не становлюсь, подобно вам, на карачки перед народом, это еще не значит, что я могу стать его врагом. Врагом народа я быть не могу.

В передней раздался пронзительный звонок. Все переглянулись, всем показалось, что зря увлеклись, зря начали спор, забыли о деле.

— Не ходите, Егор, на вас лица нет, — махнула Прасковья Семеновна.

— Кто б мог быть? — сказал Савинков. — Прасковья Семеновна, я пройду в кабинет.

Накинув широкий серый платок на плечи, Прасковья Семеновна мгновенно стала кухаркой. В передней отперла сначала на цепочку. В раскрывшуюся на цепь полосу спросила — «Кто тут»?

— Телеграмма.

Почтальон подал телеграмму из Одессы. Получив на чай, вышел.

«Партия двадцать велосипедов фирмы «Дукс» прибудет пятницу девять вечера. Неймайер» — прочел вслух Савинков.

— Товарищи! — сказал он громко, — послезавтра в девять приезжает Иван Николаевич!

19.

Савинков шел по Офицерской. Еще вчера в Царском, возвращаясь со скачек в столбах пыли, поднятых развозившими публику извозчиками, внезапно почувствовал, что жизнь становится тяжела. Конечно, товарищи, дело, партия. Он любил Янека, Егора, Ивана Николаевича, но не о том думал Савинков, когда ехал в столбах пыли с царскосельского ипподрома. Думал, что жизнь одинока. От тел, которые покупал, родилась тоска. Хотелось любви. Вспоминал встречу с Ниной. Пролетевших по Среднему пожарных.

Савинков умышленно шел по стороне Офицерской с нечетными номерами. Он уже видел свет углового окна. Но все таки прошел за № 52. И только дойдя почти до Английского проспекта, перешел на противоположную сторону. «Все чисто», — думал Савинков,

скрываясь в подъезде. И дважды позвонил в квартиру инженера Переплессова.

20.

Когда по нежилым комнатам квартиры полетел звонок, Нина вздрогнула. На Офицерской она не пропускала фигуры. Неужели он прошел неузнанным?

Нина приотворила дверь. Сначала слышала только удары сердца. Потом раздались шаги. Голос Бориса смеясь проговорил:

— Стало быть прекрасно.

Шаги четырех ног приближались. Навстречу к двери, шла худая легкая фигура. Что произошло, Нина не могла понять. Вскрикнув «Боря», она упала ему на руки.

21.

— Успокойся Нина, что ты, — говорил Савинков, усаживая Нину. Нина обеими руками держала его руки.

— Боже мой, — шептала она. — Боря, Боря. — От радости, страха, счастья, горя не было слов.

Савинков целовал ее лоб, волосы. Но он представлял Нину иной. Она подурнела.

— Ты забыл меня, Боря?

— Нина, что ты.

Глядя на воспаленные от слез глаза, на большие руки, чувствовал, как слова вышли, зацепившись в горле. Что думал, после скачек, не то. «Какие большие руки». Нина говорила быстрым шепотом. Чтоб не отвечать, Савинков целовал.

— Нет, скажи ты думал обо мне, хоть немного, только правду?

— Конечно думал, — и опять неуловимая затрудненность слов.

— Господи, что я пережила, что передумала...

Савинков почувствовал силу ее чувства. Боясь отвечать словами, объятия его стали настойчивей.

Новопешев тренькнул условным звонком. Зажигая находку спички, Савинков шел отпирать. Нина сидела на кушетке, сжав в темноте голову обеими руками. Когда Савинков вышел, ей стало страшно, потому что через десять минут он так же выйдет и не вернется.

— Прекрасная квартира, — слыхала она голос Бориса, — нельзя ли реквизируть для дела, а?

Оба засмеялись. «Ах зачем они смеются», — подумала Нина, встала и пересела в кресло.

— Сколько времени, Алексей Васильевич?

— Полчаса десятого.

— Надо итти, Нина.

Савинков и Нина встали. Новопешев вышел в гостиную. Нина обняла его и страшно было выпустить из рук. Савинков чувствовал, что на улице будет снова один. Близость, о которой думал, казалась уже ненужной.

— Ну-ну, — ласково смеялся Савинков, целуя ее руку, — кресты нас не спасают.

Нина стояла у окна. Стекло холодило лоб. Ощущение уходящей жизни давило горло.

Савинков быстро шел Офицерской. Было радостно, что снова один. Странное ощущение соединялось с радостью и владело им: — ощущение потери.

22.

Где только не побывал Азеф, когда дни, часы и маршрут кареты устанавливались с арифметической точностью. Был во Владикавказе у больной матери, вызвал к ней с групп профессора Вязминского, оставил на лечение денег. Заезжал в Лозанну к жене

и детям, отдохнул с ними. По делам партии был в Берне, в Женеве.

Телеграмма Савинкова о том, что все готово, застала в Киеве. Азеф зигзагом метнулся по России, чтобы незаметно, подъехать к Санкт-Петербургу. Он заехал в Самару, в Уфу, свернул в Одессу. Здесь, тяжело ступая по ковру номера гостиницы «Лондон», он чувствовал, что дышать трудно, потеет, не то от жары, не то от волнения.

Переводя дыхание, широко потянувшись так, что на животе обшелкнулась жилетка, Азеф сел за стол, расправил руки и прищурившись, задумался. Потом Азеф взял перо:

«Дорогой Леонид Александрович! Прожив здесь 6 дней мне удалось узнать много интересного. Отсюда на днях уезжает одна госпожа с целью покушения на генерал-губернатора в Иркутске, Кутайсова. Госпожа эта среднего роста, еврейка, но православная. Сюда она приехала из-за границы, откуда послали ее для этого дела. Для установления личности могу сообщить следующее: она бывшая социал-демократка, была сослана в Вологду, оттуда бежала в конце прошлого или начале этого года. Зовут ее Мария (настоящее имя), а фамилия чисто русская, что-то вроде Щепотьевой, хотя не ручаюсь, она замужем за христианином, муж ее сослан в Сибирь. Здесь же, в Одессе, Наум Леонтьевич Геккер и Василий Иванович Сухомлин. Играют большую роль в партии. Они очевидно направляют дела боевой организации, от них наконец я узнал о случившемся в «Северной гостинице». Это действительно акт боевой организации и они же подтвердили мне, что погибший революционер это Алексей Покотиллов, брат жены товарища министра Романова. От них же я узнал, что дело покушения на Плеве отлагается ввиду отсутствия бомб, которые погибли с Покотилловым. Новое же приготовление займет много времени, а к Плеве, как они говорят «с револьвером не подойдешь». Но для реноме боевой организации надо совершить террористический

акт и для этого выбран Кутайсов. Я уверен, что благодаря этим сведениям вам удастся предотвратить покушение и установить эту госпожу. В Иркутске она будет жить по подложному паспорту, мещанская пятилетняя книжка. Кажется имя у нее будет Наталья, но за это не ручаюсь. Прошу вас очень, чтобы о пребывании ее в Одессе не стало известным, так как она тут очень законспирирована, а я с нею виделся. К Кутайсову она думает явиться в траурном костюме. Пока все. Ваш Иван».

Азеф посидел, снова потянулся всем телом, зевнул мясистым, громадным ртом. По монументальности напоминал гиппопотама. Посидев так с минуту, черкнул на телеграфном бланке:

«Партия велосипедов «Дукс» прибудет пятницу девять вечера. Неймайер».

Азеф позвонил, приказал дать счет и позвать извозчика. Когда коридорный ташил за Азефом чемоданы. Азеф раздавал на чай выстроившейся прислуге. Тут были швейцар, лакеи, горничные, посыльные, мальчики. Азеф не был скуп, давал всем рубли, полтинники. Кряхтя шел дальше, не обращая вниманья на низкие знаки благодарности.

23.

В восемь, когда на Петербург ложились сумерки, лакей Афанасий в каморке под лестницей наливал Силычу в плохо граненый стакан кагору. Кухарка Егоровна сидела у окна кухни, чтоб заранее увидеть описанного начальника боевой организации.

Дора и Савинков, в ожидании, остались в гостиной. Савинков сидел, откинувшись в кресле, читал Доре свои стихи, в такт слегка жестикулируя:

«Когда безгрешный серафим
Взмахнет орлиными крылами
Нетленный град Иерусалим
Предстанет в славе перед нами.

Смарагд и яспис и берилл
Богатствам господа нет счета
И сам архангел Гавриил
Хранит жемчужные ворота.

Ни звезд, ни солнца, ни луны,
Нетленный град — светильник божий.
У городской его стены
Двенадцать огненных подножий.

Но знаю, жжет святой огонь.
Убийца в храм Христов не ввидет,
Его истопчет бледный конь
И царь царей возненавидит».

— Потрафило тебе, парень, тут другие кто живет? Какие господа? Шантрапа! А твои господа, настоящие, да и работа какая?

— Да я, Силыч, не жалуясь, господа хорошие. Только барыня злющая, иногда развизжится, — смеялся Афанасий, — я тебе подолью кагоры то, а?

— Да подлей, церковное то пью, а крепкого сроду не пил.

Афанасий лил кагор в покрасневшие стаканы.

— Картины у тебя, Силыч, интересные, про войну все, смотри-ка наяривает наш казак то?

— Ха-ха-ха, — хрипло рассекся Силыч, словно горло его навеки засорилось пылью лестниц. Лупцует то, Афоня, лупцует, да на картинке, зря все ведь.

— Чего зря? Думаешь японца не побьем?

— Побьете, — смехом раскололся Силыч. — Это, Афоня, картинки на обман. Мы этого японца никады не возьмем, вот что.

— Возьмем! — стукнул захмелевший Афанасий и кагор подпрыгнул на цветной скатерти.

— Оставь фигурять, кому брать то.

Прасковья Семеновна разглядела быстро идущую по двору толстую фигуру. Сердце сказало «он». Ивановская приоткрыла дверь, прислушалась. Взяла лампу и вышла в сени. Шаги подымались.

В полутемноте увидела необычайно толстого, громадного человека в котелке, в черном пальто. Азеф подымался взволнованно.

Толстые губы отвисли. Глаза искоса ощупали, осмотрели Ивановскую.

— Дмитрий жив и здоров, — пробормотал Азеф.

— Проходите, вас давно ждут.

Также ощупавши ее глазами, Азеф скользнул мимо нее в дверь. И дверь заперлась. Савинков быстро шел в кухню.

— Наконец-то! — закричал он. В кухне они обнялись, крепко расцеловались.

24.

Афанасий бегом бежал черной лестницей узнать: приехал ли? Ивановская несла в столовую самовар. Дора расставляла чашки, клала в вазу малиновое варенье. Из ванной слышались голоса Савинкова и Азефа. Азеф умывался.

— Приехал? — вбежал Сазонов.

— Приехал, — радостно кивнула Дора.

— Ну будет им на орехи! — проговорил, потирая руки, веселый, розовощекий Сазонов. Прасковья Семеновна с любовью глянула: «Ах, какая прелесть этот Егор».

Коридором из ванной шли, разговаривая. И вдруг в квартире раздался гнусавый, раскатистый смех Азефа. Прасковья Семеновна дрогнула, до того неприятен был смех.

— Здрасти, Егор, — ласково смеялся Азеф, обняв, поцеловал.

— Ну, угощайте, угощайте гостя. Сначала чай, Борис, а потом о делах. — Азеф потирал руки. Все кругом радовались. Знали, что Плевелу будет убит.

— Какой автомобиль купил? — отпивал чай Иван Николаевич.

— Не покупал.

Улыбки сошли с толстого, губастого лица. Азеф потемнел.

— Как не покупал?

— Не покупал.

— Что значит!? — повысил голос Азеф. Все неприятно замолчали. — Я тебе сказал купить!

— А я не купил, на месте выяснилось, автомобиль не нужен.

Отставив в сторону стакан, варенье, Азеф насупившись пробормотал:

— Говори о деле.

Он навалился на стол всей грузностью, из под опущенной головы изредка бросая на присутствующих косой, пытливый взгляд.

Савинков докладывал о наружном наблюдении извозчиков, разносчиков, о том, сколько раз видели карету, о маршруте.

— Была ли за кемнибудь слежка? — пробормотал Азеф, не подымая головы.

— Нет. И товарищи просят немедленно кончать, уверенность в удаче полная.

Азеф молчал, бросая взгляды на Савинкова, Дору, Иванскую.

— Я поживу, — нехотя сказал он. — Проверю сам, так ли все, как ты говоришь. А как квартира? Слежки нет?

— Никакой. Прасковья Семеновна всех кухарок знает. Егор с швейцаром неразрывен, кагор с ним пьет,

Взглянув на Сазонова, Азеф ласково улыбнулся: «ну, вас то мол я знаю». И не обращая вниманья на

Савинкова, заговорил с Сазоновым. Было странно, что грубый с людьми, уродливый человек говорит с Егором почти заискивающе.

25.

По прежнему еженедельно по четвергам выезжала черная, лакированная карета. Сделав крутой загиб по улице, останавливались вороные кони под крепко натянутыми белыми тесмищами возжей. Замерев ждали. Косились мордами. Сквозь наглазники хотели увидеть седоватого, плотного старика с щетинистыми усами, в треуголке. Никогда не видали. Только чувствовали приближение по суете, по тому, как начнут выбегать, усаживаться велосипедисты. И когда рессоры слегка накренились, хлопала дверца, а на козлы впрыгивал ливрейный лакей, вороные кони подавались вперед в ожидании бега. И замирал у подъезда швейцар в странном, галунном золотом хомуте через плечо.

Бравый кучер Филиппов трогал. Прямо от подъезда бурей брала карета. В неизменной позе, вперив сердитые глаза с мшистыми бровями в одну точку, словно в напряженном ожидании внезапного, несся диктатор России.

Он не знал, что лету кареты прочертился предел. Что план убийства взял в плавниковые, мягкие руки его сотрудник. Что Азеф сверяет сводки наблюдения. Отдает приказания, заноса из-за руки удар.

26.

Когда не было деловых разговоров, обсуждений плана, Азеф, обнимая «барина», гулял по квартире. Смеялся. Или, кряхтя и сопя, боролся с Егором Сазоновым на поясах. И несмотря на плавничьи руки и рыхлую ожирелость Азеф был силен. Много поту

проливал легкий, кремнистый Егор Сазонов, чтобы вырваться из под запыхавшейся туши Ивана Николаевича.

А иногда вечером Егор подходил к Доре:

— Дора, сыграйте что-нибудь, — говорил он.

— Что же сыграть, Егор?

— Сыграйте мое любимое: «В тени задумчивого сада».

Дора шла к пианино.

27.

Стояли томительные, петербургские, белые ночи. Министр страдал бессонницей. Приказывал лакею крепко накрепкe опускать жалюзи.

— Чтобы в комнате была совершеннейшая темнота! — сердясь, кричал министр.

28.

От малокровия петербургских ночей страдал и Азеф, засыпая беспокойно.

Дора испуганная, растрепанная, в одной рубашке стояла у двери Савинкова: — Что такое, Борис? Вы слышите? Что-то случилось, кто-то кричит!

Вскочив, Савинков выбежал в коридор. Из комнаты Азефа неся придушенный стон, прерываемый криками. Савинков приоткрыл дверь. Скрипя зубами, ворочаясь, громко стонал Азеф. И вдруг от шороха вскочил на постели.

— Кто тут? — крикнул он.

— Это я, Иван. Ты напугал Дору, ты кричишь.

— В чем дело? — не понимая, вскрикнул Азеф, был взлохмачен. — Кричу? Что за чушь!

— Ну да, ты сейчас посылал кого то к чорту. Не волнуйся, стены капитальные, спи. — Запахивая на груди халат, Савинков вышел.

Но Азеф не спал. Боясь своих криков, лежал с закрытыми глазами, пока утром в рубахе, перерезанной голубыми помочами, не вошел Савинков.

— Вставай толстый! Ну и напугал Дору, всю ночь орал.

Азеф сел на кровати, надевая розовый носок.

— Неужели кричал? — пробормотал он и принужденно засмеялся. — Да вы бредите, с чего я начну кричать?

— Дора говорит, ты каждую ночь кричишь.

Азеф встал, ноги были волосаты.

— Что же я кричу?

Одевая ботинок, Азеф согнулся в поясище. Мешал нагибаться живот. Пошел в уборную и здесь, волнуясь на стульчаке, решил убить Плеве в ближайший четверг, самому же сегодня уехать с квартиры.

29.

— Ты думаешь, лучше по дороге на Балтийский? — говорил Азеф за чаем.

— Да.

Азеф был хмур.

— Сегодня вечером выеду в Москву. За мной поодиночке поедете, — ты, Егор, Каляев. Швейцера я извещу. Будем ставить, как хотите, на улице по дороге на Балтийский.

В фигуре Сазонова, в румянце, в блеске глаз ожила радость.

— Во вторник встретимся в Сокольничьем парке, в Москве — говорил Азеф, намазывая булку маслом. — Обсудим детали. Квартиру сразу бросить нельзя, надо сделать, что ты как будто уехал от Доры. Лакея расчислили, а вы, Прасковья Семеновна и Дора, должны жить здесь, пока я не дам знать. Перед актом все уедут из Петербурга, квартиру бросим.

Напившись, Азеф встал, смеясь блеском масляной

темноты глаз, хлопнул Савинкова по плечу: — Так то барин, кончать надо!

— О подробностях в Москве договоримся, Иван Николаевич? — глухо сказал Сазонов.

Азеф знал, какие это подробности.

— Об этом поговорим в Москве, — улыбнувшись проговорил он. А ночью, приподняв воротник, нагнув на глаза котелок, Азеф выскользнул из подъезда и скрылся.

30.

Силыч перед сном мыл ноги, распарив, отдирая ножом желтые мозоли. Стук в дверь был силен. Силыч прошептал: «кого черти несут, царицы небесные».

— Ты чего Афанасий? — расплющивая лицо о стекло, закричал он, стоя на одной ноге и поджав другую мокрую.

Афанасий выглядел пьяно.

— Да проходи што ль, дует, моюсь я.

Афанасий сел на сундук, пробормотав:

— Шабаш, прогоняют.

Силыч перестал мыть ногу.

— Кого?

— Зеркало разбил, — пьяно сказал Афанасий и, икнув на сундуке, качнулся. — У нее в комнате... у барыни, она ну визжать, сукин сын! кричит, зеркало разбил дрянь! А я, от такой, говорю слышу.

— Так и сказал?

— И сказал.

— Эх, паря, паря, — отдельно произнес Силыч, вытирая ногу полотенцем. — Места то какого решился, а?

— Барин прибежал, чтоб, кричит, духу твоего негодяй не было.

— Да ты прощенья проси, простят может.

— Не простят, — замотал головой Афанасий, — просил.

Вытерев ноги, в портках и рубахе Силыч полез под одеяло. Афанасий понял, знакомство кончается.

— Ты что спать что ль?

— Спать. А что же.

— Я кагору принес.

— Ка-го-ру? — раскололся смехом Силыч, — считали, а ты кагору? копейку то береги, ноги оттопашь, такого места не найдешь, иди милый, иди, я спать...

— Ну, прощай тогда, — встал, качаясь, Сазонов, — спасибо за все, Силыч.

31.

Вечер кутал Сокольничий парк. Колыхались толстые, пряные липы. Стар был парк, видел несчастья и счастья. Но этих четырех людей видел в первый раз.

Темной, заросшей сиренью алеей с уродливо разошедшимися наверху тополями, шел Азеф. Из за поворота вышли Каляев и Савинков. Вдали показался, догонявший, Сазонов.

В глубине, охваченной черносиним сумерком, шли четверо.

Впереди Азеф, Сазонов. Сзади Каляев, Савинков.

— «Леопольд» не приехал, — попыхивая папироской, говорил Азеф. — Задержался из за динамита, но все равно ждать не имеет смысла, к четвергу он доставит.

Они дошли до темной, сырой дороги. Она была шире аллей. Савинков споткнулся, попав в колею ногой.

— Здесь, — тихо проговорил Азеф, бросая папироску.

Они сели на скамью, в темноте скрылись. Хотя присмогравшиеся глаза видели, казалось, даже выражения лиц.

— Надо все решить, — гнусаво рокотал Азеф. — Предлагаю такой план: убийство будет на улице, по

дороге на Балтийский вокзал. Будет четверо метальщиков. Они пойдут один за другим навстречу карете. Первый пропустит ее, тем замкнет обратный путь. Второму принадлежит честь нападения. Третий мечет только в случае, если бомба второго не взорвется, или Плеве будет ранен. Четвертый остается в резерве, действует, если у второго и третьего будет неудача. — Азеф говорил ровным рокотом. — Вот план, как вы думаете, товарищи? — он повернулся, скамья заскрипела.

— План верен, — сказал Савинков, металлический голос в темноте отличался от рокота Азефа. — Плеве не может быть не убит. Но надо обсудить и самый способ метания.

Паузу мягким акцентированием прервал Каляев.

— Есть верный способ не промахнуться. Броситься под ноги лошадям.

— То-есть как? — недовольно бормотнул Азеф.

— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба или лошади испугаются, значит все равно остановка, может метать второй.

— Но вас разорвет наверняка?

— Разумеется.

Прошло молчание.

— Это ненужно, — пророкотал Азеф. — Если добежали до лошадей, значит добежали до кареты, зачем же бросаться под ноги, когда можно метать прямо в карету. Как вы думаете, Егор?

В темноте хрустнула, запев, скамья. Сазонов заговорил, как человек оторванный от своих мыслей.

— Вы правы, добежав до кареты, можно конечно метать в карету. Общий план хорош. Я уверен, сквозь четырех метальщиков Плеве не прорвется. Надо завтра же ехать. Меня ужас берет, — взволнованно говорил Сазонов, — что с таким трудом налаженное дело сорвется по пустяку.

— По какому пустяку? — пророкотал Азеф.

— Мало ли что, филеры могут набрести на квартиру.

— Вы боитесь провокации? — лениво сказал Азеф.

— Нет, случайности.

— Провокация может быть всегда, каждому в душу не влезешь, — медленно произнес Азеф, — надо действовать, вы правы. Если план принят, — расплывающимся рокотом говорил он, — надо утвердить четырех товарищей, как исполнителей.

Азеф замолчал. Это была сваяга минута Ивана Каляева и Егора Сазонова. Они ждали ее. Голос Каляева проговорил:

— Я хочу быть метальщиком.

— И я, — ответил Сазонов.

Азеф молчал.

— Я должен передать просьбу Доры, — словно стесняясь, сказал Савинков. — Говорю заранее, я против, чтобы Дора шла метальщиком, но не имею права не передать. Она хочет итти на Плевэ.

— Егор, как ваше мнение о Доре? — равнодушно проговорил Азеф.

— Что же я могу иметь, по моему, Дора если пойдет...

— Я категорически против разрешения Доре итти со снарядом! — перебил Савинков Сазонова.

— Что ты категорически, это мы знаем, — тихо рассмеялся Азеф. — Скажи причину? Дора член партии, почему ей не итти со снарядом?

— Моя мать никогда б не простила, если б узнала, что мы, мужчины, посылаем на убийство женщину.

Тихим, презрительным смешком расхохотался Азеф. В ответ — Савинков встал со скамьи.

— Высказываясь против кандидатуры Доры, предлагаю себя в метальщики.

Тишину разорвал равнодушный голос Азефа:

— Хорошо, будь по твоему, я не назначаю Дору. Но, как глава БО, отвожу и твою кандидатуру.

— Почему? — тихо-быстро проговорил Савинков.

— Это мое дело. Я считаю, что ты на этом месте неподходящ. Мы не можем выступать метальщиками. Ни я, ни ты. Мы должны сохранить партии боевку

дальше. Если ты настаиваешь, то я стану сам одним из металлщиков, — твердо сказал Азеф.

— Это же ерунда! — бормотнул Савинков.

— Иван Николаевич прав, — сказал Сазонов, — ни он, ни вы, Павел Иванович, во имя террора не должны подвергать свою жизнь прямой опасности. Ваши жизни нужны. Партия идет не на последний акт.

— Ты не возражаешь, Борис? — проговорил Азеф.

— Теоретически может быть это верно, но мне тяжело, если мне отказывают, и в особенности, если на дело пойдет женщина.

— Глупая романтика, — закашлявшись, пробормотал Азеф. — Мужчина, женщина — одинаковые члены партии, но для твоего спокойствия я отвожу Дору.

Голос Азефа казался сонным, усталым.

— На кандидатуры «поэта» и Егора я согласен. Другими металлщиками будут Боришанский и еще один товарищ, вы его не знаете. Боришанский ручается за него, это его друг.

Парк горел темнотой тысячи черных глаз. Темнота плыла густыми волнами. Деревья не шелестели. Впереди шли Каляев, Сазонов. Сзади Савинков, Азеф. Каляев нашел руку Сазонова и крепко сжал. Сазонов ответил сильным пожатием.

32.

На Морской у бланжевого особняка стоял, запряженный гнедым жеребцом, частный экипаж министра Плеве. У дома дежурили двое филеров. Плеве прошел в бланжевый особняк давно. Оттуда светился желтоватый огонь. Последние дни министр уставал, видел ошибочную ставку на войну. Видел злые интриги Витте. В углах рта ложились складки и начинало пошаливать сердце.

Анна Дмитриевна приготовила все любимое. В шелковом шелестящем белье, накинутом поверх розовом кимоно с золотом, дожидаясь, лежала на диване.

Стены комнаты были завешены красным паласом с белыми углами. Диван низок, широк, в подушках. Над ним старинное оружие, с краю бич, каким дрессируют животных. Бич был подарком знаменитого циркача, когда Анна Дмитриевна еще работала у Чинизелли.

Анна Дмитриевна, женщина пронзительной красоты, с хищными глазами и ярким ртом. Но что нравилось Плеве, — крепкие, даже грубые руки. Тело Анны Дмитриевны было с музыкальной грацией, какая дается женщинам сцены. Голос надтреснутый, а смех вульгарно-заливистый. Именно эту вульгарность, эту пронзительность любил Плеве.

— А я думала, ты приедешь завтра, — говорила Анна Дмитриевна, садясь близко. Плеве притянул ее, схватив за плечи. И лаская грудь, рука дрожала также, как когда в министерстве в волнении брала телефонную трубку.

Анна Дмитриевна сама обвила старика крепкими руками. Пошла звенящая, тихая тишина.

Много позднее он сказал, проводя рукой по лицу:
— Я был очень занят.

Анна Дмитриевна держала сухую, с сморщенной белой кожей руку. — Володя, — сказала она, — почему ты до сих пор не скажешь, кто ты на самом деле? Мне это неприятно.

Улыбаясь усами, Плеве, обнимая, сказал:

— Я же тысячу раз говорил, что служу в министерстве юстиции. Только ты наверное не понимаешь что такое юстиция? Нет? — засмеялся он.

— Да ты не заговаривай зубы.

Но Плеве приблизил ее, опять наступила тишина. В их комнате были слышны дыхания.

— Запарились, — бормотал на улице Фридрих Гартман, ходя от угла до угла. Гартман подошел к кучеру.

— Всякое дыхание любит... — смеялся кучер в бороду. Руганувшись, Гартман перешел улицу, к фи-

леру «Коньку» с обветренным лицом и еще раз обругал министра.

На придвинутом столе, в плосковатых чашках стоял недопитый чай, имбирное варенье, рюмки коньяку. На диване в белье лежал министр. Анна Дмитриевна в розовом кимоно стояла к нему спиной.

Плеве устал. Он отдыхал, не смотря на спину Анны Дмитриевны. Шалило сердце. Надо было полежать. Анна Дмитриевна повернулась и мягко села рядом.

— Ты сегодня устало выглядишь, — сказала она, положив крепкую руку на сухую белую руку министра.

— Да я не особенно здоров, — провел другой рукой министр по лицу, — а потом... — он посмотрел на нее и засмеялся.

И она улыбнулась.

— Ты же сам... хотел...

— Потуши, Аня, мы в темноте положим.

Анна Дмитриевна потушила. Протянув руки вперед шла к дивану. Подойдя, легла рядом. Так они тихо лежали. Он ничего не говорил. Сердца не было слышно. Закрывая глаза, он отдыхал. Потом, беря ее за руку, Плеве сказал:

— Ну зажги, Аня, кажется уже пора.

Анна Дмитриевна зажгла и вышла. Оставшись, Плеве стал одеваться. Спустил с дивана на теплый ковер ноги. Ноги были умеренно волосатые, с синими варикозными расширениями вен. Плеве пальцем попробовал на правой ноге надувшуюся вену. Стал забинтовывать длинным розовым бинтом.

Анна Дмитриевна вошла, когда Плеве стоял уж во фраке. Он приехал с бала, смятый цветок потерял возле дивана. На столике меж чашек она увидела радужную пятидесятирублевку. Вся наездничкая, цирковая кровь бросилась в голову. Пронзительное лицо выразило злобу. Анна Дмитриевна не сказала слова.

Плеве сделал вид, что не замечает. Подошел, взял руку и, целуя, проговорил:

— Стало быть до четверга, Аня?

Анна Дмитриевна резко повернулась. Теперь мог он видеть, как она его ненавидит. С перекошенным лицом, вырвав руку от поцелуя, Анна Дмитриевна проговорила:

— Я тебе не девка с Невского. Говорила, что меньше ста не буду брать.

Плеве, сделав шаг назад, вспыхнул.

— То-есть что это значит? Разве я был когда-нибудь к тебе скуп?

— В вашем положении вы могли бы быть кажется пощедрее.

— Что значит в моем положении?

— Значит, я знаю, кто ты! Я давно знаю, что ты министр.

— Ми-ни-стр? — побледневшими губами переспросил Плеве.

Анна Дмитриевна захохотала: — Ты же Плеве!

Плеве стоял бледный.

— Что за вздор вы мелете! — закричал он, наступая. — И откуда вы можете знать??!!

Анна Дмитриевна поняла, что визит последний. Но норовистость вспыхнула соломой.

— А какое тебе дело, откуда знаю, тебя все знают!

— Что???! — закричал Плеве. Сразу опомнился. Нельзя делать скандала, лучше выслать, может быть сию минуту она выдаст его революционерам. Выхватив бумажник, он швырнул сторублевку и быстрыми шагами пошел в переднюю.

Анна Дмитриевна не помогала надеть пальто. Она смотрела, как министр плохо попадал в рукава. Потом он повернулся, почему-то низко опустив цилиндр, проговорил:

— После сегодняшней сцены моей ноги в вашем доме не будет, сударыня, а то, откуда вы знаете то, что не должны знать, вы объясните совершенно другим образом и в другом месте.

Анна Дмитриевна раскаивалась. Было страшно: — человек с щетинистыми усами может сделать, что

захочет. Но министр уже шел решительными шагами по коридору. И скоро гнедой жеребец мчал его по серевшему в рассвете Петербургу. В тумане города разливались стрелы света. Из туманов выросли дворцы.

33.

В «Северной гостинице», где взорвался Покотиллов, Швейцер должен был окончить приготовление бомб.

Чувствуя легкую испарину и дрожанье рук, Швейцер работал ночь. К семи утра был готов четвертый снаряд. Швейцер поставил все четыре на комод. В зеркале, завернутые в бумагу, отражались круглые тяжелые свертки.

«Дулехов запаздывает» — бормотнул Швейцер и прошелся по комнате. Взглянул на отраженные в зеркале четыре свертка и задумчиво улыбнулся.

Уложив бомбы в чемодан, Швейцер спустился по коврам гостиницы. Рябой швейцар лениво толкнул дверь, Швейцер с Дулеховым тронулись к Мариинскому театру.

Передача бомб за театром прошла в образцовом порядке. Цилиндрическую, перевязанную голубым шнуром, взял Сазонов, одетый железнодорожником. Его бомба весила 12 фунтов. Круглую, завернутую в платок, взял худыми руками, одетый швейцаром, Каляев. Две одинаковые, похожие на коробки конфет, взяли Боришанский и Сикорский, спрятав под плащи.

34.

По летнему, бледному, раннему небу над Петербургом плыло солнце. Играло по церквам, по шпилям дворцов. В лучах зашевелился утренний город. Жизнь государства должна была начаться как вчера, как завтра.

— Закладывай! — кричал рыжий кучер Филиппов из окна людской конюхам.

«Успеешь», — бормотал почесываясь невыспавшийся, курчавый конюх. Но через минуту уж вывел из денника правого вороного, звонко заржавшего навстречу солнцу. Левый играл в руках другого, приседая на задние, вырываясь мордой из красного недоуздка.

Перед жестяным зеркалом Филиппов намастил волосы, расчесал поповским пробором. Вычесал рыжую, волнистую бороду. Жена положила на стол стиранные белые перчатки. Тяжело стуча начищенными сапогами, Филиппов вышел на двор, где держали конюха запряженных рысаков.

Филиппов глянул в карету: — не пыльно ли. Обошел коней. Похлопал крепкой ладонью левого вороного по крутому заду. Захватив возжи, махом с колеса поднялся на козлы и осадил метнувшихся рысаков. Играя круто собранными шеями, распушив орловские, пушистые хвосты, ударяя черными крашенными дегтем копытами, кони, по торцу двора плавно вынесли блиндированную карету на Фонтанку.

35.

В садике церкви Покрова на Садовой карету ждали Савинков и четыре метальщика. Боришанский сидел на лавочке спокойно. На другой Сазонов подробно объяснял Сикорскому, как в случае надобности утопить бомбу. Каляев, стоя у ворот церкви, сняв фуражку, крестился. В отдалении глядел на него Савинков, опершись на ограду.

36.

За ночь ничего необычного не случилось. Просто белые ночи усиливали бессонницу. Но, едуци к царю,

Плеве хотел выглядеть бодро. И после того, как камердинер гладко выбрил щеки, он умывался горячей и холодной водой. После умыванья щеки министра горели. Он ждал начальника канцелярии Штюрмера.

Штюрмер, высокий, лысоватый, похожий на незуита вошел с поклоном.

— Письма к докладу положили? — спросил Плеве.

Штюрмер знал о перлюстрированных письмах Витте и о докладе царю. Наклонив лысоватую голову с пробором, он проговорил:

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

Плеве, задумываясь, пробарабанил пальцами по столу: — трам-там-там.

Штюрмер стоял в ожидании.

— Господин Витте, — как бы сам с собой проговорил Плеве, — будет доволен. — И вдруг Плеве горько, коротко засмеялся. Штюрмер засмеялся точно также.

— Для Витте, ваше высокопревосходительство, это будет вроде разорвавшейся бомбы.

— Витте получит, что заслуживает, — сказал, злобно усмехаясь, Плеве и поднялся с кресла.

37.

Прося у кучера возжей, в 9.30 рысью тронули рысаки карету от департамента. Филиппов пустил их. Махом, храпя огненными ноздрями, не сбиваясь с ног, неслись рысаки по Фонтанке. И каждый в ветренном, утреннем беге слышал резкое дыхание другого.

38.

Метальщики тронулись по Садовой, на дистанции в 40 шагов. Путь был по Английскому проспекту, Дровяной, к Обводному каналу, мимо Балтийского и

Варшавского вокзалов метальщики выходили на Измайловский проспект — навстречу карете Плева.

В 9 часов 45 минут на Измайловском проспекте со стороны Вознесенского показалась карета. Рысаки несли ее крупным, размашистым махом, в ногу, как кони Люцифера, вороные, прекрасные звери. Держась дальше от тротуара, серединой проспекта, стремглав мчалась карета. Спереди в открытой коляске на яблочных, изогнувшихся конях летел полицмейстер. Блестя металлическими спицами, с неимоверной быстротой крутил ногами Фридрих Гартман у левого заднего колеса кареты. За ним длинной шеренгой неслись сыщики-велосипедисты. В пролетках на рысаках мчались агенты и филера.

39.

Метальщики двигались быстро. Чуть сгорбясь, первым, в широком плаще шел Абрам Боришанский. Он должен замкнуть поворот кареты. За ним — Егор Сазонов, у него была высоко поднята голова, словно хотел он сейчас же броситься вперед всем телом. 12-ти фунтовый снаряд держал высоко, у плеча. За Сазоновым легкой походкой, иногда улыбаясь, шел Каляев, держа снаряд, как сверток белья. За Каляевым торопясь и не поспевая, шел бледный юноша Сикорский.

40.

Карета стремительно сближалась с метальщиками. В ушах и груди секунды рвались протяжным звоном. Сазонов услышал отчетливые удары копыт по торцам. И вдруг перестало биться сердце, оборвалось дыхание. «Неужели пропущу. Глупости», — пробормотал он. В этот момент Сазонов заметил, карета уж близко и на обратной стороне улицы синими буквами написано «Варшавская гостиница».

«Неужели пропущу». Он уже видел близко несущихся, сытых вороных жеребцов. Одна секунда. Они пролетят как поезд, как гроза и скроются, сопровождаемые пролетками, велосипедистами. Но вдруг перед каретой министра вынырнул извозчик. В пролетке, развалясь, сидел молодой офицер. Чтобы на всем ходу обогнуть извозчика, карета метнулась с середины проспекта к тротуару. Было видно, как натянул возжи рыжебородый кучер Филиппов, как навалились друг на друга рысаки в бешеном повороте. Не рассуждая, кинулся к карете Сазонов. В секунду увидел в стекле старика. Старик рванулся, заслоняясь руками. И во взгляде отчаянных глаз Плева и Сазонов поняли, что умирают. Цилиндрическая бомба ударилась, разбивая стекло, навстречу рукам и глазам министра.

41.

Рысаки почувствовали удар. Страшный удар. Словно были они игрушечными. На всем ходу упали рысаки. Серожелтым вихрем в улице взметнулся столб дыма и пыли. Заволоклось все. И первым увидели прохожие, вскочивших в дыму вороных коней, карьером мчавшихся по Измайловскому.

Дым быстро рассеялся. Лежа на мостовой, Сазонов удивился, что жив, хотел приподняться, но почувствовал, что нет тела. С локтя, сквозь туман, увидел валяющиеся красные куски подкладки шинели и человеческого мяса. Сазонов удивился, что нет ни коней, ни кареты. Хотелось закричать «Да здравствует свобода!»

— Да здра... — Но все потемнело, на него прыгнул Фридрих Гартман.

Судорожно сжимая бомбу, Каляев стоял на мосту. Он не знал, жив ли Плева. Раздувая ноздри, храпя, хрипя, хлеща оглоблями и остатками колес пронеслись окровавленные кони. «Убили министра!» — закричал

бегущий, незнакомый человек. И Каляев понял, что приговор выполнен.

Полицмейстер схватил неповрежденный портфель министра, лежавший посредине мостовой. Портфель был заперт. Далеко, согнув ноги, лежал обезображенный труп рыжебородого кучера Филиппова.

Сазонова били полицейские и филера. Он не видел, как полотноянно бледный в элегантном костюме англичанина подбежал к месту взрыва Савинков. Толстый пристав Перепелицын размахивая шашкой, кричал: — Да куда вы лезете, господин! уходите!

Савинков заметил, у пристава трясется нижняя челюсть.

Паника владела улицей. Двое городских волочили громадное тело кучера. Для чего-то вели пойманных всеми мускулами дрожащих окровавленных коней. Полицмейстер махал министерским портфелем. Женщины перевязывали гвардейского офицера, пересекающего путь. Мундир был окровавлен. Пристав записывал имя и адрес.

— Цвецинский, — сдерживая стоны, говорил офицер, — лейб-гвардии Семеновского. Да везите же — раздраженно простонал он и его понесли на извозчика.

— Самого-то убило, смотри тащат, смотри, — говорила черненькая мещаночка.

— Кого самого?

— Кого? Не видишь разве, самого, кто бомбу кидал, того и убило, ужаси!

— А министр-то? Министр?

Измайловский проспект был запружен сбегавшейся толпой.

42.

Опустив голову, Савинков шел к Юсупову саду. Он был бледен, не знал: выполнен ли приговор партии? Остаться в толпе не мог. Казалось, что Плеве спасен, а убит Сазонов.

Мужчина в грязноватом, чесучевом пиджаке с трясущейся бородой схватил его за руку.

— Скажите пожалуйста, что произошло?

— Не знаю, — вырвал руку Савинков, ускоряя шаг.

Возле Юсупова сада никого не было. «Что значит? Где товарищи?» Савинков чувствовал, что внутри болит, разрастается, давит тяжелая пустота. Он шел по Столярному. «Надо успокоиться», — думал он. Сталкивался с людьми, тихо шедшими по магазинам. И вдруг машинально остановился: на другой стороне висела покосившаяся вывеска «Семейные бани Казакова». Савинков перешел улицу. На двери бани, писанное рукой, прижатое кнопками, было объявление: — «Стекло́нной посуды в баню просят не носить во избежание всяких случайностей и вообще». Савинков не рассуждая вошел в баню.

Бани были второразрядные. В коридоре пахло банной прелью. Ходили сюда не столько мыться, сколько за всякими другими надобностями.

— Номера есть? — спросил у кассы Савинков и закашлялся.

— Только в три рубля.

— Да, в три, — сказал он, вытаскивая зелененькую бумажку.

«Чорт знает, как дорого», — думал, поднимаясь по грязной лестнице. В углу ковра заметил пятно омылков. «Уронили белье, что ли?»

Банщик с фиксатуаренными усами семенил с конца коридора.

— В 12-й пожалте.

— Мыла, полотенце, — рассеянно говорил Савинков, входя в номер, — и эту, ну как ее... мочалку!

— Как же без мочалки, — засмеялся богатому барину банщик.

Савинков заперся. Бросил мыло, полотенце, мочалку в медный таз. Скинул пальто, пиджак и лег на диван. Надо было сосредоточиться, решить. Но решить было оказывается трудно. Вместо решения про-

носились неотносящиеся к делу картины. Мать, мертвый брат, Нина, он не мог отогнать их. «Господи». — вдруг пробормотал он и, услышав голос, удивился.

«Банщику надо было сказать, что жду женщину, было бы лучше». В это время в номер раздался стук. Савинков вздрогнул и прислушался. Стук повторился сильнее.

— Чего еще? — крикнул сердито Савинков, подходя к двери.

— Ваше время вышла, господин, — ответил из за двери банщик.

— Сейчас выхожу.

«Какая ерунда, время вышло», — бормотал Савинков. Он налил в таз воды, намочил полотенце, мочалку бросил на продырявленный кожаный диван и наплескал на полу.

43.

Вечером на Невском Савинков стоял ошеломленный. В темноте бежали газетчики, крича: — «Убийство министра Плеве!» — Савинков не понимал, кто убил министра? Казалось, убил вовсе не он. Савинков держал листок. Из траурной рамки смотрел министр. Колючие глаза, топорщащиеся усы, но ведь В. К. фон Плеве более не существовало:

«Сегодня в 9 ч. 49 минут на Измайловском проспекте возле Варшавской гостиницы злоумышленником, имя которого не удалось установить, убит, брошенной в окно кареты бомбой, министр внутренних дел В. К. фон Плеве. Сам злоумышленник тяжело ранен. Кроме министра внутренних дел убит кучер Филиппов, а также ранен проезжавший по улице поручик лейб-гвардии Семеновского полка Цвезинский...»

— Простите, — проговорил господин. Савинков почувствовал, что с кем-то столкнулся.

«С места убийства злоумышленник перевезен в Александровскую больницу для чернорабочих, где ему в присутствии министра юстиции Муравьева не-

медленно была сделана операция. На допросе, состоявшемся тут же после операции и произведенном следователем Коробичем-Чернявским злоумышленник отказался назвать свою фамилию. Департаментом полиции приняты энергичные меры розыска, ибо предполагается, что убийство министра является делом террористической организации».

«Жив! жив!» — повторял Савинков, переходя Невский меж пролетов, колясок, карет. «Егор герой!» И вдруг почувствовал, мостовая поднимается, плывут, дробятся фигуры прохожих, встречные экипажи и здания валятся на него. Савинков понял, надо скорей зайти в ресторан.

— Что прикажете-с?

— Дайте карту.

— Слушаюсь.

— Стерлядь кольчиком.

— Слушаюсь.

Лакей мягко подбежал с серебристой миской.

44.

Прасковья Семеновна Ивановская останавливалась, идя мимо расчищенных садов. Смотрела на варшавские сады с удовольствием. Как член БО Прасковья Семеновна выполняла приказания начальника. Теперь шла не кухаркой с Жуковской, а барыней, в черном платье с легким кружевом, в соломенной шляпке, с зонтиком.

По всей фигуре Азефа, шедшего Маршалковской, Ивановская заметила волнение. Азеф шел, грузно раскачивая живот. Лицо смято, заспано, искажено. Азеф показался Ивановской прибитым.

— К часу должны все узнать. Если убьют, будут экстренные выпуски. От Савинкова должна притти телеграмма. Это ужасно, — вдруг проговорил он, тяжело дыша, приостанавливаясь. — Быть вдали от товарищей, ждать, вот так, как мы с вами, это ужасно.

Ивановская шла, опустив голову.

— Зайдемте в цукерню.

В сливочной, белой цукерне пустовато. Розовая девушка принесла кофе с пирожными. Отошла, села, сонно смотря в окно на Маршалковскую.

Так прошел час.

Ивановская видела: волнение сильнее охватывает Азефа. Уродливый человек, не вызывавший симпатий, сейчас их вызвал. Азеф потел, обтирая лоб.

— Уже без четверти двенадцать, — сказал он, поворачиваясь всем телом на стуле. — Что-нибудь должно было случиться.

Азефу стало душно. Он крепко обтер лицо.

— Надо быть спокойней, Иван Николаевич.

— Ах, — как от боли сморщился Азеф, — что вы говорите! Стало быть вы не любите товарищей. Я люблю их, поймите, они все сейчас могут погибнуть, — лицо Азефа задергалось, он отвел глаза.

— Пойдемте, — вдруг сказал он. — Я не могу больше.

Ивановская встала. Сонная девушка получила деньги. Села у окна смотреть на улицу.

45.

Сквозь стекло прошли мимо толстый господин с старой дамой, только что пившие кофе. Но за цукерней девушка не видала, как толстый господин побежал. Сопливый мальчишка, еле успевая подбирать сопли, продавал экстренные выпуски, оря во все горло.

— Брошена бомба!

Азеф с газетой сделал несколько шагов, лицо было беложелто.

— Брошена бомба... ничего... неудача... — растерянно бормотал он.

Но обгоняясь бежали газетчики с разных сторон, крича:

— Замордовано Плевего!

Азеф рванул листок. Руки дрожали крупной дрожью. Прочитал вслух: — «За-мор-до-ва-но Пле-ве-го». И вдруг остановился, осунулся, вислые руки опустились вдоль тела, смертельно бледный, тяжело дыша, Азеф схватился за поясицу.

— Пойдите, — пробормотал он, — я не могу идти, у меня поясица отнялась.

— Что значит замордовано, убит или ранен?

— Может быть ранен? — с испугом простонал Азеф.

С белыми листками бежали люди. В окнах магазинов появлялись листы с надписью «Замордовано Плевего».

— Я спрошу, что значит замордовано?

— Вы с ума сошли. Надо ждать, лучше я поеду в «Варшавский дневник». Подождите.

Держась за поясицу Азеф перешел улицу. Когда скрылся, Ивановская не выдержала. Это был маленький магазин обуви.

— Что могу предложить? — любзено шаркая, подошел хозяин поляк на коротеньких ножках. Старая женщина, улыбаясь, сказала:

— Скажите пожалуйста, почему кричат на улицах, что значит замордовано?

— Убили министра Плеве, — сказал обувник, — замордовано значит убили.

— Благодарю вас.

Азеф подбехал на извозчике. Он был бледен, волнение не покидало.

— Убит бомбой, сделано чисто, — бормотал он. — Я был на почте, завтра приезжает Савинков. Явка в 2 часа в «Кафе де Пари». Купите хорошее платье. Ресторан перwokлассный. Вторая явка на Уяздовской в шесть. Если я не увижу Савинкова, передайте, чтобы стягивал товарищей в Женеву.

— Разве вы уезжаете?

Азеф осмотрел ее с ног до головы.

— Я никуда не уезжаю, говорю на всякий случай, понимаете? Завтра должны обязательно быть на явке. А сейчас прощайте.

В «Кафе де Пари», куда пришла Прасковья Семеновна в коричневом кружевном платье, Азефа не было. В шесть Прасковья Семёновна гуляла в польской, нарядной толпе на Уяздовской. И здесь не было ни Азефа, ни Савинкова. Прасковья Семеновна ходила в волнении.

В магазине ювелира стрелка показывала — семь, — ждать бесполезно. Ивановская пошла в направлении Нового Света. На мгновение, возле Уяздовского парка показалась знакомая, худая фигура. Господин приближался, в светлом костюме, в панаме. В двух шагах пристально взглянул на Ивановскую. Прасковья Семеновна остановилась: — похож на Мак-Кулоха, но не Савинков. Господин, повернувшись шел к ней, странно улыбаясь, улыбкой схожей с гримасой.

— Прасковья Семеновна?

— Это вы? — произнесла Ивановская. — Господи, на вас лица нет!

Даже теперь Ивановская не узнавала. Лицо синеватое заостренное во всех чертах, с пустыми узкоблещущими глазами. Другое лицо.

Ивановская бессильно проговорила: — Кто, скажите кто?

— Егор.

— Погиб.

— Тяжело ранен.

— Господи, Егор, — закрывая лицо, прошептала Ивановская, на старушечьих глазах выступили слезы.

— Давайте сядем, — сказал Савинков.

Мимо шла праздничная толпа. Савинков рассказывал о Егоре, об убийстве, об аресте Сикорского. Кончив, добавил:

— Я видел Азефа, он торопился, сказал, принужден ехать, заметил слезку, он выехал в Женеву.

— Он просил передать, чтобы стягивали туда товарищей.

— Да, да, для нового дела, — усмехнулся Савинков неопределенной полуулыбкой, — я не знал, что убивать трудно. Прасковья Семеновна. Теперь знаю. Рубить березу, убить животное просто, человека убить трудно. Есть что-то непонятное...

— Вы куда же теперь? Заграницу? — перебила Ивановская.

— Да, — сказал Савинков, — лиха беда начало.

— Господи, господа, Егор, Егор, — тихо шептала Ивановская, качая старческой головой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

1.

Окна гостиницы «Черный орел» выходили на набережную Дуная. Говорят, что Дунай голубой. Дунай просто синий. По Дунаю пыхтели белые пароходы, тянули с трудом смоленые баржи. Но ни на синеву вод, ни на белые пароходы не смотрел Азеф. Запершись в номере он писал Ратаеву:

Дорогой Леонид Александрович!

Я совершенно потрясен происшедшим. Но не буду вам об этом писать, мы скоро увидимся. Я думаю приехать в Париж в скором времени. Ужасно, ужасно, дорогой! 7-го июля я писал вам письмо из Вильны, прося выслать мне 100 рублей, после этого 9-го оттуда же послал телеграмму, но денег не получил, так как по делам должен был выехать в Вену. Здесь живу с 11-го, кое-что есть интересное. Будьте добры, распорядитесь высылкой денег сюда, как всегда высылаете. Пробуду здесь еще несколько дней и через Женеву проеду в Париж, где повидаемся. Есть очень интересные сведения, которые сообщу в следующем письме.

Ваш Иван.»

Высунув красный язык, Азеф заклеил письмо.

2.

День был жаркий, безоблачный. Грузно откинувшись в автомобиле, Азеф ехал Пратером. На верандах кафе люди тянули сквозь соломинки прохладительные напитки. В душе Азефа не было ничего кроме усталости от духоты и жары.

Он сонно смотрел на блестящие витрины, лаковые кузова колясок, на спешащих венцев, венок. Раскачиваемый, толкаемый в автомобиле, Азеф полудремал. Дудя, изворачивая кузов, серая машина несла к кафе «Трех Королей». Когда Азеф вылезал, словно отрывались у него руки, ноги, туловище. До того разомлел от июля.

В кафе, закурив, сел у стола. Желанья остановились на пухлой блондинке, которую определил, как глупую, без претензий, свежую телом. Он улыбался ей, распуская скулы, растягивая липкие, вывороченные губы. И когда взгляды скрестились, тихо указал на стул подле себя. Улыбнувшись, она отвернулась. Тогда Азеф тучно поднялся, раскачивая живот, перешел к ее столику, опустился рядом. Несмотря на то, что девушка была проститутка, она покраснела.

— Nna, Fräulein, was wollen wir trinken? — ржаво пророкотал Азеф.

3.

Савинков не спал. Это было неожиданно. Плеве не покидал его. На столе валялись газеты с изображением мрачного министра. Савинков смотрел. Лицо старика не менялось. «Может быть, надо больше мужества посылать на смерть других, чем итти самому? Все равно, сидеть ли у церкви Покрова иль метать бомбу. Этого старика я разорвал. Как революционер ненавидел его, хотел смерти. Смерти хотела Россия, он должен был пасть и пал. Да, да. Все логично, точно. Но почему Ивановская не узнала меня?

Почему бессонница? Нервы? Потому, что убил? И совершенно все равно кого: министра ли, собственную жену, товарища, черта, дьявола? Не думал, что будет след. Метафизическая ерунда, оказывается, существует. Говорят, в Берлине живет с женой и детьми палач. По профессии ездит, отрубает головы. Одевается в цилиндр, сюртук, отрубив возвращается к жене и делает детей. Что же? Ничего. Интересно спросить этого немца, «нна, мол, Herr Schulze, wie geht's sonst? Не может быть, чтобы ничего не осталось у герра Шульце. Хотя может у герра Шульце не должно оставаться. У меня ж оказывается, остается метафизическая ерунда...»

Остановившись, Савинков взял газету, взглянул на Плеве. Плеве глядел прямо на него. И вдруг, ей богу, будто бы улыбнулся! Какая чушь! Савинков отшвырнул газету.

4.

Сазонов был еще без сознания. Рана была в глаз, в бок, в левую ногу. Забинтованный белыми бинтами Сазонов лежал в одиночной палате Александровской больницы. У белой постели, за белым столиком, в белом халате сидел доктор. Сазонов тихо бредил. Но иногда вскакивал, начинал кричать. Доктор стенографировал бред. Это был чиновник полиции, разоблаченный провокатор М. И. Гурович.

— Как ваше самочувствие? — говорил он, подходя, беря за руку Сазонова, пробуя пульс. То ж лошадиное, цвета алебастра, лицо, те ж блестящие откинутые назад волосы, но не рыжие теперь, а черные как смоль.

Сазонов пытался что-то сказать, но заметался, вырывая руку пробормотал:

— ...Еще бесконечность... ой... милый... Петька... пора,, ой... но ты пожалуйста поскорее... что же... а... пустите меня... скорее поправлюсь... господи, господи...

Глубоко переводя дыхание, Сазонов смолк. Гурович записывал за столом. Сазонов снова метнулся, заговорив:

— ...Вот у меня был один хороший пациент, я его испортил... князь... я знаю... что вы из меня хотите сделать... много найдете самостоятельности... как... ох как утомил меня... да, князь... делайте вы по своему, как вы хотите... не будьте бабой... фу, фу... досада... ну господи, боже мой... поставьте меня в хорошее положение, как мужчину... ей богу, бабу из меня вареную делаете... господи боже мой... никакого смысла ни в чем не вижу... — застонал он, падая на подушки.

Так лежал Сазонов долго. Тихо зашептал. Гурович подвинулся ближе, наклоняясь, не расслышывая.

— ...Не знаю, что вы должны чувствовать... снимите лишние афишки... господи... и вот я как балбес ничего не знаю... ничего не помню... хоть бы вы пожалели, как долго стою... пора кончать... торжественно даже... снимите лишнюю одежду... куда я поеду сегодня... вы сказали, что поеду... опять на бобах... опять на левой ноге какой-то князь... мой что ли... мой... тоже поганый... нет, вашу науку не понимаю... совсем странно... ой... что это на левой ноге... тяжело... словно путо... доктор! — вскрикнув, вскочил Сазонов.

— Что вы? — ласково сказал Гурович, отложив карандаш, подходя к нему.

— Что мне делать, доктор? — смотрел в Гуровича, незабинтованным глазом, Сазонов, — эти дни надо ехать на дело... по провинциальному... я связан словом... и путаница... вышла... что делать?..

— Какая путаница? — еще ласковей проговорил Гурович, садясь на кровать, беря за руку.

— Николай Ильич... семейство... я жду, когда солнышко выйдет, — бормотал Сазонов, — ...ну перестань... не стану же плясать... Петя, а Петя... а что... а если... равно наплюй... покорно благодарю... не согласен... ты слышишь... не слушай... ну как... это же не печка какая... это машина... господи помилуй... ну как же... о, о, о... ох Христос воскрес... теперь встре-

чают... я на могиле Христа... а где-то лежу... я конторщиком итти не хочу... все мрачные какие-то...

5.

В Женеве был праздник эс-эров. У кресла Гоца собрались Чернов, Потапов, Минор, Ракитников, Селюк, Брешковская, Натансон, Бах, Авксентьев, Азеф. Были Швейцер, Каляев, Боришанский, Бриллиант, Дулебов.

У кресла забылись разногласия, склока, неприятности. Перемешались старые с молодыми. Раскаленный успехом Каляев говорил распевным польским акцентом. Стоял взволнованный, покрасневший, с рассыпавшимися волосами. Каляев был похож на Руже де Лилия, поющего Марсельезу.

Многие из старых, потертых членов партии, в душе малосклонных к идеализму, даже не вникая в то, что говорил Каляев, были захвачены. Каляев верил в то, что говорил. Вера была фанатична, страстна, красиво выраженная, она сковала слушателей, когда «поэт» нервно жестикулировал правой рукой:

— Мы не можем, не смеем верить перепугавшемуся правительству, сулящему теперь стране какие-то успокоения! Нет! Мы должны напрячь силы, нервы, чтоб партия бросила в террор новые кадры преданных революции товарищей, чтобы внезапно, стремительно нанести врагу удар, и не затем, чтобы правительство шло по пути реформ, в который не верит само и которому не верим мы, а затем, чтобы ударами, взрывами бомб, разбудить страну, встряхнуть ее, чтобы террор против ненавистного правительства стал массовым! Пусть каждый член партии идет не с речью, не с агитацией, не с литературой, а с бомбой! Ибо вообще социалист-революционер без бомбы уже не социалист-революционер! О, я знаю, недалеко то время, когда разгорится пожар! Когда будет и у нас своя Македония! Когда рабочий и крестьянин возьмутся наконец за ору-

жие! И тогда-то, вот тогда, наступит великая русская революция!

Аплодисменты прервали Каляева.

Сидя с Азефом, обняв его широколапой рукой Чернов стрельнул косым глазом, наклоняясь прошептал в азефово ухо: — Молодость, Иван. молодость, но святая, конечно, святая.

Азефу было тяжело от черновской руки, но надеясь, что Виктор поддержит несколько его предложений, он не освобождался. Чернов снял руку сам, попросил слова.

— Слезы сжимают горло, дорогие товарищи, — заговорил он несколько в нос, протяжным великорусским пеньем, — когда слышишь речь, подобную речи дорогого товарища «поэта»! В особенности потому, что она полна силы и жажды действия, несмотря даже на то, что товарищ только что участвовал в таком сложном и большом деле, как дело Плеве! Верно! Верно! Нам конечно нужна «своя Македония», но не надо только переламывать палку и, поддавшись увлечению молодости, забыв все иное, представлять себе нашу партию, как партию исключительно террористическую! Конечно, глубже пашешь, веселей пляшешь, это так, но надо все же помнить и то, что, как сказал наш великий сатирик, с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой нельзя не признаться! Да, террор нам нужен! Да, террор одна из необходимейших форм борьбы нашей партии, но террор ведь, дорогой товарищ, все же есть мера временная, к тому же террор бывает тройкий: экзальтативный, дезорганизующий, агитационный. И вот тут-то только в согласии с волей ЦК должна действовать наша святая беззаветная молодежь, наша боевая организация! Помните, что ржаной хлебушка калачу дедушка. И не дай бог, если я понял так дорогого товарища, что, мол, он просто напросто влюбился, так сказать, в бомбочку, не дай бог, не дай бог, — затряс рыжей шевелюрой Виктор Михайлович, — это конечно не то! мы не верим правительству в его заве-

рениях, мы поведем террор и не одного Плеве разорвем в клочья, — стукнул по столу Чернов, — но конечно боевая организация должна идти исключительно по воле ЦК партии, действовать только по его указанию. Не увлекайтесь, молодые товарищи, у нас есть программа, есть важнейшие задачи, аграрный вопрос, нельзя всю работу партии свести к террору, от этого надо предупредить, уж псверьте, поверьте, — сладко пел Чернов, обращаясь к боевикам, сидевшим плотной, молодой кучкой на кровати, — поверьте, товарищи, в бомбочку не влюбляйтесь, а к нам прислушивайтесь, вот тогда-то сообща, без особого, так сказать, увлечения и пойдет у нас дело, не велик воробей, а копает горы. только должно среди нас быть полное подчинение воле ЦК.

Никто не придавал значения речи Чернова. Все знали словсточивость теоретика. В общем гуле раздался голос больного Гоца.

— Ну закипятился наш самоварчик! — захохотал, замахал на него Виктор Чернов, затрясши распадающейся по широким плечам шевелюрой.

Гоц говорил горячо. Сказал, что присутствующие боевики принесли смертью Плеве на алтарь революции большую жертву. Что жаль славно отдавшего свою жизнь палачам, всем дорогого Егора Сазонова. Жаль молодого Сикорского. Но лучшей отплатой за них будет вновь наступление на слуг царского режима. И террор, верит он, поднимет действительно новую, большую революционную волну, которая сметет самодержавие. Попутно он поподемизировал с социал-демократами. Но коротко. И закончил возгласом: — Да здравствует БО!

Все прокричали краткое ура. От которого швейцарка-хозяйка изумленно остановилась среди кухни. — «Эти русские рычат, как звери. Совершенно некультурные люди» — пробормотала она.

— А скажите, товарищ Каляев, когда же придет Савинков? Почему он задержался? — говорил Гоц.

— Сегодня вечером. Он задержался в Берлине.

Вечером, оставшись один, сидя в кресле, Гоц думал о грядущей русской революции. Вид его был болезнен. Щеки матовые, руки высохшие, как две кости. Сегодня ярче блестели глаза, блеск их был хорош. Увидев его, жена положила на лоб Гоца руку, сказав:

— Миша, ты себя плохо чувствуешь, ты устал?

Гоц снял со лба руку, поцеловал.

— Вера, — проговорил он, — у партии успехи, нарастает революция, а я как мертвец, как бревно...

— Миша...

— Ну что Миша? Товарищи не замечают этого, даже не думают, не хотят знать, что я страдаю. И они правы.

В это время было слышно, с кем то говорила хозяйка. Раздался стук в дверь.

— Неужели ты опять примешь, Миша? Ведь уж поздно.

В полутемноте стоял Савинков. Гоц не узнал его.

— Можно, Михаил Рафаилович? Не узнаете?

— Боже ты мой! Да идите же сюда!

Сбросив пальто, Савинков быстро подошел к креслу. Они обнялись. На глазах Гоца были слезы. Он не выпускал руки Савинкова, сжимая бессильными больными костями.

— Как рад за вас, как рад, — всматривался в Савинкова, — а знаете, изменились, похудели как будто, да что там, немудрено. Ну садитесь, рассказывайте все, с самого начала, толком никто еще не рассказал. Верочка! Дай нам чайку и закусить что-нибудь!

Савинков рассказывал, как вели наблюдение, как детально знали выезды, как хороша была кухаркой Ивановская, как смело вышли метальщики, как мча-

лись кони, как лежал на мостовой Сазонов, как Савинков не знал, убит ли Плева, как узнал, как уехал, как в Варшаве его не узнала Ивановская.

— Вы были загримированы?

— Нет.

— Так почему же?

— Не знаю. Помню однажды спрашивал я Егора Сазонова, как вы, говорю, думаете, что мы будем чувствовать после убийства Плева? Он говорит, — радость. И я ответил, — радость. А вот...

— А вот?

Брови Гоца сошлись.

— А вот, кроме радости пришло что-то новое, люди не узнают на улице.

— Не понимаю, — резко сказал Гоц, — этого я не слышал ни от Каляева, ни от Доры, ни от Швейцера, ни от Ивана Николаевича. Что же вы чувствуете? «Грех убийства?»

— Нет.

— Так что же?

— Так «что то», — засмеялся Савинков, — неопределенное весьма.

— Опять декаданс, опять ваша героиня, бросившаяся в окно? — заволновался Гоц, ударяя костлявой рукой по ручке кресла. — Что ж вы не хотите работать в терроре?

Савинков не сразу ответил, смотрел в блестящие глаза Гоца, сказал с расстановкой, не стирая улыбки.

— Нет, Михаил Рафаилович, вы не поняли, напротив, я хочу и буду работать только в терроре. Едучи по Германии, я думал об убийстве великого князя Сергея. Как вы думаете, это нужно партии?

— Конечно. Только это трудное дело.

— Дальше в лес, больше дров. У нас уж есть опыт, — улыбнулся Савинков монгольскими глазами. — Я хочу предложить следующим именно это.

— Об этом поговорим еще, — остановил Гоц. — Но дело то в том, что скрипка Страдивариуса так и остается надломленной? Боюсь за вас, Павел Ивано-

вич, ох боюсь! Многое можете сделать, только не пошла бы трещина, не лопнула бы скрипка.

— Сам ломать не буду, Михаил Рафаилович, ну, а если уж она когда сломается, хотя не думаю, так что поделать, такая уж никчемная стало быть была, жалеть о ней нечего.

— Жалеют тех, кого любят, Павел Иванович. Ну да, ладно, — отмахнулся Гоц, — заходите завтра, а теперь «мне время тлеть, а вам цвести», — сказал он, показывая на парализованные ноги. — Идите к Виктору, у него вечеринка, поразвлекетесь, вам нужен отдых.

— Чернов все там же, на рю де Каруж?

— Все там же. Все мы здесь, «все там же».

— Я не про то, — смеялся Савинков, — я очень уважаю Виктора Михайловича, как теоретика, очень ценю его эрудицию, только скучно, знаете, жить на рю де Каруж.

— Ну-ну ладно, зазнались.

8.

В квартиру Чернова Савинков вошел в полночь. Женевцы видели третий сон. Но даже возле квартиры было шумно. В коридор из-за приотворенной двери неслись столбы синего дыма, шумы, крики сплетшихся голосов. Сквозь них выговаривала бала-лаечная барыня. И кто-то пляшущий выкрикивал: — «Скыгарки, мотыгарки, судыгарки, падыгарки».

Савинков увидел стремительно опускающегося в присядке Чернова, с легкостью для грузного тела, выкидывающего короткие ноги.

Забористо наяривала русская балалайка. Пьяный, наголос кто-то закричал неповинуящимся голосом:

— Да здравствует партия социалистов-революционеров!

Вдруг оборвались пляс, музыка, крики. Все бросились к Савинкову. Первый, задохнувшись от пляса телом, бросился Чернов с криком. — Кормилец наш, дорогой! — Савинков почувствовал, как силен Чернов, обнявший стопудовыми лапами, целовавший взасос небритые щеки.

— Ах, ты вот радость то! Товарищи! Чествуем нашего неоцененного, бесстрашного боевика Павла Ивановича! Ура!

Но крик был впустую. Савинкова обступили боевики. Обнимал Каляев. Жал руку Швейцер. Поздоровалась Дора. Савинков прошел с ними к столу. Стол уж устал от вечеринки, не выдерживал бутылок, закусок, цветов, все валилось на пол. Даже голубой чайник с выжженным боком и тот стоял отчаянно накренившись. Когда Савинков садился, из соседней комнаты вынырнула толстая фигура Азефа.

— Иван, как я рад!

— Слава богу, слава богу, — твердил Азеф, обнимая, целуя его.

На них смотрели. Они были герои праздника партии, руководители акта. Но в углу опять раздалась балалайка. Наигрывал бежавший из России, никому неведомый семинарист, влюбленный в гениальность Чернова, охмелевший от женевского воздуха, речей, от близости ЦК.

— Да, дорогие друзья, большое дело, великое дело, святое дело,—обнимал Азефа Чернов, похлопывая по плечу.

— Егора жалко, — гнусаво и грустно произнес Азеф.

— Конечно жалко, конечно жалко и всем нам жалко, но экзистенциальный террор требует жертв и я уверен, что Егор честно и мужественно взойдет на эшафот.

От Чернова пахло наливкой. Кто-то от стола сказал:

— Вы не сомневаетесь в нем, Виктор Михайлович?

— Нисколько, нисколько, уверен, Егор мужественный человек.

Семинарист играл «Во саду ли в огороде». Комната наполнялась тоской и грустью. Сгрудившись у стола, цекисты в синем дыму спорили о связи БО с ЦК. Боевики сидели на диване. Но среди них с жаром говорил только Каляев. Швейцер отпивал сельтерскую. А самой грустной в дыму и шуме была Дора Бриллиант. Она походила на умирающую птицу. Ни с кем не говорила, ее не замечали. Доре казалось все чужим, чуждым. Казалось, люди спорят о чем то смешном и ужасном. А балалайка семинариста наполняла ее тоской.

«Разорвался апельсин
У дворцова моста.
Где ж сердитый господин
Низенького роста».

— Что вы, товарищ, такая грустная?

— Я не грустная. Почему?

— Да я уж вижу, товарищ, у меня глаз ватерпас, — тенорком прохохотал Чернов, похлопывая по плечу Дору.

— Оставьте, товарищ Чернов, — сказала она

Чернов отошел, обняв двух нагнувшихся к столу цекистов, сразу ворвался в спор, быстро заговорив:

— Нет, кормильцы, социализация земли несовместима...

Но уж серел рассвет. В открытое окно навстречу рассвету тянулся дым русских папирос, словно улетаая к горам в шапках снега. Все вставали, шумя стульями. Толпой вышли на рю де Каруж. По русски долго прощались, уславливаясь, уговариваясь. И разошлись направо, налево. Только в дверях еще кивала рыжая шевелюра широкого хозяина. Но вскоре и он запер дверь.

Савинков писал письмо Нине:

«— Дорогая Нина! Последние дни я испытываю чувство тоски по тебе, гораздо более сильное, чем то чувство любви, которое нас связывало и связывает. Может быть это странно? Может это причинит тебе боль? Но это так. Вот сейчас, когда в окна ко мне смотрят женевские горы, а по озеру бегут лодки с какими-то чужими людьми и вдали трубит беленький пароходик, мне хочется одного: — увидеть тебя. Хочется, чтобы ты была со мной, в одной комнате, где то совсем рядом. Чтоб я знал, что я не один, что есть кто-то, кто меня любит, сильно, однолюбо, кому я дорог, потому что я, Нина, устал. Пусть не звучит это странно. Последние события переутомили. Не знаю, когда мы увидимся. Как странно, что у меня есть дочь и сын, которых я почти не знаю. Я хочу постараться, чтоб вы выехали за границу, чтобы мы могли хотя бы изредка видеться и жить вместе. Мне становится вдвойне больней и тяжелей, когда я вспоминаю, что при совместной жизни, я тебя так часто мучал. Но, сейчас я испытываю чувство щемительной, почти детской, необходимости видеть тебя и даже не видеть, чувствовать, знать, что ты вот здесь, в этой же вот комнате, вот тут спишь, вот тут ходишь. Много странного и неясного. Только совсем недавно я понял, что такое одиночество. Наднях я написал несколько стихотворений. Одно из них посылаю:

«Дай мне немного нежности,
Мое сердце закрыто.
Дай мне немного радости,
Мое сердце забыто.

Дай мне немного кротости,
Мое сердце как камень.
Дай мне немного жалости,
Я весь изранен.

Дай мне немного мудрости,
Моя душа опустела.
Дай мне немного твердости,
Моя душа отлетела.

— Или благослови мою смерть».

Напиши мне *poste restante*. Крепко обнимаю тебя и детей

твой *Б. Савинков*».

10.

Как мучился Азеф в эти женевские дни. Три письма получил от Ратаева с немедленным вызовом. Трижды отписался. После убийства Плеве партия не могла бездействовать. Расчет Азефа оказался верен: — в кассу БО потоком шли деньги от лиц, организаций, иностранцев.

Деньги стали волнением Азефа. Он настаивал, чтоб ЦК не касался их. Хмурясь, потея, сопя, соглашался на незначительные отчисления. Но чтоб не было постоянных посягательств, выдвинул план трех убийств, полное руководство которыми взял на себя. Он предложил: — в Петербурге великого князя Владимира, в Киеве — генерала Клейгельса, в Москве — великого князя Сергея.

— Террор необходимо продолжать. Этого требует честь России! — кончил свою речь глубоким, непередаваемым чувством Азеф.

Партия утвердила акты. Великого князя Сергея взял Савинков. Азеф не видел проигрыша. Не было возможности. Он знал, два акта отдаст полиции. Одним подымет себя в партии. Но Азеф не был железный. Это стоило нервов. Он уставал.

Было жаркое начало золотого августа. Придя после заседания, где он, как начальник БО, победил ЦК, Азеф снял пиджак, жилет, крахмальную рубашку и ощутил запах своего пота. Азеф обтер полотенцем желтое, жирное тело. Полуголый лежал на кушетке. Отдохнув, поднялся, сел за стол.

Тяжело дыша от жары, голый до пояса, обдумывал устав БО, гарантирующий ее от контроля ЦК. Медленно придвинув чернильницу, не торопясь, написал: — «Устав Боевой Организации Партии Социалистов-Революционеров». Голая масса могла быть директором мирового треста. Азеф писал:

1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с самодержавием, путем террористических актов.

2. Боевая организация пользуется полной технической и организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную кассу и связана с партией через посредство центрального комитета.

3. Боевая организация имеет обязанность сообразовываться с общими указаниями центрального комитета, касающимися: а) круга лиц, против коих должна направляться деятельность боевой организации и б) момента полного или временного по политическим соображениям прекращения террористической борьбы.

4. Все сношения между центральным комитетом и боевой организацией ведутся через особого уполномоченного, выбираемого комитетом боевой организации из числа последних.

Затягиваясь папиросой в длинном красном, косяном мундштуке, Азеф написал 12 параграфов с примечаниями. Под конец все же устал. Отбросив перо, он сидел за столом жирной, студенистой массой, смотря в одну точку. Он вспоминал розовые ноги.

В квартире на бульваре Распай Любовь Григорьевна с шестилетним сынишкой Мишей пили чай. Миша перемазался в леденцах, смеялся. Любовь Григорьевна обтирала маленькие, грязные пальцы и выставленные мишины губы.

— Ах, глупышка, глупышка, — говорила Любовь Григорьевна, небольшая, стриженная женщина в легких веснушках. В партии Любовь Григорьевна была, активной роли не играла. Не хотел Азеф. А Любовь Григорьевна любила мужа. И никто из товарищей даже не знал, что читанный Азефом доклад «Борьба за индивидуальность по Михайловскому» писала ему жена, Любовь Григорьевна.

Азеф приехал внезапно. С порога, широко разведя руки, он поймал Мишу, высоко подбросив, прижал целуя смуглые мишины щеки. Миша взвизгнув обхватил толстую папину шею, целуя куда попало.

— Папа мой, золотой!

— Что ж ты не телеграфировал, Ваня?

— Да, я случайно.

— Ты наверное голоден, ах ты господи, я сейчас у мадам Дюизен, — зашелестела юбкой Любовь Григорьевна.

Азеф щекочет Мишу усами. Миша заходится хохотом. Усадив на колени, гладит мишину кудрявую голову Азеф.

— Папочка, расскажи, где ты был, что делал? В каких ты был странах? Ну расскажи все! — жмурится Миша и, прищурясь, похож на Азефа.

— Был я далеко, милый, — похохатывает Азеф, — не увидишь.

— Как? А если залезть на Нотр Дам?

— Ха-ха-ха! Ты уж знаешь Нотр Дам?

— Да, там такие страшные куклы и одна, папочка, похожа на тебя, мама сказала, — хохочет Миша, обхватывая папину шею. — Нет, папочка, расскажи что

ты делал? Ты проводил электричество? Ты инженер?

— Ха-ха-ха — целует Мишу Азеф, щекоча усами.

13.

Приготовления к трем убийствам были закончены. Швейцер изготовил динамит с запасом. В дождливый ноябрь, Савинков с паспортом инженера Джемса Галлея выехал на великого князя Сергея, в Москву. Привыкнув к твердому грунту Европы, он с неприятностью думал о трясущихся урядниках, свисающих ногами с мохнатых лошадемок, о сером дожде, грязном небе, о тяжелых сугробах Москвы, о России.

Уголь монгольских глаз зарылся в подлобье. Обтянулись скулы. В обличье жила скука. Словно, увлекшись охотой, из снобизма предпринял англичанин путешествие в страну водки и медведей.

«Или Савинков Романова, или Романов Савинкова», — думал Джемс Галлей, подъезжая к Эйдукунену.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

1.

Сорок сороков московских церквей затонули в голубых сугробах. Зима была суровая, снежная. Уж в ноябре стояли сумасшедшие морозы. Ругались московские извозчики. Пар дыханья коней шел к небу вертикально, словно у коней загорелись внутренности. В кривоколенных тупиках, переулках дворники грелись, постукивая голицами, притоптывая подшитыми валеными у разведенных костров.

Снежной Москвой правил великий князь Сергей. Худой, высокий, с холодным лицом, стеклянными, не видящими глазами. Лицо не меняло выражения.

Только в гневе перекошалось и тогда Сергей становился страшен. Великий князь был искренен. Он считал народ канальями, которых надо драть до рубцов. Интеллигенция казалась бешеными собаками, которых надо вешать. И вся Россия в представлении князя была громадным собачьим двором со множеством собачеев. Белый, длинный, как шест, по залам дворца ходил генерал-губернатор.

2.

К дворцу подъезжали великокняжеские ковровые сани. Нельзя было узнать, кто ехал. У николаевской шинели ехавшего был слишком высокий воротник. Это подъезжал помощник великого князя полицмейстер Москвы, генерал Д. Ф. Трепов.

Великий князь Сергей был недоволен многим. Раздражала слабость царя. Начавшееся влияние Витте. Сердили даже тридцатиградусные морозы и богомольность жены.

В кабинете дворца генерал-губернатора они сели вдвоем. Трепов чернявый, живой красавец, каких рисуют на картинах форм русской армии. С глазами похожими на сумасшедшую ночь. Конногвардеец был груб, говорил резко, в мужской компании пересыпал речь матерной бранью. Был гораздо ниже Сергея, мускулистее. Трепов не умел думать. Любил рысаков, натертый паркет, кофе после обеда, волчью облаву и женщин.

Великий князь женщин не любил. Его волновали юнкера. Поэтому великий князь всегда был нервен. Княгиня ненавидела его лакеев адъютантов, офицеров для поручений. Чтобы спастись от нелюбви худого, необыкновенно высокого, со всеми обнаженными костями человека, великая княгиня Елизавета впадала в ханжество. Она пугалась напряженного взгляда стеклянных глаз, когда они останавливались на ней. Зная их жестокость, княгиня в комнате, похожей на

часовню, молилась, бия поклоны. О чем молилась? Странно было б узнать. Едва ли красивая, но с потухшим лицом, сама княгиня Елизавета знала свои молитвы и силу их. Она тайно любила великого князя Павла.

Не горбясь, Сергей сидел, чертя на бумажке незамысловатый орнамент. Иногда отрывал голову, оставливал стеклянные глаза на красивом лице генерала Трепова. Все отворачивались от стекла глаз. Но бешеные, ночные, со слезой, глаза Трепова отвечали нетерпящимся взглядом.

— Вам немедленно надо ехать в Петербург, ваше высочество, добиться доклада государю. С этимч затеями Святополка и виттевщиной надо кончать и показать им, где раки зимуют! Меняние внутреннего курса — гибель. Оно только на руку революционерам. Есть данные, что после убийства Плеве эта сволочь вообразила, что мы перепугались. Теперь они, конечно, не остановятся перед новыми убийствами, надо знать этих собак!

— Собак, — бескровными губами сказал Сергей, — я знаю достаточно, Дмитрий Федорович. — Князь показал ряд острых, больших зубов, походя на поджарого, белого волка.

— Надо разгромить, — говорил Трепов. — На кого толкает эту сволочь курс мягкого стеления? На тех, кто вели иной курс, не на Витте же? А на вас, ваше высочество, на меня, на других. По сведениям петербургского охранного надо ждать оживления у террористической сволочи.

— Вам об этом докладывали?

— Есть доклад заведующего заграничной агентурой Ратаева. Рачковский уверяет, — засмеялся Трепов полнокровным, барским баритоном, — что де их боевые силы у него в руках, теперь де ничто не может случиться, будто есть крупная провокатура, но ведь, ваше высочество, эта бестия лижет зад у Витте. Вы можете ему верить? Лопухин тоже уверял, что террор невозможен, да что, перед смертью Плеве сам говорил,

что держит террористов вот где, — сжал поросший черным волосом, крепкий кулак Трепов. — Незамедлительно езжайте, ваше высочество, государь вас послушает.

— Я знаю, Дмитрий Федорович, — проговорил князь, отбросив карандаш в серебряный стакан, где стояли ручки, карандаши, разных цветов и калибров. — Говорят, Фридрих Великий перед смертью устал управлять рабами. Я не устал, — улыбнулся слабо очерченными губами Сергей, — правда, нашими рабами управлять становится трудно, Витте хочет взять царя страхом перед революцией, но увидим еще...

Великий князь странно засмеялся. Лучи солнца заливали янтарный паркет, рассыпались по полу и освещали половину корпуса князя.

— Какая зима, — протянул князь, — как вам нравится, в ноябре 26 градусов? Чорт знает что.

— Холодище.

— Вы были у княгини?

— Никак нет.

— Пройдите, она будет вам рада. А завтракать будем вместе.

Рассказав о волчьей облаве в своем имении «Навля», Трепов зазвенел шпорами, шедшими к грузноватостроичному телу. Он пошел на половину великой княгини Елизаветы.

Сергей сидел неподвижно в кресле. Большие настенные часы начали наигрывать интересную мелодию, после которой томительно и длинно стали отбивать удары.

Сергей зевнул, в том похожим на волчий.

Над Москвой стояло нерасплывающееся в голубом небе солнце. Тянулись тысячи дымов из труб. Савинков ехал с Рязанского вокзала. Отвыкший от русской зимы, он зяб и кутался, закрывая уши широким швейцарским кашне.

3.

В гостинице «Княжий двор» было все, как обычно, скучно. Швейцар в синей поддевке. Золотые рамы зеркал, в грязных точках. Черная доска с грифельными фамилиями. Савинков шел за коридорным, ощущая вечную тоску русских гостиниц. Истертый, плюшевый диван, на котором чего только не было, несуразное трюмо, кувшины с порыжелой водой.

Коридорный внимательно разглядывал иностранца.

— Паспорт прикажете сейчас прописать?

— Да, сейчас, — глядя вокруг, Джемс Галлей тосковал. Почти брезгливо вынул паспорт с красной печатью английского короля и подписью лорда Ландстоуна и протянул коридорному вместе с крупным рублем, изображавшим Николая II.

Коридорный, выходя, отвесил поклончик.

4.

В это время террорист московской группы Борис Моисеенко поднимался темным, узким ходом на колокольню Ивана Великого и от вышины лестницы у него дрожали ноги. Террористы не знали еще, в каком дворце генерал-губернатор. Сторож, казавшийся старше храма, в стотысячный раз поднимался вместе с Моисеенко.

С Ивана Великого в золоте солнца и голуби небес зарябила Москва. Старые щеки, не глядя вниз, за полтинник шамкали о гордостях русской столицы. Дрожавшей, старой рукой сторож указывал молодому человеку: — Воробьевы горы, Кремль, Москва-реку, Сухареву башню, Каланчевскую площадь. Только когда стали было спускаться, Моисеенко сказал:

— А где, дедушка, великий князь живет?

— Хнязь? На Тверской на площади, вон церква-то, Страстной монастырь, от нее возьми малость влево.

— Так, так. Хорошо поди живет, дедушка, а? — спускаясь, говорил Моисеенко.

— Знамо хорошо, зачем ему плохо жить.

У Моисеенко дрожали колени, от вышины колокольни Ивана Великого.

5.

Парень в овчинном полушубке, в смазных сапогах, у Драгомиловской заставы у заезжего маклака торговал карюю кобылу. Кобылка была шустрая. Когда на проводке свистал маклак кнутом, кобыла рвалась из рук, била задом, вскидывала передом, маклак приседал на карачки, чтоб удержать в поводу кобылу.

Каляев ничего в лошадях не понимал. Но кобылка понравилась, явного изъяна не было и, вытаскивая из овчины полушубка платок, развязывая деньги, передавая маклаку 90 рублей, проговорил:

— А как звать-то ее?

— Чать не по имени отчеству, — заворачивая деньги в газету, засмеялся маклак, — зови, мол, Каряя.

Каляев стал звать кобылу — «Каряя». На извозчиьем дворе не было извозчика, кто бы так ходил за лошадью, как Иван Каляев. В две недели из мохнатой, ребрастой лошаденки вышла ладная кобыла. Низким ходом на зависть любому извозчику носила «Каряя» по Москве легкие сани, не в сравнение с меринном Бориса Моисеенко «Мальчиком».

«Мальчик» был никчемушный мерин, поджарый, плоского ребра, с сведенными ногами, густо налившимися сквозными наливками. Он смешно бегал по Москве, вприпрыжку, от шпата высоко подбрасывая левую заднюю. Не Моисеенко не лихач. Ему по Москве не носиться. «Мальчик» тихо стоит на Тверской площади против дворца генерал-губернатора.

Прохожие редко нанимали «Мальчика», уж очень плох голенястый мерин. Разве кто, чересчур заторопясь, крикнет: —

— Извозчик, свободен?!

Услышит в ответ глухой голос необорачивающегося извозчика.

— Занят.

6.

В пестро-крашеной будке стоял часовой. Отъезжают, подъезжают ко дворцу сани, кареты. Выбегают из подъезда в черных шинелях на красных подкладках, в серых николаевках, разлетающихся по ветру. Но кареты великого князя Сергея нет.

А какой мороз закрутил в Москве на Тверской площади! От мороза резво едут кони. Переминается медленно «Мальчик». Не греет рваное рядно. Хлопает голицами Моисеенко. Но рысью въезжает на площадь каряя кобыла. Извозчик в синем армяке с серебряными пуговицами, в красном кушаке, с подложенным задом, осадив валкую рысь, становится на площади. И «Мальчик» трогает, с трудом разминая на морозе сведенные ноги.

7.

Первый раз вымахнула карета великого князя ночью. Увидал ее Иван Каляев. Какие рысаки! Как процокали по обледенелым торцам, словно кто-то проиграл по белым клавишам. Ацетиленовые фонари ослепили. Вихрем, как смерч, пронеслась карета с темным эскортом казаков. Но долго дымились ацетиленовые глаза кареты великого князя Сергея.

«Стало быть верно сказал сторож Ивана Великого, не за Николаевским и Нескучным, а за дворцом на Тверской надо вести наблюдение». Каляев тронул с площади.

8.

Савинкову скучно, от одиночества, и еще от чего-то. Что это такое? «Ерунда с музыкой», — определяет

Савинков. В номерах «Княжьего двора» ходят неповоротливые мамыши из провинции за руку с детьми. Детей водят в Грановитую палату, к царь-пушке, царь-колоколу. Опиваются в «Княжем дворе» чаем стриженные в кружалы костромские купцы. Сосут чай с блюдечка. И кажется Савинкову все российской сонью и дурью, а царь-пушка грандиозным росчерком этой же вот самой российской дури.

Но и Джемс Галлей иногда гуляет Кремлем. Думает: не встретит ли случайно карету великого князя Сергея. Хотя, до сих пор не встречал. И пройдясь Москвой, купив новую книжку стихов у Сытина, Джемс Галлей возвращался в «Княжнй двор», дожидаться вечера.

Трудно ждать вечера. Джемс Галлей от скуки читает «Апокалипсис», думает о князе Сергее: — «Если б убил его рабочий, поротый мужик, иль битый солдат, все было б в порядке. Но убью я — дворянин, интеллигент. Почему именно я? Собственно у меня к нему нет даже ненависти. Но смерти его хочу. Я связан с революцией. Правда, связь холодна, может быть в том невязка, что не горю, как Егор, Янек, а убиваю спокойно, может от скуки, а может и нет».

9.

Трактир Бакастова у Сухаревой Башни был похож на «Отдых друзей» на Сенной. Это был извозничий трактир, хороший тем, что были в нем грязные «отдельные кабинеты», в которые можно было проходить со двора. Элегантный барин в бобровой шубе с палкой с серебряным набалдашником мог свободно сидеть тут с поддевочным русским человеком.

— Видел! Ночью, понимаешь, видел, вырвалась из ворот, совсем близко, с ацетиленовыми фонарями, таких фонарей ни у кого в Москве нет.

— А охрана?

На столе стояла закуска, водка, несколько бутылок пива, про-запас, чтоб не беспокоить полового.

— С казаками проехал, к Кремлю.

— Стало быть сторож с колокольни в курсе?

— Ну да. Я волновался, чорт знает как.

— Стало быть уьем.

Савинков налил рюмку, выпил, закусил вывертывающимся из-под вилки крепким огурцом.

— Янек, после убийства я узнал что-то, чего до убийства не знал. Скажу, все как-то странно, ей богу странно, словно старичек даром не прошел,—закашлялся Савинков, — умер, а что-то оставил на мне, во мне, чорт знает где.

— Ты говоришь о грехе?

— Ни-ни, как раз обратное. Раньше, когда я никого еще не убивал, чувствовал, что убить грех, было такое ощущение. А теперь вот именно этого ощущения нет, сплыло.

Савинков налил пузырчатую рюмку.

— Понимаешь, как-то внезапно вышло все по Верлену: „Je perds la mémoire du mal et du bien“. Мне как-то Гоц говорил, что его внутренней жизнью правит категорический императив Канта, а вот мой категорический императив — воля БО. И все. И ничего больше. Я сказал Гоцу, а он, — это, говорит, моральное язычество. Перед тем как кокнуть старичка — улыбался Савинков, — вот перед этим была какая-то вера в наше дело, в террор, в революцию, а после... — Савинков развел руками, — не пойму, стерлось, понимаешь, вот самая эта тончайшая грань стерлась, перестал понимать, почему для революции убивать хорошо, а для контрреволюции, скажем, дурно? Больше того — для партии убить надо, а для себя почему-то никак нельзя? — Савинков захохотал с хрипотцой голосом размоченным водкой, сводя на Каляеве узкие горячие глаза.

Каляев сидел, подавшись телом к Савинкову. На бледноватом, нежном лице был даже как бы испуг.

— Не понимаю, — проговорил он. — Ты говоришь: убить надо, не надо. Да, дорогой Борис, убить никогда не бывает надо; ведь мы убиваем только лишь для того, чтобы в будущем жить культурно, жить именно без этого проклятого террора. Убить никогда не бывает «надо», только когда за убийством большая любовь, великая любовь к человечеству, к правде, к справедливости, к социализму, к свободе, к человеку как брату, только тогда можно убить, и мы, выходя на террор, не только ведь убиваем «их», мы убиваем себя, «свою душу» отдаем на алтарь идеи.

Савинков засмеялся.

— Ну вот, стало быть я ее уже отдал.

— Не смейся, — взволнованно проговорил Каляев, — это больно.

— Прости, Янек, дай скажу, ты дитя, ты ребенок, и это вот твоё принесение жертвы, как у Егора, как у Доры, по моему просто ваше биологическое, так сказать, назначение. Понимаешь? Мне например начинает казаться, что все эти слова о правда-справедливостях, идеях-идеалах, о социализме и прочих фаланстерах, все это — у вас, лучших боевиков, прикрывает иступленную жажду жертвы, как таковой. Ну, если б вот у нас, например, сейчас было не самодержавие, а социализм и рай на земле, то ты все равно бы нашел какую-нибудь идею и принес бы себя ей в жертву.

— Неверно! — страстно перебил Каляев.

— Да, да, — говорил Савинков, — смотрю на тебя, люблю тебя, Янек, но кажется, что другой жизни, другого дела, чем «отдать жизнь» у тебя нет, даже быть не может. Акуратно получать жалованье ты не можешь не только теперь, но даже и при наступлении социализма. Ты и там принесешь жертву, но какую-нибудь другую, такая уж твоя биология, рожден жертвенником, вот что я чувствую, Янек. Ты говоришь, народ, социализм, хорошо, ну а что же это за народ? Ведь это, милый мой, миф! Ведь вот этого lacking, который нам подавал, ты не любишь? А кого же

ты любишь? Ты жертву свою любишь, свою сумасшедшую идею, из-за нее и бьешь Плеве.

На лбу Савинкова надулась толстым червяком жила, перерезавшая лоб пополам, глаза горели злым монгольским огнем.

— Ты мистик, Янек, ты религиозен по своему, и живешь для смертного своего часа, в этом все твое оправдание. А я, Янек, человек другой биологии, я люблю жизнь, Янек, — проговорил страстно Савинков, — у меня все было ясно, а вот старичек помешал, спутал карты, подтолкнул в моей любви к жизни, легонько так подтолкнул, любишь? говорит, убил меня за то, что жизнь любишь, сознайся, говорит, за это ведь убил? ну так и люби дальше, шире, разгонистей, люби во всю и не меня только бей, а кого хочешь, потому что не все ли равно, как и для чего убивать, если в конце концов мы все равно сдохнем.

— Ты лжешь, Борис!

— Ми-лый, Я-нек! — проговорил Савинков, нагнувшись обнял его и поцеловал, — ну конечно лгу! конечно, это спьяну я, ты прав, — Савинков смеялся. А кончив смех, сказал:

— А у тебя, Янек, старичок ничего не оставил? а?

— Что оставил, смою своей кровью и кровью нового палача нашего народа. Для меня святыней горит Россия и социализм. Я иду на этот огонь и отдаю себя радостно. Верь, Борис, наше место недолго останется пустым, наши смерти — почки грядущих цветов.

— Понимаю, ты именно «отдаешь» себя, как женщина, не спрашивая ни о чем, может для мук, но в том-то и сладость, что отдаешь. В тебе — исступленная женственность, Янек. Но тебе я не завидую, а есть люди, которым завидую.

— Егор?

— Иван, — сказал Савинков, улыбаясь углем глаз.

— Азеф?

Савинков кивнул головой: — Ты больше думаешь, Янек, о том, как ты умрешь, а не как убьешь. А он — обратное. У него душа неседая. Даже души нет, встав-

лена революционная машина. Домашняя гильотинка. Рубит, а он пальцами отстукивает, счет ведет. Жить ничто не мешает. Ни старичек, ни гибель товарищей. Вот я веду одно дело. А он? Целых три. И задумывается только над тем, чтоб быстрее, верней убить всех трех. Ничего больше. Концы в воду. Все на мельницу революции. А там видно будет.

— Иван Николаевич по душе мне чужд, — сказал Каляев. — Я его уважаю, даже люблю, за то, что он наша большая сила, сила революции, без него б не осуществилось то, что рвет трон, сотрясает государство, подымает революцию.

— Ты ребенок, Янек, милый ребенок, ты его «уважаешь», «любишь даже», а он пошлет тебя на смерть, тебя разорвет в клочья, и он даже не почешется, завтра забудет.

— Идущие не обращают вниманья на падающих, Борис. Если б он оплакивал каждого из павших товарищей, как оплакивают некоторые он не мог бы вести дело БО. Ты подумай только, какая ответственность? Какая тяжесть на Иване Николаевиче?

— Да, да, — сказал Савинков, прислушиваясь к граммофону за стеной. Сквозь хохот многих голосов там пело граммофонное сопрано. Оба несколько минут просидели молча.

— Ты говорил, что в Женеве писал стихи?

— Писал, — смутившись сказал Каляев.

— Прочти?

— Тебе не понравится.

— Почему? Как называется?

Каляев улыбнулся детски. — Не знаю еще, может называться «Пусть грянет бой».

— Должно. Стихи должны называться коротко.

— Можно придумать другое.

Каляев стал читать отчетливо и тихо:

Моя душа пылает страстью бурной
И грудь полна отвагой боевой.

Ах, видеть лишь свободы блеск пурпурный,
Рассеять мрак насилья вековой!
И маску лжи сорвав с лица злодея,
Вдруг обнажить его смертельный страх,
И бросить всем тиранам не робея
Стальной руки неотвратимый взмах!
Довольно слез! Пусть грянет бой победный!
Народ зовет — преступно, стыдно ждать!
Рази ж врага, мой честный меч наследный,
Я весь, весь твой, о родина, о мать!

Облокотясь на стол, Савинков слушал.

— Последнее четверостишие слабо, — сказал он,
— а два первых хороши. «Меч наследный» плохо.

— Я не нашел рифмы, — засмеялся, захлебываясь, Каляев. — Прочти свое.

— Тебе мое не понравится.

Савинков прочел стихотворение, посланное Нине:

«Дай мне немного нежности,
Мое сердце закрыто.
Дай мне немного радости,
Мое сердце забыто».

— Отчего оно может мне не понравиться? Наоборот, мне очень нравится, — сказал Каляев и помолчав добавил: — знаешь что, Борис, ты талантливее меня.

Когда дымы перестали уходить в небо, когда Москва погасла и стали раздаваться дребезги городских, оба вышли с темного двора трактира и, прощаясь, обнялись в воротах.

10.

Малейшую ухабину видел с козел кучер Андрей Рудинкин. Ацетиленовые фонари взрывали снежную темь. Великокняжеская карета мчалась с Николаевского вокзала. Сергей возвращался из Петербурга,

после доклада императору о принятии курса твердой власти. Каланчевской, Мясницкой, Никольской мчалась великокняжеская карета. Она была больше кареты Плева. Старинная, немецкой работы, с бронзовыми изогнутыми змеями вместо ручек. Желтыми спицами. Ярким гербом. С сероватой шелковой обойкой внутри. Козлы были широкие. Так что кучер, несмотря на тяжкий вес, сидел несколько с краю. Рядом неизменно ездил любимый лакей князя Оврущенко.

Жеребцы были не вороные, как дьяволы Плева, а темносерые. Невысокие, вершков трех, но ладные, широкогрудые, крепкоподпружные, шли маховым низким ходом. Левый «Жар» трехлеткой на московском ипподроме ставил верстный рекорд и правому «Вихрю» трудновато было в паре с «Жаром». Рудинкин не пускал их поэтому врезвую. Жеребцы ехали ровным махом ко дворцу генерал-губернатора.

11.

Каляев знал уже все. Ночью: — ацетиленовые фонари. Днем — белые возжи, желтые спицы, широкий кузов, герб, черная борода Рудинкина. Даже карету княгини не смешал бы с князевой, потому что сытый, словно молоком мытый, Андрей Рудинкин возил только Сергея.

Дора приехала из Нижнего-Новгорода, где хранила динамит московской группы. Террористы замыкали жизнь Сергея динамитным кольцом. Казалось, жизнь его уже на исходе.

Написав письмо, Савинков лежал на диване. У дивана стояло кофе. Савинков пил кофе с бенедиктином, думая о смерти Сергея. Потом он оделся, вышел из «Княжьего двора». У гостиницы, закутавшись в отрепья, сидели нищие. Ветхий старик и старуха. Савинков кинул им двугривенный. Распушивая толстый хвост под ударом возжи, за «Княжий двор» промчал

серый лихач толстого господина, с головой закутавшегося в играющую серебром оленью доху.

Ослепительно горели кресты московских церквей. От мороза, молодости, здоровья, снега было радостно идти на Тверскую площадь на явку с Каляевым.

Но более часа по площади ходил Савинков: — ни Каляева, ни Моисеенко не было. Савинков не радовался морозно-голубому дню, несшейся в дне жизни города. Охватило волнение за дело и товарищей. Возвращаясь, возле гостиницы он обернулся на оклик:

— Прикажите подвезти, барин!

На скрючившем ноги «Мальчике» стоял Моисеенко. Савинков сел. Ни седок, ни извозчик не говорили, едучи в сторону Савеловского вокзала. Только когда «Мальчик» стал уже уставать, в глухом Тихвинском переулке Моисеенко перевел его на шаг и обернулся.

— Читали заявление московского комитета? — взволнованно проговорил он.

— Какого комитета? Почему ни вас, ни «поэта» нет на площади?

Моисеенко сунул Савинкову квадратную бумажку:

«Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы их казнить.

Моск. ком. партии с. р.»

— Чорт знает что, — в бешенстве бормотал Савинков, разрывая бумажку.

— Вы понимаете, — волновался Моисеенко, — комитет готовит на Сергея одновременно с нами? понимаете, какая ерунда? Они сорвут дело. После их заявления Сергей уж уехал из дворца, мы три дня голяем по Москве, не можем выследить, где он. — Мо-

исеенко сел на козлах, как следует, надо было выезжать на Новослободскую.

Савинков от злобы сжимал кулаки.

— Сволочи, — бормотал он, — эти «наследники Михайловского» конечно не убьют, а у нас сорвут дело.

Они выехали на Новослободскую. Улица была пуста. Шли улицей рабочие. Обогнали их. Моисеенко повернулся на козлах.

— Павел Иванович, вам во что бы то ни стало надо повидаться с комитетчиками, иначе погублено дело. Ведь они не знают, что мы здесь.

— Уж три дня, говорите, его нет во дворце? — злобно проговорил Савинков.

— Три.

— Может пропустили?

— Да нет, переехал.

— Какая бестолковщина! Какая ерунда! Как же вы думаете, кто из комитета может вести дело?

— Кроме Зензинова — никто. Надо увидаться с ним и открыть карты.

Савинков не отвечал, соображая, как увидаться с тем самым молодым, влюбленным в него студентом Зензиновым, с которым когда-то жил в Женеве.

— А знаете, сделайте так, — заговорил Моисеенко, — езжайте к Марии Львовне Струковой, Спиридоньевка 10, моя родственница, я знаю, она встречается с Зензиновым и человек надежный. Просите ее устроить свидание. Она сделает.

— Тогда езжайте к этой вашей Струковой сейчас же, — проговорил Савинков. — Тут медлить нельзя. А вдруг эта Струкова откажет?

— Не откажет.

Моисеенко обернул «Мальчика», стегнул. И «Мальчик» запрыгал по Новослободской в обратном направлении.

— А где же «поэт»? — привстав, спросил Савинков.

— Потерял из виду. С ума сходит, носится по городу. Мы с ног сбились.

Они ничего не говорили. «Мальчик» бежал вприпрыжку на Спиридоньевку.

12.

Госпожа Струкова не была революционеркой. Стриженная, похожая на мужчину, любила интересных людей, нравились революционеры. И она помогала им, подвергая себя даже риску.

— Какой-то господин, барыня, фамилии не называет, хочет лично говорить.

— Проведи в кабинет, — деловым басом сказала Марья Львовна, оправившись перед зеркалом, пошла быстрой походкой развевая юбку.

Навстречу встал, светски поцеловал руку незнакомый, изысканный молодой человек.

— Мария Львовна Струкова? — проговорил он, — мы незнакомы, я друг вашего родственника Бориса Николаевича Моисеенко.

— Ах, Бори? Он здесь?

— Нет, его нет. Но, Марья Львовна, я от него к вам, по очень важному делу, только могу ли просить, чтоб разговор и мой визит к вам, — Савинков улыбнулся, как улыбаются светские люди, — остался в полной неизвестности.

— Разумеется, пожалуйста.

— Мне нужно во что бы то ни стало, не позже завтрашнего дня увидаться с Владимиром Зензиновым. Других путей узнать его адрес у меня нет. Прошу вас, устройте это свидание, дело не терпит никаких отлагательств. Дело большое и важное.

— С Владимиром Михайловичем? — глубоким басом произнесла Марья Львовна и лоб изборозвился складочками.

— Да.

Марья Львовна соображала.

— Хорошо, — сказала она, — но где? у меня?

— Нет, Марья Львовна. Завтра в восемь я буду ждать у подъезда театра Корша, там при входе много народу. Пусть вы и Зензинов придете туда. Меня он едва ли узнает, мы давно не видались. Но пусть следит за тем, с кем поздороваются и поговорите вы. Я скажу несколько слов и пойду от театра, он должен идти за мной, вот и все.

Марья Львовна хотела улыбнуться, ей понравился таинственный план, но сдержалась. И хоть назавтра была приглашена на серебряную свадьбу, все же сказала басом:

— Великолепно. Так и сделаем. Я конечно не могу ручаться, сможет ли приехать Зензинов. Но если сможет, так и сделаем.

— Я должен вас предупредить, пожалуйста скажите Зензинову, чтобы он тщательно проверил себя и не привел бы с собой филеров. Если за ним есть слежка, чтобы не приходил ни в коем случае. Он это сам поймет, конечно.

— Да, да.

— Итак, Марья Львовна, — поднялся Савинков, — будем считать наше свиданье оконченным, надеюсь, оно останется в полной тайне.

— Можете быть покойны.

Шурша длинной шелковой юбкой, Марья Львовна проводила Савинкова до двери.

13.

У Корша шла «Свадьба Кречинского». Кречинского играл Киселевский. Москвичи любили Киселевского, валом валили на спектакль. В восемь у театра толпилась толпа. Сновали, барышники. Стояли ряды полиции. Подкатывали извозчики, лихачи, частные сани, кареты. Выпрыгивали шубы, дамские, мужские. Чтобы не мять причесок, дамы были в пуховых платках. Находу открывая сумочки, бежали к подъезду.

Прекрасный рысак захрапел от слишком быстрого осада. Савинков легко выпрыгнул из саней. Походкой элегантного фланера взбежал на ступеньки.

— Партер третий ряд, — подлетел приземистый барышник в каракулевой шапке.

— Не надо, — махнул элегантный господин.

Заметив полную, брюнетистую Марью Львовну в тяжелых соболях, направился к ней с любезной улыбкой. Приподняв бобра, Савинков поцеловал руку:

— Как я рад вас видеть, Марья Львовна.

— И я очень рада, — просмеялась Струкова, не зная что сказать, проговорила: — вы поклонник Сухово-Кобылина или Киселевского?

— Сухово-Кобылина. Прекрасный драматург, но с судьбой убийцы. Вы знаете?

— Да что вы? Не знала. Ну мне пора, прощайте. А вы?

Молодой человек снова снял бобра и поцеловал руку даме в пышных соболях, он пошел, проталкиваясь среди опаздывавшей в театр публики.

Одетый в потертое пальтишко без мехового воротника, в истертую котиковую шапку, Зензинов отделился от стены. Он видел Марью Львовну, говорившую с элегантным человеком. Не слышал, что они говорили, да это и неважно. Но кто этот молодой человек, Зензинов не понимал. «Неужели наш? Эс-эр? Не может быть. Я никогда не видал. И что ему от меня нужно?»

Элегантный молодой человек в бобрах шел быстро. Зензинов ускорил шаг, чтобы поспевать. Молодой человек шел не оглядываясь, уходил слишком далеко.

Зензинов знал, что в Москве за ним слежка. Но прежде чем прийти к Коршу, проделал столько трюков, что сейчас был совершенно спокоен. Слежки не было. Впереди в свете желтых фонарей колыхалась шапка молодого человека, на расстоянии ста шагов.

Молодой человек несколько раз сворачивал в улицы. «Вероятно, хочет выйти на Дмитровку», — ду-

мал Зензинов, ускоряя шаг. «Да, сворачивает именно на нее. Но кто же он? Чорт знает. Впрочем...»

Зензинов увидал, как выйдя на Дмитровку молодой человек замедлил шаг. «Надо догонять». Зензинов подходил вплотную к незнакомцу в бобрах. Теперь, поровнявшись, они сделали несколько шагов. Никто не глядел друг на друга. Вдруг незнакомый сделал еле уловимый знак рукой и тут же отскочив с тротуара на улицу, крикнул навстречу мчавшемуся лихачу:

— Стой!

Лихач осадил большого вороного рысака, разгорячившегося в беге. Незнакомый не сказал ни слова. Оба они подошли к саням. И незнакомый пропустил Зензинова первым. Впрыгнув за ним, он резко крикнул по морозу:

— К Тверской заставе, как следует!

Рысак бросился с места, кидая в передок гулкие комья, понесся стрелой по Дмитровке. «Знакомый голос», — думал Зензинов, но молчал. Он был приглашен, ждал, чтобы заговорил спутник. Но молчал и спутник. Он даже не смотрел на Зензинова. Зензинов сбоку взглянул на укутавшееся в бобры лицо, откидывавшегося всем телом на ухабах незнакомца. «Не знаю. Лицо как каменное. Не русский должно быть. Что за притча?» — думал Зензинов. Но лихач так мчал темными улицами, так гикал — «эй — ахх — берегись!» — так кричал по беговому на разошедшегося рысака, что где тут было думать. Сначала мимо летели освещенные улицы, теперь темные, неосвещенные домишки, и вот почти ничего, какие-то деревья, пошла Тверская застава.

Незнакомый оглянулся назад, придерживая от рвущегося ветра шапку. Оглянулся и Зензинов. В темноте прямой, оснеженной дороги никого. Только они несутся чортовым, разошедшимся летом, словно на ипподроме берут трехверстный приз. И лихач гикает, летит...

— Налево, к трактиру! — закричал незнакомый.

Голос Зензинову показался где-то слышанным. Но рысак уж осел под одноглазым покривившимся фонарем трактира и слышно, как тяжело носит боками рысак, как храпит от сумасшедшего хода.

Незнакомый выпрыгнул первый, сунул лихачу видимо столько, что тот снял только шапку. Зензинов прошел за незнакомым в трактир. И только, когда в отдельной комнате незнакомый снял шубу и бобра с лысеющей головы, он ахнул: — «Да ведь это же Павел Иванович!» Но Павел Иванович молчит. Потирая от холода руки, глазами улыбнувшись незнакомцу, молчал и Зензинов. Каменное, серое, мертвое лицо у Савинкова. Он говорит половому брезгливо и повелительно:

— Дашь два ужина, что у вас есть на ужин? Прекрасно, водки дашь графин и вина, какое у вас есть вино?

— Никакое-с. Вина нету. Только водка.

— Водки и два ужина, да живее!

Зензинов смотрит — диву дается. Как будто он, Павел Иванович, никаких сомнений. А совершенно не он. Это не женевский юноша бежавший из Вологды. Поживший барин с усталым лицом, аристократически растянутым говором, повелительным жестом. «Вот это грим!» — в восторге думает Зензинов.

— Давайте будем кратки, ибо нас могут каждую минуту прервать, — проговорил Савинков. — Я — член боевой организации. Вы — член московского комитета партии. Не так ли?

— Так.

— Вы готовите покушение на Сергея? Неправда ли? Мне это известно. Но я должен вас предупредить, чтобы вы сейчас же ликвидировали все, сняли наблюдение, сняли всех занятых в этом деле людей, потому что, — Савинков сделал паузу, — это наше дело, его веду я и оно близится к концу. По понятным причинам комитет об этом не знал, но теперь я вынужден вам открыть карты, ибо вы уже своим заявле-

нием спугнули Сергея. Он переехал с Тверской площади.

— Разве? — тихо проговорил Зензинов.

— Да. Но он от нас никуда не уйдет. Я уже знаю, что он в Нескучном. Это даже лучше для нас и хуже для него. Теперь вместо короткого пути от Тверской до Кремля ему надо ехать от Нескучного к Калужским и затем к Москва-реке через Пятницкую, Большую Якиманку, Полянку, Ордынку и так далее. Мы убьем его на улице. И убьем скоро. Только повторяю, даете ли вы мне сейчас слово, что с завтрашнего дня вы снимете с него всякое наблюдение. Вы понимаете, надеюсь, это ведь не дело чести, а дело успеха. Кто ведет дело в комитете — вы?

— Да, я. И я могу вам сказать, что конечно с завтрашнего дня мы снимем наблюдение и прекратим все. Мы даже не знали, что боевая в Москве.

— Это меня радует. По крайней мере, я думаю, что наша конспирация несколько лучше вашей.

— Дай бог.

За дверью слышались скрипкие шаги полового. Он внес поднос с засаленными бараньими котлетами и потным графином водки.

— Холодная? — проговорил Савинков тем же брезгливым барским голосом.

— Точно так-с, как же водке зимой да не быть холодной?

— Ладно.

Половой небыстро вышел, скрипя сапогами.

— Это все, зачем вы меня хотели встретить? — спросил Зензинов. — Я хочу сказать, если это все, то может быть лучше, чтобы мы бросили ужин и уехали, ведь судите сами, если нас кто-нибудь здесь увидит, может показаться подозрительным, тому же половому. И тогда...

— Вы хотите сказать — виселица? — улыбнулся Савинков узостью глаз.

— Нет, я хотел сказать, — погибло дело.

— Ах так! Но я думаю, что мы с вами здесь в полной безопасности. И можем смело поужинать. К тому же я живу так уединенно, вижу только с товарищами по делу и то урывками, мне приятно вырваться из кольца конспирации и посидеть с свежим человеком. Роль богатого ирландца не так то уж оказывается легка и весела.

Зензинов ел отбивную котлету, внимательно слушая. Он конечно знал безошибочно, что это Павел Иванович. Но до сих пор Савинков не назвал себя. И это дивило Зензинова. Когда Савинков опрокинул большую рюмку, заедая ее котлетой, Зензинов спросил:

— Скажите, в петербургском деле вы тоже участвовали?

Савинков смотрел пристально, косо разрезанными углами глаз и улыбался.

— Да, — сказал он медленно, — как же.

— Я так и думал. Блестящее дело.

— Трудное, — сказал Савинков.

— Все дела террора трудные.

— Ну как сказать. Наше теперешнее тоже конечно трудно. Но ведь это потому, что слишком высоки птицы. — Савинков резал котлету тонкими барскими пальцами.

Зензинов доел. Дальнейшее инкогнито казалось ему бессмысленным. Он сказал:

— Скажите, ведь вы жили у меня в Женеве, когда бежали из Вологды.

Савинков улыбнулся.

— Вы узнали меня сразу, Владимир Михайлович?

— Какой там сразу! У вас изумительный грим. Я узнал вас только тут, в трактире, да и то первое время сомневался. Вы изумительно перевоплотились в англичанина. Но и сами конечно изменились. Я не видал вас почти два года.

— Да, да, изменился. Конечно.

Опершись руками о стол, Зензинов слушал бесконечный рассказ Савинкова. Савинков говорил тихо,

со множеством интонаций, то понижая голос, то поднимая, о том, как трудно быть и жить боевикам, умирающий боевик отдает свое тело, а боевик живущий душу.

— Вы не поймете, не поймете как это тяжело. Это опустошающе, это ужасно, — прервал рассказ Савинков. Зензинов, глядя на него думал: — «Все тот же обаятельный Павел Иванович, тончайший художественный рассказчик, яркий, талантливый. Какой изумительный человек. Какие силы у нашей партии, у революции, раз такие люди идут во главе — в терроре!»

— Я знаю, что вновь еще раз отдаю свою душу, а быть может, и дай бы бог, свое тело партии и революции, — говорил Савинков, — я знаю, это нелегко, но я отдаю себя делу потому, что слишком люблю страну и верю в ее революцию.

Зензинов взял его руку, крепко пожал.

— Все мы обреченные, — тихо сказал он.

— Но я верю в нашу победу, — ответил Савинков.

— Конечно. Разве без веры возможна наша работа? В особенности ваша, Павел Иванович?

— Да, конечно, — проговорил Савинков. — Ну что же, поедем?

Они встали.

— Стало быть вы дадите мне слово, что с завтрашнего дня комитет отдает нам Сергея полностью?

— Да.

— Прекрасно. — Савинков позвонил вилкой о стакан.

— Получи за все, — бросил половому богатый барин.

Половой, согнувшись у стола, начал было что-то выписывать грязными каракулями.

— Синенькой хватит? — крикнул Савинков, — что останется возьми себе, выпей за мое здоровье!

Половой оробел. Господа наели всего на два с четвертью. Что было ног бросился он к бобровой шу-

бе, сладострастно снимая ее. Но Зензинову не успел. Он сам надел вытертое пальтишко.

Рысак зазяб у подъезда. Уж не раз проезжал его лихач. Ругался матерью на занесшихся в эдакий трактир господ.

— Ззяб? — с крыльца весело крикнул Савинков, — стой-ка брат, разогреем! — Он крикнул полово-му. Половой вынес чайный стакан водки. Лихач только крякнул на морозе, но так, что лошадь вздрогнула. И, когда господа сели, дунул и понесся снег, комки, ухабы, гиканье. Ни говорить, ни видеть нельзя в сумасшедшем лете. Лихач сдержал рысака только когда по бокам замелькали теплые огни московских улиц.

14.

Ни ночью, ни днем не спал Савинков. Все заволклось силуэтом Сергея, взрывом. Явки с Каляевым и Моисеенко шли ежедневно. Все стали нервные, бледные, худые. словно чуя беду, генерал-губернатор в третий раз менял дворец. Из Нескучного переехал в Кремль, в Николаевский. И Каляев и Моисеенко остались теперь по ту сторону стен.

— Волнением делу не поможешь, — говорил Савинков Моисеенко в трактире Бакастова, — сам ночей не сплю.

— Но вы же видите, что наблюдение затруднено, мы не можем ждать его у ворот, да и неизвестно, из каких кремлевских ворот он выезжает. Время не терпит, события кругом нарастают. А наши силы истрепаны. Дора неделю сидит с динамитом.

— Надо немедленно вести наблюдение в самом Кремле.

— Я уже пробовал вчера, стоял у царь-пушки, но там задерживаться нельзя. Прогоняют.

— Лязь или нельзя, надо вести.

На следующий день драный ванька на «Мальчике» въехал Спасскими воротами в Кремль. Въезжая снял шапку, перекрестился. И доехав до царь-пушки, встал.

Городовые не обратили внимания. Простояв с час, ванька поплелся двором, выехал Китайскими воротами. Потому что въехала в Кремль каряя кобыла. И извозчик стал лицом к дворцу.

Савинков бледнел, чувствовал себя плохо. Временами охватывало острое возбуждение. В этот день он сидел в комнате Доры. Почти две недели, как приехала Дора с динамитом из Нижнего. Ждала. И казалось, что никто из товарищей не понимал ее мук. Она была права. Глаза Доры становились печальнее. Дора чаще молчала. Если б Алексей был здесь, Дору б не забыли, ей бы дали место в БО которого хочет, без которого нет жизни. Но Дора на пассивной работе. Ей не дают, чего хочет Дора: — убить и умереть.

— Ах, дорогая Дора, теперь только одно желанье. Понимаете, — говорил Савинков. — Я забыл, что у меня мать, жена, товарищи, партия, все забыл, Дора, ничего нет. День и ночь вижу только — Сергея. Сижу на его приемах, гуляю с ним в парке, иду завтракать во дворец, еду по городу, вместе страдаю бессонницей, знаете Дора, это переходит в кровавый идефикс и может кончиться сумасшествием. Но поймите, Дора, что потом, если нас с вами не повесят жандармы, что может случиться каждый день, каждую минуту, ведь достаточно только неосторожного шага или дешевенькой провокации, потом, Дора, когда мы все это, даст бог обделаем и генерал-губернатор будет на том свете, а мы с вами приедем в Женеву, ведь никто, ни Чернов, ни Гоц, ни даже Азеф не поймут, чего это

стоило! Чего это стоило нам! Никто даже не захочет поинтересоваться. Убит. Ура! Ну а мы-то, Дора? А? Разве это так уж просто?

— Надо кончать скорей, — проговорила Дора.

— Бог даст кончим.

— Вот мы все вместе работаем в одном деле, для одной идеи, — тихо начала Дора. Савинков ее остро слушал. — А какие все, ну решительно все разные. Ни один не похож на другого. В мирной работе партии, там, мне всегда казалось, один как другой, другой как третий, все по моему одинаковые.

— Это верно и тонко, Дора.

— А тут, вы, например, и Иван?

— Ну что я и Иван? — поднялся на локте с дивана Савинков.

— Вы совсем разные.

— В чем?

— В себе разные. Иван без колебаний, расчет и логика. С ним работать легко. А вы сплошное чувство, да еще переполненное вопросами. Вы даже не человек чувства, а какой-то острой чувственности. Все всегда залито сомнениями, специфическими вашими теориями, чем-то непонятным. С вами трудно работать. Вы не даете цели, не ведете к ней. Вы сами ощупью идете, щупаете руками, с закрытыми глазами. А, Иван Николаевич, все видит и ясно показывает.

— Хо-хо, Дора! — притворно засмеялся Савинков, — не думал, что в вас так много наблюдательности и даже «философии»!

— «Поэт» тоже другой. Швейцер тоже совершенно другой.

— И вы Дора — совсем другая, неправда ли?

— Наверное.

— Все мы совсем другие. Этим-то и хороша жизнь. Потому-то я и ненавижу серую партийную скотину, которая, разиня рот, слушает Виктора Михайловича и ест из его уст манну.

— Вы слишком резки, Борис, это ненужно. У вас нет любви к товарищам.

— Кого? Любить всех товарищей? Это значит никого не любить, Дора.

17.

В девять они ехали. Вез Каляев. Сворачивали к окраинам Москвы. Когда улица обезлюдилась, Каляев повернулся на козлах. В желтом свете редких фонарей еще резче чернела худоба Каляева. Его глаза ввалились, щеки обросли редкой бородой. Каляев был похож на истомленного постом монаха. Профиль был даже жугок.

— Янек, — сказал Савинков, — дальше наблюдение вести нельзя. У нас сил нет. Мы хорошо знаем выезды. Надо кончать. Как ты думаешь?

— Да, — сказал Каляев. — Лучше всего метать, когда он поедет в театр. Он теперь часто выезжает. В газетах объявляется о выездах.

— Продавай лошадь, сани и на несколько дней выезжай из Москвы, тебе надо отдохнуть. Мы останемся здесь. Перемени паспорт и возвращайся к 1-му февралю. Тогда кончим.

— Это верно, надо отдохнуть, я очень устал, — сказал Каляев, — чувствую, нервами как-то устал, иногда даже кажется, что не выдержу. Я уеду. А к 1-му буду здесь. Ты веришь, Боря? а? Я уверен. И знаешь, — загорелся Каляев, лошадь шла тихим усталым шагом, — ведь если «Леопольд» в Питере убьет Владимира, мы здесь Сергея, это будет такой им ответ, ведь это почти революция. Жаль, что может быть не увижу ее, — проговорил, также внезапно поникая, Каляев. — Хочу только одного, чтоб товарищи в Шлиссельбурге узнали, чтобы Егор, Гершуни, все узнали, что мы бьемся и побеждаем их...

Навстречу ехало несколько экипажей, Каляев по кучерски поправился на козлах, подтыкая под себя армяк и тронул рысью.

В этот вечер, уступив постель Доре, Борис укладывался на диване. Огня не зажигали. В сумраке номера, освещенного только фонарями с улицы, как темные паруса, белели простыни. Это Савинков стелил на диване.

Когда сел расшнуровывать ботинок, с широким, как морда мопса, носком, Дора уже лежала в постели. Не спала. Слишком много тоски было в этой ночи, чтобы спать. Дора думала: — неужели и теперь товарищи обойдут?

По полу раздались легкие шаги босых ног. Дора видела белую фигуру Бориса. Он прошел и налил из графина воду. Издалека, на улицах барахтались ночные конки. Тишина номера жила полновластно.

Савинков чувствовал, не заснет. Проклятая бессонница. Он думал о Доре. Было странно, раньше Дора не интересовала, как женщина. Худенькая, подраненная птица. Сегодня во время разговора об Иване уловил редко улыбавшиеся губы. Представил Дору заснувшей. Повернулся. Свет окон падал на кровать Доры.

Он встал, пошел к графину. И когда пил, дрожали ноги. Тихими шагами, ставя прямо ступни, почти бесшумно подошел к кровати. Остановился над Дорой.

Дора поднялась на локте.

— Вы что, Борис? — испуганно прошептала она.

— Ничего, — проговорил он и на «го» пересекся глас. — Не спится. Хотел поговорить. Вы не спите Дора?

Он сел на кровать. Дора не поняла. Никогда еще полураздетый мужчина не сидел так близко. Дора слегка огодвинулась.

— Мне тоже не спится, — сказала она. — Это от ожидания.

У Бориса стучали зубы. Дора не слышала. Но увидела над собой острые глаза, показавшиеся злыми и чужими.

— Может быть скоро умрем, Дора, правда? — прошептал Борис сжимая ее руку, голос был необычен. — Ах, Дора, Дора, — прошептал он нежно и его руки вдруг обняли ее и порывисто придвинулось в темноте лицо. Только тут Дора поняла, зачем он пришел. В тишине номера раздался выкрик:

— Уйдите! Сейчас же, уйдите!

— Дора, я люблю, Дора, может быть через три дня...

— Это подло! Я сейчас уйду...

«Глупо» пробормотал, вставая, идя к дивану, Борис.

Но Дора встала с кровати. Он видел в темноте, как она быстро одевалась. «Какая ерунда» проговорил Савинков.

— Выпустите меня, — оделась Дора. — Я не останусь.

— Что вы выдумали? — зло проговорил Савинков. — Я буду выпускать среди ночи? Вы с ума сошли! Номер заперт. И я вас не выпущу. Можете спать совершенно спокойно. Метафизическая любовь к Покотилкову без вашего желанья не будет нарушена.

Слезы подступили к горлу Доры.

Борис сидел, сжав ноги под одеялом.

Ему показалось, Дора плачет.

— Дора, — проговорил он тихо. — Простите, если я оскорбил вас. Я не хотел. Я думал, вы в любви тела также свободны и просты, как я. Вот и все. Не делайте драмы. Выпустить я не могу, вы понимаете. Гостиница заперта. Надо вызывать швейцара. Ложитесь и спите.

Дора сидела у стола, закрывшись руками. Она плакала.

Борис тихо встал, бесшумно пройдя по ковру. Дора слышала его приближение, но теперь она его не боялась.

Подойдя, он взял руку. Рука была в слезах. Борис отнял ее от лица, несколько раз поцеловал. Потом поцеловал ее в голову, тихо проговорил:

— Простите за все, Дора, может быть мы оба через несколько дней сойдем с ума... Прощаете?

Дора не отвечала. Но ее пальцы едва заметно сжали руку Бориса. Она прощала все, но плакала. Борис еще раз поцеловал ее волосы. И прошел к дивану. Он слышал, как Дора плакала, перестала. Прощла к кровати и, не раздеваясь, легла. Дальше Борис ничего не слышал, заснул, провалившись в бездонную черную яму сна. Ничто не снилось ему. Не снилось и Доре, заснувшей в странной, вывернутой, неудобной позе.

19.

Утро белое, спокойное. Снег чуть отливал голубью там, где не было солнца. На солнце горел зимним блеском. Каляев не бывал в Харькове, но все равно где провести дни отдыха. И на обум он приехал сюда.

На улице, казалось, все улыбаются Ивану Каляеву. Было хорошо на сердце от знания, что снаряд мечет он, один, своими руками. Сознание наполняло радостной радостью. А какое утро, белое с голубым отливом!

На главной. Сумской, улице движение было вроде столичного. Шли студенты в черных, зеленых шинелях, обсуждая академические дела. Позвякивая колокольчиком прокатилась конка. Промчался конный отряд казаков. Каляев остановился, глядя вслед: — «Какие хорошие кони!» — думал он.

Каляеву хотелось смеяться. Прохожие видели, как он улыбался. А он готов остановить любого, обнять, говорить о радости зимнего дня. Постояв на Николаевской площади Каляев вошел в «Кафе Островского». Кафе пустовало в утренний час. Лакен с удивлением смотрели на человека, потребовавшего чаю, чернил и бумаги. Каляев писал:

«Дорогая моя! Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно оттаял от снега и льда холодного уныния, унижения, тоски по несовершенном и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной радости изголодавшейся душе. И я радуюсь сам не зная чему, хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны. Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал, вот вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр. Не смейся, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, душе и телу холодно и неприветливо и безнадежно за себя и других, за всех вас далеких и близких. За это время накопилось так много душевных переживаний, что минутами просто волосы рвешь на себе...

Но довольно об этом. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно радостным, веселым как это солнце, которое манит меня на улицу под лазуревый шатер нежно-ласкового неба. Здравствуйте же дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами. Здравствуйте, добрые мои, дорогие, детские глазки, улыбающиеся мне так же наивно, как эти белые лучи солнца на тающем снегу.

Иван Каляев».

Долго, широко, хорошо улыбался Каляев, запечатывая конверт.

20.

Его карюю кобылу давно уж подвязали цыгане к широкой распялке розвальней, вместе с другими лошадьми вели далеко от Москвы. Лошади трусили за розвальнями, запряженными пятнастой белой кобылой с провислой спиной. Когда набегу кусались незнакомые лошади; били ногами, старый цыган кричал

что-то дикое, отчего лошади успокаивались. И тихо бежали за розвальнями.

Но «Мальчик» еще ковылял Москвой. Вместо обычного гарнца получал теперь два. На рассвете долго жевал съеденными зубами, выпуская в кормушку смешанное со слюной зерно, снова подхватывая теплыми, похожими на мухобойку, губами. Его можно было видеть в Кремле. Он дремал у царь-пушки, закрывая старые глаза.

Хозяин был с ним ласковее. Скребницей чеша старый круп, говаривал: — Ты, «Мальчик» молодец, свое дело знаешь. — «Мальчик» косился слезящимся глазом. Словно, чтоб отблагодарить, брал подпрыгивающей рысью от извозничьего двора.

«Мальчик», стоя, спал в Большом Черкасском переулке. Он не знал, что сегодня 2-е февраля и зачем к саням подошел, поскользнувшийся на льдистом тротуаре барин в бобрах.

21.

Восемь часов тому назад, барин звонил по телефону в «Славянский базар», растянутым барским голосом говоря:

— Погода прекрасная, думаю мы сегодня поедem.

— Как хотите, Джемс — ответила Дора. И взволнованно прошла в номер. В нем Дора заперлась. Быстро открыв шкаф, с трудом вытащила чемодан с динамитом. Остановившись от волнения, твердя «возьми себя в руки, возьми себя в руки», начала приготовление бомб для Сергея.

Иногда Доре казалось, кто-то стучит. Она вздрагивала, приостанавливалась. Это был обман, само внушение. В большой фарфоровой, с синими цветочками, посуде мешала бертолетовую соль, сыпала сахар. Наполнила серной кислотой стеклянные трубки с баллонами на концах, привязала к ним тонкой провололочкой свинцовый грузик, в патрон гремучей ртути

вставила трубку с серной кислотой, на наружный конец ее одела пробковый кружок. Дора знала, при падении свинцовый грузик разобьет стеклянные трубочки, вспыхнет смесь бертолетовой соли с сахаром, воспламенит гремучую ртуть, взорвется динамит, а с ним и генерал-губернатор.

Беря большую трубку, Дора вспомнила Покотилова. «Крепись, Дора, возьми себя в руки, возьми себя в руки». К четырем вечера в номере было все прибрано, подметено. Завернутые в плед лежали две десятифунтовые бомбы.

Дора сидела в кресле. Как всегда от динамита пахло горьким миндалем, разболелась голова. Чтоб не поддаться сну, она открыла окно. В комнату клубами повалил белый, морозный пар. Скоро Доре стало холодно. Она надела шубу. В шубе села в кресло с книгой в руке, ожидая стука, который должен быть точно в шесть. Так он и раздался, желанный стук: — два коротких удара.

Савинков вошел заснеженный от езды и мороза, был бледен. Не снимая шубы и шапки, спросил:

— Готово?

— Все.

— Это? — указал он.

— Да.

— Почему у вас так холодно?

— Я отворяла окно.

— Пахло?

— Я боялась заснуть.

— Вы очень устали? — участливо заговорил Савинков, взяв ее руку. — Как мы мучим вас, Дора.

— Почему вы мучите? Не понимаю.

— Вы возьмете или я?

— Лучше я.

— А что вы читали?

— Стихи — смутилась Дора.

— Ладно. Идемте скорей, ждет.

«Мальчик» стоял у гостиницы. Подпрыгивая повез их в Богоявленский. На езде Савинков развязал

осторожно плед, перекладывая бомбы в портфель. «Так будет лучше» сказал он, держа портфель на коленях.

Идя Ильинкой, они видели как отделился от стены, пошел за ними прасол, в поддевке, картузе, высоких смазных сапогах. Прасол нагонял их, поровнявшись, сняв шапку, заговорил с бариним.

Был уже вечер, стлались зимние коричневатые сумерки. Прасол взял у барина тяжеленький сверток, крепко держа его, стараясь не поскользнуться на льду, пошел к Воскресенской площади, через которую полчаса восьмого должен ехать великий князь Сергей на «Бориса Годунова» с Шаляпиным.

22.

Возле здания городской думы, Каляев ходил со свертком. Весь он был во власти жгучей легкости наполнившей тело. Знал, через полчаса, может через час, наступит тот момент, после которого ничего не будет. Будет счастье революции и Ивана Каляева.

Думать становилось трудно. Думал о том, как бы не поскользнуться, не упасть в темноте со свертком. Мостовая была ледяна. Каляев ступал осторожно. Мороза не чувствовал, казалось даже жарко. Вдруг от Никольских ворот, не то сон, не то явь, на мгновение блеснули сильные фонари. Ацетиленовые фонари, Каляев узнал не глазами, всем существом. Забыв о скользкости, он почти побежал им навстречу, лавируя меж ехавших площадью экипажей.

Карета Сергея ехала небыстро. Меж ней и Каляевым оставалось двести шагов. Каляев обогнул последний экипаж. Теперь их не разделяло ничто. Только время. Задыхаясь, глотая холодный ветер, Каляев бежал наперерез карете. Но, ослепляя все на своем пути, прюстучав колесами, карета промчалась мимо.

Сжав сверток, качаясь, Каляев шел медленными шагами с площади. Тело было в поту, ноги дрожали. У Никольских ворот за руку схватил Савинков.

— Что же? Что? — прошептал он задыхающимся шопотом.

— Не мог... дети... — тихо проговорил Каляев.

В ту же секунду Каляев понял, какое преступление совершил перед партией. Они молча шли к Александровскому саду. Каляев бессильно опустился на первую обмерзшую, заснеженную скамью.

— Борис, — проговорил он, — правильно я поступил или нет?

Савинков молчал.

— Но ведь нельзя же... дети...

Савинков сжал руку Каляева, обнял его.

— Правильно, Янек. Дети невиноваты. Но ты не ошибся, были действительно дети?

— Я был в двух шагах. Мальчик и девочка. Но я попробую, когда поедет из театра. Если один, я убью его.

Они долго сидели в Александровском саду. Вставали, уходили, приходили снова. Когда начался театральный разъезд и у подъезда Большого театра заматались лакеи, выкликая экипажи. Замахали, раскричались извозчики. Из дверей повалила, возбужденная музыкой Мусоргского, толпа шуб, дох, боа, муфт. Каляев, замешавшись в толпе, не спускал глаз с ацетиленовых фонарей кареты.

Девочка за руку с мальчиком прошли опущенными ножками. За ними шла пожилая женщина. Каляев узнал великую княгиню Елизавету. Следом шел кровавый генерал-губернатор, высокий, как шест, и на ходу разлеталась его шинель на красной подкладке.

Проводив его взглядом, Каляев ушел с Театральной площади.

Дора ждала в глухом переулке Замоскворечья. Издали она узнала ковыляющего «Мальчика». Савинков взял ее в сани и, молча, передал портфель с бомбами.

— Не встретил?

— Встретил. Но не мог, были дети.

Дора молчала, поправила на коленях портфель.

— Дора, вы оправдываете поэта?

— Он поступил, как должен был поступить.

— Но теперь вы снова будете вынимать запалы, разряжать, заряжать. Может произойти неудача. Вы опять рискуете жизнью и конечно всем делом.

— Мы не убийцы, Борис, — тихо проговорила Дора. — «Поэт» прав. Разряжу и снаряжу без спешности.

Свободной рукой она подняла воротник шубки, мороз щипал за уши.

Они ехали Софийкой. Савинков вылез. Остаток ночи до синего рассвета провел в ресторане «Альпийская роза». Зеркало, к которому несколько раз подходил, отражало лицо мертвенной бледности с провалившимися глазами. Савинков не мог есть, его тошнило. Когда стало светать, выйдя из «Альпийской розы», почувствовал нечеловеческую усталость: хотелось упасть, заснуть.

4-го февраля Савинков и Дора ждали Моисеенко, стоя за портьерой окна.

— Приехал, Дора, одевайтесь, — проговорил Савинков. Он был также бледен, устал, впалые щеки, как у тяжело больного обтянули скулы, глаза обвелись темными кругами, став еще уже. Когда брал портфель, на этот раз с одной бомбой, Дора заметила как дрожат руки. Она торопливо одевала шубу, шляпу.

— Не проезжал еще? — тревожно спросил Савинков.

— До двенадцати нет, — ответил Моисеенко.

— Стало быть успеет. Теперь поедет в три.

— Куда везти?

— Да в Юшков же переулочек! — раздраженно крикнул Савинков. — Поскорей же, нахлестывайте!

«Мальчик», получив два удара, прыгнул галопом. С галопа перешел на возможно быструю, скверную рысь. Такой вихлястой рысью, тяжело дыша, вбежал в Юшков переулочек. Тут у сумрачного дома Моисеенко остановился. Путаясь в полости саней вылезла Дора.

— Вы ждете у Сиу, на Кузнецком, так, Дора?

— Да, да,—проговорила она, не оглядываясь, идя.

На следующем углу в сани сел Каляев, одетый прасолом, в поддевке, картузе, смазных сапогах. Они поехали к Красной площади.

— Янек, — говорил Савинков, — мы должны сейчас же решить, либо сегодня, либо надо отложить дело. Я боюсь, одного метальщика недостаточно. Может быть надо стать вдвоем? Но у нас сегодня один снаряд.

— Что ты говоришь! — возбужденно говорил Каляев. — Никакого второго метальщика не надо! Позавчера я был также один. Ну? И если б не дети, я кончил бы.

Савинков молчал, угнетенно, разбито.

— Ты настаиваешь именно сегодня и ты один?

— Да. Нельзя в третий раз подвергать Дору опасности. Я все беру на себя.

— Как хочешь. Тогда надо вылезать, кажется, — сказал Савинков, оглядываясь, словно они ехали совершенно незнакомым местом.

— Что это, Красная? — спросил он.

— Красная, барин, — ответил Моисеенко с козел.

— Янек, в последний раз, ну а если неудача? Тогда погребло дело?

Лицо Каляева было раздражено.

— Неудачи быть не может. Если он только поедет, я убью, понимаешь?

Моисеенко остановил «Мальчика».

— Приехали, барин, — проговорил он, отстегивая полость.

Каляев вылез со свертком. За ним вылез с пустым портфелем Савинков и кинул в ладонь извозчику светленькую мелочь.

— Я к Кремлю, — тихо сказал Моисеенко.

Савинков не ответил. Они шли с Каляевым по Красной площади. На башне Кремля старые часы проиграли «два».

— Два часа, — сказал Каляев.

— Ну? — проговорил Савинков.

Каляев улыбнулся.

— Прощай, Борис, — сказал он и обнял его. Они расцеловались в губы.

Не обращая ни на что внимания, Савинков смотрел, как легкой походкой, не оглядываясь уходил Каляев к Никольским воротам. Когда он потерял его, пробормотал: «Куда же теперь итти?» Машинально пошел к Спасской башне. Возле башни сгрудились извозчики не могли разъехаться, выбиваясь из сил ругались матерью.

Савинков через Спасскую башню прошел в Кремль. Но вздрогнул: у дворца стояла карета великого князя. Рысаки мотали головами. «Убьет», — и радость залила его. Он быстро пошел из Кремля на Кузнецкий, к Сиу, где ждала Дора.

25.

Он почти бежал по Кузнецкому. Сам не знал почему торопился к Сиу. Предупредить ли Дору, что покушение удастся. Вернуться ли с ней, чтоб видеть. Он сталкивался с людьми. Сердце билось.

Еще не дойдя, услышал отдаленный глухой удар. И остановился у магазина Дациаро, будто рассматривая открытки. «Неужели Янек? Но почему так глухо?»

У Сиу хохотали праздные москвичи, отводящие душу покупкой безделиц на Кузнецком мосту. Фланеры в ярких галстуках пили кофе, ели пирожное. Савинков увидел Дору в глубине. Перед ней стояла чашка кофе.

— Пойдемте отсюда, — сказал он, — странно скаля зубы, пытаюсь сделать улыбку.

Дора поднялась. Взглянув в витрину, она увидела, мимо бегут люди, кто-то машет руками, кто-то споткнулся, упал, тяжелый господин смешно перепрыгнул через него, убегая, за ним вихрем полетели мальчишки.

— Что такое? — спросила Дора.

Публика из кафе бросилась к выходу. Савинков стоял бледный.

— Да пойдемте же.

— Простите, мадам, вы, мадам, не заплатили, — подбежал лакей.

— За что? — спросила Дора.

— За кофе и два пирожных.

— Пирожных я не ела, — сказала Дора, рассеянно шаря в сумочке.

— Кого?! — Что?! — Убило?! — Кого?! — закричали в кафе. Кузнецкий мост залился бегущими, бежали к Кремлю.

Савинков сжал руку Доры, тащил ее сквозь толпу. От Никольских ворот площадь залилась людьми. Все молча лезли куда-то. Толпа, сквозь которую нельзя было пробиться, казалась Савинкову отвратительной.

— Вот, барин, извозчик!

В пяти шагах, у тротуара стоял «Мальчик». Дора была бела, губы сини, она что-то шептала.

— Поедемте на извозчике, — сказал Савинков. Дора не сопротивлялась, тихо шепча — «Янек, Янек».

«Мальчик» медленно продирался сквозь сгрудившуюся толпу. Когда ехали Страстным бульваром, Моисеенко попридержав, повернулся:

— Слышали?

— Нет.

— Я стоял недалеко. Великий князь убит, — чмокнул и стегнул «Мальчика». «Мальчик» дернул сани, Савинков и Дора качнулись. Но не от толчка Дора упала на плечо Савинкова. Дора рыдала глухими рыданиями.

— Господи, господи, — слышал, склонившись меховым воротником, Савинков, — это мы, мы его убили.

— Кого? — проговорил Савинков.

— Его, великого князя, Сергея, — вздрагивая худым телом, рыдала Дора.

Савинков улыбнулся и крепче обнял ее.

26.

В это время четверо жандармов с заиндевелыми усами, скрутив ноги и руки Каляеву, везли его в арестный дом Якиманской части. Он старался кричать — «Да здравствует свобода!» Лицо было безобразно синее. Окровавленный, он полулежал в санях. В сознании смутно несло происшедшее, как виденная, но давно забытая картина. Каляев ощущал запах дыма, пахнувший в лицо. Мимо плыла еще, в четырех шагах, черная карета, с желтыми спицами. На мостовой лежали еще комья великокняжеской одежды и куски обнаженного тела. Потом напирала толпа. А великая княгиня металась, крича: — «Как вам не стыдно! Что вы здесь смотрите!?» — Толпа хотела смотреть куски мяса ее мужа. И напирала.

Возле арестного дома Каляев потерял сознание. Жандармы вволокли его за руки и за ноги.

27.

Вечером Каляев пришел в себя. На допросе ничего не говорил, слабо улыбаясь. Тогда его повезли в Бутырскую тюрьму, в Пугачевскую башню. С Николаевского вокзала в это время уходил скорый поезд.

В купе I-го класса сидел худой господин с газетой. Светски полупоклонившись напротив сидящим дамам, он проговорил:

— Я не помешаю, если буду курить?

— Пожалуйста.

Господин закурил. Как тысяча впряженных в легкую качалку рысаков, поезд мчал, унося Савинкова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

1.

Когда Николаю II-му доложили о смерти великого князя Сергея, он вздрогнул, оттолкнув книгу, чтение которой его захватило. Перед ним стояла императрица.

— Ники, крепись, надо молиться, боже мой, бедный Сергей! Твоим ужасным народом надо править жестоко! Русским нужна жестокость и хитрость!

Царь молчал. Голубоватые глаза были полны отчаяния. Он уронил голову на руки. Императрица увидела, как сильно лысеет рыжеватая голова.

— Ники, сделай вид, что ты идешь на уступки, чтоб успокоить на время эту гадину, это общество, чтоб прекратить убийства.

Николай II поднял на нее лицо. Глаза были болезненно сломаны, выражая безразличие и усталость. Пробор был испорчен. Он поправил его, тихо произнес:

— Может быть, действительно дать рескрипт на имя Булыгина? Может быть, успокоит? — лицо императора свела нервная судорога: казалось, злоумышленники готовят безбожное убийство его, царя.

2.

В большом Фельдмаршалском зале дворца толпилась свита, смутнея шитьем мундиров камергеров, гоф-

мейстеров, камеръюнкеров, егермейстеров, свитских генералов, блестя министрами во фраках. Дышала боязнь. Шел придушенный разговор, взволнованный шепот. Словно шептались листья. Забыв о смерти Сергея, боялись доложить о разгроме армии. Даже министр двора, рыжий лис Фредерикс, единственно могший доложить царю о бегстве войск, взволнованно ходил с дворцовым комендантом генералом Гессе, не решаясь войти к императору.

Шел крупный снег. Лохматыми тучами вился с неба, туша вид на Дворцовой площади. Император стоял посреди комнаты. Бессмысленно и страшно уставясь в окно, в снег, в летящие в безветрии белые крупные лохмы.

На шум шагов император обернулся, рот его был полуоткрыт.

— Ваше величество.

Царь вздрогнул. Блестящая лысина Фредерикса с отпавшими усами чересчур низко склонилась. Царь понял, вошла новая, может быть страшная неприятность.

Стараясь пересилить себя, он сказал:

— В чем дело? С театра военных действий?

Император бледнел. Желтоватое лицо сжалось складками. Николай II топнул ногой, нетерпеливо проговорив:

— Докладывайте же, барон! Что вы стоите!

— Ваше величество, господь бог шлет вам, — министр пугался, — шлет нам, новые испытания, бои под Мукденом...

Царь сжал виски, затыкая уши. Фредерикс заметил, как дрожит мелкой, нервной дрожью император.

— Танеева... сейчас же Танеева...

Фредерикс знал, зачем нужен начальник канцелярии. Двинулся. Но император вскрикнул: — Барон!

— Я хочу опубликовать манифест о нестроении и смутах?

Фредерикс видел, как все сильнее зябкой, нервной дрожью дрожит царь.

3.

Максимилиан Швейцер жил недалеко от Зимнего дворца: в отеле «Бристоль», на углу Морской и Вознесенского. В его распоряжении было достаточно динамита. И воля шести товарищей походила на динамит.

Завороженный московским успехом, торопясь, готовил казнь жуира, острослова, растратчика, красивого барина с бакенбардами, виновника расстрела рабочих 9-го января — великого князя Владимира.

Но чья-то рука мешала. Спугивалось наблюдение, боевик «Саша Белостоцкий» бежал, боевиков Маркова и Басова схватили. Но Швейцер знал, что двор в панике, что бомбы нужны, чтоб приблизить ход революции, которую ощущал Швейцер дыханьем доменной печи, где начнет плавиться Россия. И ночью в отеле «Бристоль» готовил бомбы.

Но вдруг прохожие, застигнутые на углу Морской и Вознесенского, с криком метнулись, побежав в стороны. Извозчицы лошади подхватили. Из четырех этажей «Бристоля» летели стекла, камень, доски. На улицу из развалившихся стен падала ломанная мебель. Кучей, по закону притяжения, вниз ухали кирпичи, смешанные с розовой пылью. Напротив, у старого Исаакия, взрывом свалило воронихинскую решетку.

Возле капитальной стены нашли тело. Мужчина лежал на спине, страшно. Голова была откинута, лицо обращено к улице. Грудная клетка разворочена, в левой половине не было ничего. Позвоночник был бел, открыт. Руки без кистей и части предплечья валялись рядом. В обломках, мусоре лежали куски мяса, мышц и сердце.

4.

На месте взрыва толкалась праздная толпа. В толпу с Почтамтской вбежала бледная Нина. Труп был один. И Нина сразу узнала, что это не Савинков.

Вернувшись, у себя на Среднем, Нина была рассеянна. Взглянула на часы: — было 12. Нина поняла, что ждет детей. И когда в передней зашаркали ноги няньки, а потом раздались, близясь к комнате, смешные ударчики по коридору, Нина встала, с улыбкой осветившей выпитое лицо, подхватила Витю, покрывая поцелуями цветные щеки, не слушая, что что-то смешное рассказывает Витя о гуляньи.

5.

В купэ поезда в Женеву Савинков читал об убийстве великого князя. Англичане в „Daily Telegraph“ писали: — «Снова красная звезда тирано-убийства мрачно засияла на темном русском небе. Сергей был унесен в один момент одной из тех фатальных бомб, которые русские конспираторы умеют так хорошо готовить и так хорошо бросать. Вы не можете безнаказанно доводить народ до бешенства или отрицать за ним элементарные права свободных граждан, не вызывая тем тираноубийства. Сергей был тиран в старом смысле этого слова, каких история и трагедии рисуют в самых мрачных красках. Великое изречение блаженного Августина правдиво и поднесь: — когда справедливость отброшена в сторону, верховная власть является разбоем.»

Немцы писали без изречений, но деловито: — „Die Zeit“ писала: — «Убийство Сергея не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали и когда оно исполнилось — произвело впечатление необходимости. Еслиб в России не было заговоров, над было бы спросить себя: — каким образом отсутствует следствие, когда налицо причина? Русское самодержавие проповедует посредством залпов незыблемость своих основ и получает в ответ динамитные бомбы. Кто играет в истории такую кровавую роль, как Сергей, всегда должен быть готов к кровавому концу. Царизм не должен удивляться, что его катастрофы не вызывают ни в ком сочувствия».

Француз Франсис Прессансе в „L'Humanité“ писал: — «Следует признаться, что таинственные судьи произносят свои приговоры над тиранией без ошибок. Кто осмелится бы защищать Плеве? Кто осмелится бы горевать о судьбе Сергея? Великие князья изъяли себя от действия гуманности. Они ведут себя как хищные звери в бараньем стаде. Пресыщение привело их к удовлетворению чувственности всякой ценой. Их частная жизнь полна преступлений, кутежей. И среди всех этих преступников худшим был Сергей».

Также писали швейцарцы в „Peuple de Genève“: «Невежественную, безоружную толпу, желавшую на коленях просить о своих нуждах, царь, уступая настойчивым советам своих родичей и приближенных, наградил свинцовым дождем. Этим поступком царь поставил себя вне законов. Он чудовище подобное тем, которые давали ему советы. На царские пули народ отвечает динамитом...»

Савинков выбросил газеты в окно летящего поезда. Им овладело странное, приятное ощущение: — «О смерти Сергея Романова пишет мир, а убил его он, Борис Савинков». Савинков знал, как его встретят в Женеве. Затягиваясь папиросой, улыбался речам, тостам, статьям цекистов во главе с Черновым.

6.

Виктор Михайлович узнал об убийстве из „Peuple de Genève“, за утренним чаем, поедая женеvские булочки. Когда увидел телеграмму, жена Анастасия Николаевна вздрогнула, ибо Виктор Михайлович, ударив кулаком по столу, закричал: — Ах! — и махнув газетой, с закренившейся шляпой на голове, выбежал из комнаты. Хохоча, пританцовывая, бежал он по рю де Каруж. Встречные с удивлением оглядывались на громадного, рыжего, смеющегося человека. Он бормотал: — «Вот те на! Не ожидал! Ухлопали!»

Квартира Гоца наполнилась товарищами. В комнате трудно было говорить, кричали все. Старые, молодые, Чернов, Рутенберг, Рубанович, Ракитников, Авксентьев, Тютчев, Натансон, Брешковская, Бах, Шишко, Зильберберг. Много толпилось народу. Самым молчаливым был Азеф. Расплывшейся тушей сидел в углу, только изредка улыбался, когда окружали товарищи и жали руки. Он был главой праздника. Бабушка Брешковская, когда вошел Азеф, поклонилась ему по русски — до земли. Чернов обнимал его, целовал, захлебывался высоким тенором:

— Эх, Ваня, мир без старосты, что сноп без перевясла, так и мы без тебя! Нет уж, товарищи, — покрывал всех тенор, — не тот разговор будет у нас с социал-демократами! Не тот-с, кормильцы! Много дыму да мало пылу! А тут, как говорится, бай, бай, да и слово молви! За нами пойдут крестьяне, за нами рабочие! Горой пойдут! И власть над революцией будет наша, эсеровская власть! И Россия будет наша, эсеровская Россия! А эс-деков под хвост! Товарищи! Да здравствует БО! Да здравствует ЦК партии!

— Нет ли у вас воды? — глухим, сипящим голосом спросил Азеф жену Гоца. Азеф пил короткими, собачьими глотками. Был взволнован. Убийство Сергея было неожиданным. Азеф думал, Савинков измотавшись в наблюдении, бросит. Поэтому попросил и второй стакан. От нервности мучила жажда.

— Ты чего распился, а? — обнимал его Чернов. Все радостно смотрели на Азефа. — Не воду, дорогой, надо пить! Шампанею! Шампанею будем тебя отпаивать! Ваня! Так-то! — сильные короткопалые руки Чернова обвили шею Азефа. Чернов сел ему на колени.

— Ладно, тяжелый, пусти, — прогнусавил Азеф, улыбаясь толстыми, вывороченными губами, столкнул

Чернова с колен. Тот хлопнул Азефа быстрым хлопком по плечу. И снова залился высокий тенор:

— Стало быть роль-то эксцитативного-то террора, товарищи...

8.

На Монбланской Набережной, у Монбланского моста, кафе «Националь» попрежнему круглый год сияло огнями. Ночью зеленое полугорье казалось черным бархатом. От бархата ярче горели огни в озере.

Азеф и Савинков, не торопясь, шли по мосту. Азеф держал Савинкова под руку. Савинков любил Азефа. Савинков чувствовал, с ним жизненно взяли они одну линию и понимали друг друга. Внутренно знал, что Азеф сильнее. Но этого не говорил даже себе.

По горящему залу «Националь» шел первым Савинков. Меж столиков, ни на кого не смотря, за ним шел Азеф. Савинков был щегольской, изящный. Голову нес закинув назад. Его принимали за англичанина.

— Пойдем в угол, — сказал Азеф, когда Савинков остановился у столика, у окна. Савинков пошел за Азефом. Тот, обогнув стол, грузно вдавил себя в мягкое кресло.

— Жрать хочется до чорта, — бормотал Азеф, — закусим как следует.

Согнувшись близко головами над напечатанной золотом картой, с отельным гербом, они долго выбирали.

— Ты как насчет почек в матере?

— Ничего, давай.

— А «Барзак»?

Азеф поморщился: — Лучше рейнского. Любишь «Либфрауенмилх»?

Повернув голову в полоборота к лакею, не смотря на него, Савинков бросал заказ. Лакей с скоростью

пулемета записывал на блокнотике и, поклонившись, побежал.

— Ну теперь расскажи, — начал Азеф, — только подробно, все.

Савинков провел рукой по лицу, сверху вниз, словно умылся.

— Да что ж рассказывать, — протянул он.

Налитое лицо Азефа ласково улыбалось вывороченными, липкими губами.

— Ты уж, Боря, не ленись, — мягко прогнусавил он.

Колыхая серебряным подносом с затуманившимися, охолоделыми рюмками и почками в мадере, подбежал лакей.

— Я сам, — остановил раскладывавшего по тарелкам лакея Савинков. Лакей отбежал.

— Как «поэт» себя держал, был спокоен?

— Совершенно. Ты знаешь, — Савинков задержал графин в руке, смотря на Азефа. — Таких как «поэт» у нас нет и не было в БО, если б таких было больше, можно было б перебить в две недели весь царствующий дом.

Азеф ухмыльнулся: — Преувеличиваешь, а Егор?

— Егор тоже.

Азеф уже ел почки, часто утирая салфеткой пачкавшиеся в соусе усы.

— А Дора волновалась поди, сама хотела, а? где она?

— Сейчас в Питере. Конечно волновалась, — чуть улыбаясь, Савинков рассказал про истерику на извозчике, после убийства. Азеф захохотал. Дальние гости оглянулись. Азеф на них не смотрел.

— Женщины всегда женщины. Кишка тонка, — сказал он.

Лакей подошел, забирая испачканную посуду, судки, рюмки.

Савинков рассказывал о делах. О Петербурге, о покушениях, о том, что он узнал от Швейцера, о Леонтьевой, о Барыкове, Ивановской, о боевой группе в

Москве, Азеф за едой, словно и не слушал. Задавал вопросы изредка. Нужен был эквивалент. За ужином Азеф выяснял, что отдать полиции взамен отданного партии Сергея. В математически-точном мозгу за прозрачным «Либфрауенмильх», которое пили небольшими, холодноватыми глотками, у Азефа создавалась отчетливая картина, кого безопасно отдать Ратаеву. Когда все стало ясно, он развалился в кресле, приятно вытянул ноги под столом и, расправляя складки на жилете, гнусаво сказал:

— Да, брат, дела вообще в шляпе.

— Как будто бы.

— Даже не как будто бы.

Азеф переходил к другому.

— Слышал, ты кооптирован в ЦК? — улыбался толстогубой улыбкой. — Это я настоял. Чернов был против.

— Ах, так? Рыболов был против? — ухмыльнулся Савинков, вспоминая рыжую ненавистную фигуру теоретика.

— Ерунда, — махнул Азеф. — У Виктора есть странности. Я не об этом. Ты приходи обязательно на первое заседание. Интересный вопрос. Помнишь, говорил в Петербурге, — прищурил Азеф темные маслины, отчего лицо стало лукавым, — если нам удастся кончить с Плеве, будут деньги, а если прибавить Сергея, то и вовсе.

— Ну?

— Ну вот. Поступило предложение от члена финской партии активного сопротивления Кони Циаликуса, через него на террор хотят дать большие деньги. Я проверял: — верно, дают.

— И много?

— Хватит.

— Кто?

— Не то американцы, не то японцы, вообще недурно.

— Меж американцами и японцами есть разница.

— То-есть? — насупился Азеф.

— Японцы в данный момент бьют русский народ. Если они дают деньги, то наверное не из за симпатии к русской революции, а чтобы облегчить избиение русского народа на фронте ударами с тылу.

Азеф потемнел, оттопырив влажные губы.

— И что же? При чем тут симпатии? Нам нужны деньги? Мы берем. А кто дает, не все ли равно?

— Японцы, неудобно. Пойдет крик. Можем быть скомпрометированы, отвернется общественность.

— Общественность? — Азеф повернулся и плюнул в плевательницу, пустив длинную слюну. — Общественность? Нужны деньги, мы их возьмем. Если сделаем дело, общественность и прочая сволочь, сама побежит за нами. А если ничего не сделаем, нас затопчут. Без денег, что ты сделаешь? Ты убил бы Сергея без денег? Ведь я тебе деньги давал. Почему ты знаешь, откуда они? Да ты плечами не пожимай! — проговорил бешено Азеф, — это важный вопрос. Я настояла на твоей кооптации в ЦК. Нам надо провести, могут быть возражения. Деньги дают БО, а не ЦК, надо взять во что бы то ни стало, — рокотал Азеф, низко наклоняясь над столом. — Не понимаешь? Ведь деньги на террор, стало быть я и ты держим ЦК и всю партию в руках.

Савинков улыбнулся вывороченным губам Азефа. Не оттого, что Азеф взволнован, даже хрипит. Оттого, что действительно, с чего он вздумал разводить сахарные теории? Да не все ли равно от кого? Неужто вдруг «пожалел, видите ли» вшивых солдат, которых как баранов запарывает царь, гоняя то под японские шимозы, то на усмирение крестьянских бунтов.

Азеф понял длительную улыбку.

— Ну? — прогнусавил он. — Братъ или не братъ? — и, улыбаясь, распластал толстые губы.

— Братъ, Иван, все братъ.

Азеф смеялся.

— Эх, ваше сиятельство, людей убиваете, а все в белых перчатках хотите, верно Гоц тебя скрипкой зо-

вет. Рефлексики, вопросыки, декаденщина всякая, как это говорится — «о, закрой свои бледные ноги!» — залился Азеф гнусавым дребезгом.

9.

Передав Ратаеву телеграфно о боевиках в Москве, Азеф решил петербургских пока оставить. Утром, идя к Чернову, пощупать как мыслит теоретик относительно не то американских, не то японских денег, Азеф сдал гяжеловесное заказное Ратаеву об общепартийных мелочах: —

«Наконец то я выбрался вам написать. Дело в том, что не хотелось писать, пока не нащупаешь чего-нибудь существенного. От Чернова я только что узнал, что теперь государь на очереди. Его слова, что Россия не прекратит войны до тех пор, пока жив еще один солдат и в казне имеется один рубль, сделают государя очень непопулярным в России и Европе и покушение, вероятно, будет встречено также сочувственно, как и Плеве. Письмо, мне кажется, из Бадена писано Селюк. Содержание его вами понято правильно. Что касается ряда имен, о которых мне приходилось с вами говорить, то удалось выяснить следующее: Еремей — это Ст. Ник. Слетов. Наталья — Мария Селюк, в Киеве известна под именем Наталья Игнатьевна. Веньямин живет за границей с прошлого года пишет в «Р. Р.», изредка на рев. темы, его перу принадлежит статья в № 44 «Р. Р.» — «Без адреса» за подписью «быв. социал-демократ», постоянно, говорят, живет во Фрейбурге, без сомнения террорист, съдвинший в Россию, предполагаю, по делам террора. Веньямина здесь теперь уже нет. Я его не застал. Считают его очень талантливым. Павел Иванович молодой человек, черные усы, 28 лет, недавно приехал из Питера. Видал его несколько раз. Трудно ориентироваться в его роли, но во всяком случае

шишка. С Пав. Ив. (данные вами приметы Савинкова не совсем подходят к нему — для установления пришлите карточку) я стараюсь сблизиться. Тоже с кн. Хилковым, хотя последний, обладая аристократическим воспитанием, нелегко поддается сближению. Вежлив и только. Удалось мне открыть здесь Кудрявцева. Он в Женеве живет под фамилией Мешковского. Высокого роста, бородка светлая, в очках, одет с претензиями на Чайльд-Гарольда, в плаще, с черным, широким бантом. Ева послана в Одессу для работы в типографию, неважная особа и мало опасная, нелегальная хотя. Маша — не знаю кто, только не Турмаркина, которая живет с Авксентьевым. О Леопольде ничего здесь не слышно и никто такого имени не упоминал. Деньги получаемые Минором от Гав. — это от Гавронского, который живет в Москве и женат на сестре Минора. Платит 100 рублей в месяц. Саша, — который пишет Вере Гоц, — это Саша-Ангел, транспортист. Деньги мы уславливались, что пришлете, как только получите мой адрес, который я и прислал, — другой адрес назначался для открыток. Во всяком случае деньги переводом через банк на Вольде, а чек заказным пришлите немедленно, пост-рестант, так как сижу без денег. Пришлите мне расходных 500 рублей и жалованья за этот месяц 500.

Жму руку ваш *Иван.*»

10.

В террор ежедневно успехи БО слали десятки отважных членов партии, готовых умереть за революцию. Никогда не было такой занятости у Азефа и Савинкова. Весь день не расставались. Везде их видели вместе. Непосвященные удивлялись: — что общего меж высоким почти-юношей английского воспитания и тучным, черным, животногромдным уродом? Посвященные знали, что связывает Павла Ивановича

с Иваном Николаевичем. Они сливались у партий в крепкую, однурукую силу.

Но нелегко теперь войти в БО. Входящих допрашивал Савинков. Глаза монгольского разреза были не рентгенами. Савинков не умел просматривать людей. Был сух, надменно спрашивал:

— Почему хотите работать именно в БО? С решением итти в террор не рекомендую торопиться. Сюда должны итти те, кому нет психологической возможности участвовать в мирной работе. Но если настаиваете, поговорите с Иваном Николаевичем.

Азеф не подавал руки. Был скуп на слова. Еле переплевывал через вывороченные губы. Но глаза! Глаза были рентгенами. Искося взглянув, Азеф просматривал насквозь.

— Здраасти, хотите работы? Какую же хотите? Ну, а как же вы, в нашем деле и к веревочке надо готовиться, — гнусаво рокотал Азеф, чиркая пухлой рукой по короткому горлу.

11.

Савинкову казалось, все кругом стекляннеет. Жизнь была ползущим глетчером, правимым пустотой. «Ни на чем, вот на чем я построил свое дело», — повторял Штирнера.

Перед заседанием ЦК Савинков думал о глетчере. Жизнь казалась нестрашным сном. Под черепной коробкой билось стихотворение. Ритмом вторило сердце. Это доставляло удовольствие. Но надо итти на заседание и не опаздывать, просил Азеф, вопрос американо-японских денег Циллиакуса важен. Стихотворение писалось почти без помарок. Савинков задержался.

«Он очень низко
Мне поклонился.
Я обернулся,
Увидел близко
Его седины,
Его морщины,
Беззубый рот.
Я удивился:
Ведь он убит!
В гробу дубовом
Старик суровый
Давно лежит.
Он улыбнулся,
Я побежал.
Домой вернулся
И отшатнулся,
Меня он ждал!

Опять седины,
Опять морщины,
Беззубый рот,
Опять улыбка,
Опять поклон,
Или ошибка?
Или не он?
Да это сон.
Он был так близко.
Я торопливо
Посторонился,
Весьма учтиво
Я отдал низкий
Ему поклон.
Да это сон.
Ведь жизнь есть сон,
Нестрашный сон.

Открыв окно, положив листок с стихотворением, чтоб не снесло его ветром, под пресспапье, он пошел на заседание ЦК.

12.

Заседание ЦК было бурно. Не потому, что из России шли вести о встающей революции и через сановное лицо получились данные о перепуге и растерянности правительства. Принятие денег от Кони Циллиакуса бури тоже не возбудило. Заседание стало бурным, ибо заседавшие почувствовали: — партия в руках провокатора.

Началось это так. Усталый, председательствующий Гоц, закутанный в кресле в теплый плед, торопясь от волнения, сказал:

— Товарищи, только что получены печальные сведения. В Москве 16-го марта арестованы члены БО Борис Моисеенко, Дулебов и Подвицкий. 17-го марта в Петербурге арестованы — товарищи Прасковья Се-

меновна Ивановская, Барыков, Загородный, Надеждина, Леонтьева, Барыкова, Шнееров, Новомейский, Шергов, Эфрусси и Кац. Кроме того на станции Петербургско-Варшавской железной дороги схвачен с динамитом Боришанский. Динамит также найден в Петербурге у Татьяны Леонтьевой. Товарищи: — сказал Гоц, руки его дрожали, — в несколько дней мы потеряли самых дорогих, беззаветных работников, боевая организация в России разбита! Товарищи, это ужасно, но есть вещи более ужасные, чем поражение в бою противником. Страшные факты есть, товарищи, требующие немедленного выяснения. Я не боюсь сказать и не ошибусь: — в центре нашей партии провокатор!

В комнате, заставленной стульями, прошла тишина. Чистивший нос Чернов вздрогнул. Все, ловя слова, смотрели на Гоца. Прямо против него, тучно подымаясь в стуле, сидел Азеф. Он не выразил движения на ленивом, в одну точку уставившемся лице.

— Товарищи! — дрожал мягкий голос Гоца, изобилующий интонациями, — не только провал боевой в Петербурге и Москве заставляет нас отнестись со всей внимательностью к этому вопросу. Имеются факты, неопровержимые, подтверждающие наличие крупного провокатора среди нас. Сначала скажу, присутствующий здесь, только что приехавший товарищ Николай Сергеевич Тютчев рассказывает факт, явно наводящий на грустные размышления.

Пожилой, серебряно-седоватый человек, одетый скромно, но изящно, с бородкой клином, с умным энергичным лицом, барственным обликом, проговорил с угла:

— Разрешите, Михаил Рафаилович?

— Пожалуйста, Николай Сергеевич. — Гоц печально откинулся на спинку кресла на колесиках.

— Дня за два, накануне ареста в Питере, — заговорил размеренно, спокойно Тютчев, — ко мне позвонили в редакцию «Русского богатства» по телефону. И

голос, мной неузнанный, сказал: — «Предупредите — все комнаты заражены».

Тишина комнаты не прерывалась. Азеф тучно повернулся в стуле. Подпершись рукой, уставился на Тютчева. Низкий лоб наморщен, брови сдвинуты. Тютчев не глядел на него. Он обводил товарищей, останавливаясь больше на взволнованном, измученном Гоце.

— Я спросил: — «нельзя ли поговорить лично?» Повидимому мой вопрос был неожиданен, с ответом произошло замедление, мне показалось даже, что как будто мой собеседник с кем то переговаривался и затем задал, как бы нерешительно, такой вопрос: — «Да ведь поздно уж, да и где?» — Я ответил — «Здесь». Ответ был такой: — «Нет, это неудобно» и трубка была повешена.

Тютчев смолк. Казалось, слышались бившиеся сердца. Тишина начала взрываться короткими разговорами.

— Тише, товарищи! — костяшками руки простучал Гоц.

— Вопрос к Николаю Сергеевичу — протянул руку Азеф.

— Пожалуйста, Иван.

Азеф тучно, неловко, всем телом повернулся к Тютчеву, потому что шея у него не поворачивалась.

— Николай Сергеевич, стало быть вы не узнали говорившего по голосу?

— Нет. Но должен сказать, этот голос, все же я где-то слышал, он мне напомнил очень характерный тембр, который я уже не слышал лет 10.

— А простите, Николай Сергеевич, женский или мужской был голос? — все обернулись к Чернову.

— Ну знаете, Виктор Михайлович, — разводя руками, улыбаясь, проговорил Тютчев, — это мне кажется не столь существенно. Ведь мы же не знаем, кто звонил, и вероятно не узнаем. Что же гадать на кофейной гуще? Голос был мужской.

Чернов сделал неопределенный жест.

— Товарищи, мы чересчур детализируем случай, — говорил Гоц. — Сейчас не место и не время. Да и что же, из пальца ничего не выкусишь. Голоса Николай Сергеевич не узнал. Я хотел только осведомить вас об этом факте. Но ведь в руках у нас есть и еще более веские данные, уже фактического характера.

Азеф смотрел темными, блестящими маслинами в мечущееся лицо Гоца.

Савинков толкнул Азефа, наклонившись.

— Ты веришь?

— Возможно, — бормотнул Азеф.

— Мы получили по адресу «Революционной России» следующее письмо. Прочту его, а потом уже будем комментировать. — Повысив вибрирующий в волнении голос, Гоц зачитал: — «Уважаемые товарищи, департамент полиции имеет сведения о следующих социалистах-революционерах: — 1) Герман, имеет паспорт на имя Бориса Дмитриевича Нерадова, жил в Швейцарии, теперь в России (нелегально), переехал «вероятно» не по паспорту Нерадова, 2) Михаил Иванович Соколов, проживал в Швейцарии по паспорту германского подданного Людвиг Каина, должен отправиться в Россию, 3) за Соколовым поедут в Россию: А) Гриша, именующийся Черновым, Васнецовым, Бордзенко, Б) князь Дмитрий Александрович Хилков (двумя неделями позже) и В) месяца через два бывший студент Михаил Александрович Веденяпин (выедет нелегально из Швейцарии). С товарищеским приветом...»

Азеф бормотнул набок, Савинкову:—Подписи нет.

— Подпись есть? — громко спросил Савинков.

— Есть, я не называю, — взволнованно ответил Гоц, придерживая рукой на столе четвертушку бумаги. — Товарищи! совершенно ясно, эти сведения мог дать только провокатор. Я долго думал, положение очень серьезно. Мы должны стоять на единственно-революционной точке зрения: — не должно быть забронированных имен и авторитетов. В опасности партия. Будем исходить из крайнего положения: —

допустим, что каждый из нас в подозрении. Пусть выскажутся товарищи, может быть кто-нибудь подозревает определенно кого-нибудь?

Наступила отчаянная тишина. Сидевшие рядом не смотрели друг на друга.

— Я не хочу скрыть своих подозрений, товарищи, — в тишину проговорил тихо Гоц, — может быть совершаю преступление, но пусть рассудит суд, должен сказать, у меня есть основания подозревать одного члена партии.

Наступила гробовая тишина.

— Я подозреваю... Татарова...

Тишина углубилась. Гоц понял: — подозрения разделены товарищами.

— Во первых, по моим подсчетам Татаров на свое издательство издержал за шесть недель более 5.000 рублей. Откуда у него эти деньги? Ни партийных, ни личных средств у него нет. О пожертвовании он должен был сообщить ЦК. Я спрашивал, откуда эти деньги. Он говорит, их дал известный общественный деятель Чернолуцкий. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом. Предлагаю послать кого-нибудь в Петербург узнать у Чернолуцкого, давал ли он деньги и сколько. Кроме того, Татаров на днях приезжает в Женеву. Надо установить здесь наблюдение. Повторяю, если Татаров сказал правду об источнике денег и наблюдение товарищей ничего не установит, я отказываюсь от подозрений, но, товарищи, я не могу не поделиться сомнениями...

— Правильно, Миша! — крикнул Чернов.

— Это очень похоже, — пророкотал Азеф Савинкову.

— Кто возьмет, товарищи, наблюдение в Женеве за Татаровым?

— Просим Савинкова! — крикнул Азеф.

— Савинкова! — поддержали голоса.

— Надо трех.

— Сухомлин! Александр Гуревич!

— Итак, товарищи Савинков, Сухомлин и Гуревич должны взять на себя эту тяжелую, но необходимую в интересах партии обязанность. В Петербург же к ЧарнолуССкому предлагаю поехать товарищу Аргунову.

— Просим! Просим!

Аргунов, недавно бежавший из ссылки, встал, хотел что-то сказать. Но ясно было, не протестует. И Гоц, повышая в дыму голос, крикнул:

— Против нет? Товарища Аргунова стало быть направляем в Питер.

Повестка дня исчерпалась.

13.

Ночью, Азеф шел один по Бульвару Философов темной, согнувшейся тушей. Дымя папиросой, перебирал все, что приносила память. Он времени с петербургскими боевиками. Сомнений не было: партию предают кроме него. Скрипя подошвами по гравию, Азеф безошибочным нюхом понял: — Татаров.

Азеф не мог спать. Свернул к Английскому саду. Сев на скамью, куря, хрипло бормотал. В несущемся с Лемана, холодящем ветре он решил смерть Татарова. Но страх, что успеет донести, не уходил. Азеф слышал, как лязгали зубы. Иногда толстые губы в темноте расплывались во что-то схожее с улыбкой. Он бормотал.

Ветер становился холодней. В темноте озера возвращались увеселительные пароходы туристов. С пароходов вилась музыка, блестели огни. Азефу стало холодно. Он пошел, качаясь тяжелой тушей, по дорожке Английского сада. Вершина Мон-Блана начала розоветь. Но и в отеле, Азеф не ложился. Кроме Татарова заносился удар неизвестного. Удар надо было отвести. Азеф сел за письмо:

Сначала он привел цитированный Гоцем документ с подписью «с тов. приветом Вл. Косовский», потом посопев, стал найизывать расплывающиеся строки:

«Этот документ может вам, Леонид Александрович, показать, насколько у вас в Д. П. все неблагополучно и насколько нужно быть осторожным, давая вам сведения. Здесь в Женеве в группе с. р. это письмо привело всех к мысли, что имеется провокатор, который очень близко стоит ко всем делам. Неужели нельзя обставить дело так, чтобы циркуляры Д. П. не попадали в руки рев. организаций? Последствием этого будет, что кн. Хилков, который пока еще в Англии в Лондоне, гостит у своей семьи, не поедет, так как ему немедленно сообщили об этом документе. То же будет с Веденяпиным. Право удивляюсь, что департамент не может устроить конспиративно свои дела. Деньги и письмо я не получил. Деньги вышлите немедленно. Ради бога, будьте осторожны. Один неосторожный шаг и провал мой.

Жму руку, ваш Иван.»

Над Женевским озером рассвет был полновластен. Пыхал алым огнем. Горел Монблан. По озеру уходили лодки рыбаков в далекую, ясную синеву. Азеф не видел утра. Не раздеваясь, в черном костюме, он спал на диване, стоная, скрипя зубами, выкрикивая, словно что-то хотел рассказать и не мог.

14.

На утро Савинкову сообщили, что Татаров приехал. Татаров — большого роста русак, с квадратной крепковьющейся бородой, коротковатыми ногами, темными волосами, распадающимися на обе стороны. Татаров костист, широк, шагал шумно, говорил громко, напоминая расстриженного дьякона.

Савинков знал его с детства, вместе играли в лапту и рюхи. Узнав, что в Женеве Савинков, Татаров сразу пришел к нему. Сейчас друг друга бы они не узнали. Савинков — европеец, чересчур элегантен

для революционера. Татаров хоть и любил завязать модный галстук, надеть новомоднейший костюм, но был поповен, мужиковат. Стуча сапогами, громко крича, Татаров чувствовал себя прекрасно.

— Давненько, давненько, Борис Викторович, не видались! Ну расскажите, как живем? Вы откуда сейчас? Из Москвы?

— Из Киева.

— Как из Киева? Мне сказали из Москвы?

— Может быть из Москвы.

— Ха-ха-ха! Все-то у вас тайны да тайны! Законспирировались до ушей! Чай не с провокатором говорите, с товарищем постарше вас стажем-то!

— Не виноват, начальство свирепое, Николай Юрьевич.

— Это кто-же начальство-то? Тоже поди — печать на устах моих. Главное все сам знаю. Заграницей — Мишка Гоц! В России сами своей персоной боевикам начальство! Мне очки тоже втираете, ну да ладно. — Татаров громко ходил, мял в руках широкополую светлую шляпу, какие в Европе носят художники.

Татаров был неумен и нечуток. Растабаривая, даже не глядел на Савинкова. — «Вот этого большого человека убью, за то что гадина, за то что глуп, за то что бездарно накрутил пестрый галстук, убью, как быка. Но какой громадный? Зашумит, когда упадет», — думал Савинков.

— Страшно рад вас видеть, — говорил Татаров. Тютчев здесь, с ним вместе ведь в ссылке в Сибири жили! Вообще в Женеве куда ни сунься — наши. Только Баску хотел повидать. Не знаете, где она?

— А кто эта «Баска»?

— Да Якимова!

— Ааа слышал, не знаю. А скажите, Николай Юрьевич, у вас кажется теперь издательство будет?

— Как же, как же, будет, будет, а что? Есть у вас что-нибудь для издания, вы ведь пишете, кажется?

— Есть кой-что.

— Давайте, с удовольствием, с удовольствием.

«Убью», — думал Савинков.

— Если позволите, я передам вам на днях?

— Мемуары?

— Не совсем. Почти.

— Очень интересно, очень. Вы вот что, Борис Викторович, ко мне в воскресенье товарищи на обед соберутся, а то ведь скоро дальше еду, приходите и вы, рукопись с собой захватите, ладно?

— Вон, — сказал Савинков, ударяя ладонью ладонь Татарова, пожимая крепче обыкновенного.

15.

Обед Татаров давал на 15 персон в кабинете ресторана «Англетерр». Азеф прислал извинение. За столом присутствовало 14 человек головки партии. Серебряный Тютчев сидел с Брешковской. Трепыхая рыжей шевелюрой, в новом воротничке, смешно подпирившем толстую шею, смеялся Чернов. Был элегантный Савинков, старый Минор, Ракитников, Бах, Натансон, Авксентьев, Потапов. Только трое — Тютчев, Савинков, Чернов — знали уже, что обед дает провокатор. Стол был сервирован пестро, красиво, с серебром, цветами, винами, деликатессами. Татаров вспоминал, как 8 лет назад основал группу «Рабочее Знамя». Товарищи напомнили за обедом, как объявил он голодовку в Петропавловской крепости, проголодав 22 дня. Татаров лишь отмахнулся, проговорив:

— Что там, 22, другие больше голодали, — подняв бокал, он встал.

— Товарищи, выпьем за революцию, которая близка, поступь которой слышим! Выпьем за партию, водительницу революции, и в первую очередь за товарищей боевиков — ура!

Узкие бокалы зазвенели разным звоном, чокались, а бокалы были наполнены по разному. Чокнувшись с

Черновым, Татаров опрокинул бокал, чувствуя хмельную теплоту. Кто-то быстро поднял ответный тост, маша бокалом прокричал:

— За счастливый отъезд Николая Юрьевича! За удачу его работы в России — ура!

Бокалы поднялись. Чернов, вместе со всеми, тенором закричал ура. После обеда, когда шумели, были веселы, оживлены, Чернов подошел к Татарову, смеясь, круга на его пиджаке большую пуговицу, сказал:

— Когда ж едете, Николай Юрьевич?

Взяв Чернова за бицепсы, покачивая его, притягивая к себе, Татаров проговорил:

— Сегодня вечером, 11.30, Виктор Михайлович.

— Невозможно.

— Почему?

— У ЦК к вам дело.

— Я должен ехать. Какое дело?

Чернов говорил, улыбаясь: — Я уполномочен ЦК просить вас остаться на день.

— Ну хорошо, — пожал плечами Татаров, — если дело, останусь. До завтра?

— До завтра.

Чернов сказал просто, задушевно.

Проходя мимо Савинкова, бросил:

— Остается. Следите.

16.

Расправляя замявшуюся ветром бороду, Татаров вошел веселый.

— Здравствуйте, — говорил свежо, полнокровно, переходя от Тютчева к Савинкову, от Савинкова к Баху. В Тютчеве показался из под бровей холодок. «Он всегда такой», — успокоился Татаров и встал рядом с Савинковым у стола. На столе в золотенькой раме была карточка полной брюнетки. Оба посмотрели на нее, хоть брюнетки не знали.

— В чем же дело?

— Да вот ждем Чернова, он председатель.

В этот момент отворилась дверь, вошел улыбающийся Виктор Михайлович.

— Совет да любовь, — проговорил он с порога, — погода-то, кормильцы, пушкинская! Прозрачность, ясность, шел по рю де Каруж — не воздух, зефир. А, Николай Юрьевич, здравствуйте, грехом думал, не дождался, поди, уехал. Ну прекрасно, прекрасно, так что же, товарищи, никак меня только и ждали? Не посетуйте, — подкатил самое удобное кресло, с большими ручками, Виктор Михайлович.

Савинков, Тютчев, Бах, Татаров садились. Рассыпал по креслу дряхлые кости Минор. Но по тому, как садились, Татаров почувствовал недоброе. «Зачем не уехал?» — думал он. Не подавая виду, проговорил поглаживая бороду:

— Какой вопрос, Виктор Михайлович? — и голосом остался вполне доволен, прозвучал без волнения.

— Одну секунду, Николай Юрьевич, — проговорил Чернов, быстро пиша кругленькими буквами — Вопрос? — откладывая перо, поднял Чернов один глаз на Татарова, а другой пустил к потолку, — видите ли, очень серьезный, то есть не так чтоб уж очень, ЦК занят ревизией партийных дел, от имени ЦК я просил вас остаться, чтоб при вашей помощи выяснить финансовую и цензурную сторону предпринятого вами издательства. Вы, конечно, поймете желание ЦК взять издательство под свое руководство?

Татаров смотрел на свою руку, на стол. Было ясно: — подозревают. «Надо, главное, держаться с абсолютным спокойствием», — сказал он внутренне, когда Чернов говорил:

— Но прежде чем перейти, Николай Юрьевич, к этому вопросу, мне бы, то есть не мне, а всей комиссии, хотелось бы выяснить детали...

Татаров силился понять: о чем? Плотно свел брови над цыганскими глазами. Расправил рукой бороду, не догадался.

— Прошу вас ответить по первому так сказать пункту, — глаза Чернова разбежались еще более, — кто дал вам деньги на издательство? Только уж, Николай Юрьевич, — задушевно сказал Чернов, — знаете народную мудрость, кто правды не скажет, тот много свяжет, режьте нам, кормилец, все правду-матку, прошу вас.

— Конечно, Виктор Михайлович, — засмеялся Татаров, — вы наверное просто не осведомлены, я говорил Гоцу: — деньги в размере 15 тысяч рублей дал Чернолуцкий, а дальнейшую помощь обещали Чернолуцкий и Цитрон, это одесский издатель, — добавил Татаров.

Это было только мгновение. Мутноватый глаз Чернова замер под потолком. Тряхнув рыжей шевелюрой, расправив ее, Чернов сладко протянул:

— Так, так, видите, я вот этого, например, не знал, а скажите, — вдруг кинулся он на Татарова и в голосе прозвучала резкость. — Остановились вы сейчас в Отель де Вояжер под фамилией Плевинского?

Татарову надо было расхохотаться, ударить кулаком, закричать — что за безобразие! Но Татаров увидел, глаза товарищей режут. «Провал», — пронеслось. И он услышал, как дважды перевернулось сердце и, показалось, упало на подошву ботинка.

— Под фамилией Плевинского.

— А номер комнаты?

— Кажется 28.

Совсем близко проплыло лицо Чернова. Улыбались, перекашивались. Отчеканивая слога, раздались слова:

— Это неправда. Мы справлялись, ни в номере 28, ни вообще в Отель де Вояжер Плевинского нет.

Слышно было чье-то дыхание. Заскрипев, Минор переложил ногу на ногу.

— Я не помню названия. Может быть, это не отель де Вояжер. — Татаров понимал, что говорит глупо, топит себя, но уж катился к какой-то страшной пропасти. Кажалось, сейчас убьют, как убивали Су-

дейкина. Савинков чертил на бумажке женский, кудрявый профиль.

— Вспомните, — сказал косой глаз Чернова. — Борис Викторович, запишите в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты.

О бумагу скрипело перо Савинкова.

— Мы же не дети, — проговорил Татаров, — я солгал о гостинице, потому что живу с женщиной и этим оберегаю ее.

— Ах так?

— Если хотите, я назову имя женщины.

— Нет, что вы, Николай Юрьевич, не надо, кормилец. Вы бы сразу сказали, тогда мы просто это оставим, простите, вот вы какой чудак! Извините. Перейдем к делу. Скажите, Николай Юрьевич, чем обеспечено ваше издательство в отношении цензуры?

Татаров хотел оборвать, закричать. Но понял, что не выйдет.

— Мне обещал покровительство один из людей имеющих власть — и услышал, как изменяет пересекающийся голос.

— Кто именно? — сухо бил теперь голос Чернова, как гвозди вбивал в совершенно мягкое и они уходили до шляпки

— Один князь.

— Какой князь?

— Зачем? Я сказал — князь. Этого достаточно.

— По постановлению ЦК предлагаю вам сказать фамилию.

— Хорошо, это — граф, — тихо сказал Татаров.

— Граф? — вскрикнул Чернов, привставая.

— Это же неважно, граф или князь, вообще зачем фамилия?

— Центральный комитет приказывает вам.

Татаров сморщился, проведя рукой по лбу.

— Граф Кутайсов, — тихо сказал он.

— Кутайсов? — поднялся Чернов. — Вы с ним сносились? А известно вам, что партия готовила покушение на графа Кутайсова?

Голова Татарова опустилась, руки судорожно сжимали край стола.

— Вы солгали, — услышал он приближающийся голос Чернова. — скрывая свой адрес, солгали об источнике денег. Чернолуцкий вам не давал. Мы это проверили. Цитрона вы даже не знаете, фамилию его услышали впервые три дня тому назад от Минора. Вы подтверждаете это?

Татаров вздрогнул, поднял голову. Последние силы вспыхнули. «Уйти, бежать» — пронеслось. Он закричал:

— В чем вы меня обвиняете?! Что это значит?!

— В предательстве! — крикнул несдержавшийся Тютчев.

Родилось долгое, страшное молчание.

— Будет лучше, если сознаетесь. Вы избавите нас от труда уличить вас, — сказал Чернов.

— Дегаеву были поставлены условия. Хотите мы поставим условия вам? — проговорил Бах.

Савинков на протоколе рисовал что-то вроде ро-машки.

Дверь открылась и все увидали на пороге Азефа. Он был громаден, насуплен. Кто знал, мог догадаться, Азеф в волнении.

— Простите, товарищи, я запоздал, — тихо про-рокотал он.

— Мы кончаем, Иван, садись, — сказал Чернов.

Скользкий взгляд по Татарову сказал все. Азеф прошел, грузно вдавив тело в кресло, в углу комнаты.

Покачнувшимся голосом, каждое мгновение мог-шим перейти в рыдание, Татаров сказал:

— Вы можете меня убить. Вы можете меня за-ставить убить. Я этого не боюсь. Но я не виноват, честное слово революционера.

Чернов склонился к Тютчеву. Тот мотнул сереб-ряной, коротко стриженной головой. Чернов стал пи-сать. Потом бумажка пошла к Тютчеву, Савинкову, Баху.

Татаров смотрел на свои ботинки, ему казалось, что шнурки завязаны туго и неудобно. Чернов встал, обращаясь к Татарову прочел:

«Ввиду того, что Н. Ю. Татаров солгал товарищам по делу и о деле, ввиду того, что имел личное общение с графом Кутайсовым и не использовал его в революционных целях и даже не довел о нем до сведения ЦК партии, ввиду того, что Татаров не мог выяснить источника своих значительных средств, комиссия постановляет устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать.»

Татаров не поднял головы.

— На сегодня вы свободны. Но ЦК запрещает вам выезжать из Женевы без его на то разрешения. Отъезд ваш будет рассматриваться как побег.

Не прощаясь, опустив голову, Татаров вышел. В передней почувствовал, что дрожит. На улице шел дождь. Татаров его не заметил, хотя и поднял воротник.

17.

— Да он же уличен! — кричали в комнате. — Погибли товарищи! — Убить! — Но разве на основании!? — Провокаторов убивали с меньшими основаниями!

Азеф кричал бешено: — И выпустили!? Выпустили?! Надо было давить, как гадину! — лицо исказилось злобой, какой никто не видал.

— Но пойми, не тут же на квартире Осипа Соломоновича!? — кричал Чернов.

— Мягкотелые вороны! Слюнтяи! Чистоплюйство! Тут нельзя!? А ему нас посылать на виселицу можно?! Вы знаете, он повесил товарищей? Или вам это как с гуся вода!!!?? — закричал Азеф, быстрыми шагами, ни с кем не прощаясь, вышел, хлопнув дверью.

Утром в номер Татарова постучались. Татаров сидел неумытый, в рубаше, перерезанной помочами. Вошел Чернов. Не подавая руки, сел в кресло. Татаровым овладело беспокойство.

— Даже руки не подаете? — проговорил он.

— Николай Юрьевич! Мы не подадим вам руки до тех пор, пока вы не смоее с себя подозрений, — торжественно начал Чернов. — Скажите, — задушевно сказал он. — Зачем вы лгали? Зачем вся эта история с Кутайсовым? С Чернолууским? с гостиницей? что все это значит?

Мысли Татарова бились.

— Виктор Михайлович, понимаете, что я переживаю? — голос его задрожал, это было хорошо, — мне, проведенному годы тюрьмы, ссылки, восемь лет жившему мучительной революционной работой, словно сговорясь, бросают нечеловечески-тяжелое обвинение?

Челюсть Татарова вздрагивала, он мог заплакать.

— Я не могу на суде, это слишком тяжело. Но у меня есть что сказать. Все говорят о провалах в Питере, в Москве, о провокации. Но разве я не чувствую сам, что провокация есть, — проговорил Татаров. — Я знаю, что есть. И вижу, что ошибся, не доведя до сведения товарищей, я ведь на свой риск и страх давно веду расследование, как могу, теперь мне удалось...

— Выяснить провокатора?

— Да.

— Фамилия? — взволнованно придвинулся Чернов.

— Виктор Михайлович, вы не поверите, но это факт! — ударил себя в грудь Татаров, — партию предает... Азеф...

— Что?! — вскрикнул, вскакивая с места с разведенными руками Чернов. — Вы наотмашь эдак не отмахиваетесь! Оскорблять Азефа! Я пришел за чистосердечным признанием! Осмеливаетесь чернить руководителя партии?! Ваша роль теперь ясна, потрудитесь явиться для дачи новых показаний!!

— Это правда, Виктор Михайлович, это правда! — закричал Татаров, наступая на Чернова, — я достану вам факты!

— Негодяй! — сжав кулаки, Чернов выбежал из комнаты.

Татаров торопливо укладывал чемоданы. «Смерть, да, да, да, смерть!» — метался он по запертому номеру. И когда его ждали для дачи показаний, Татаров был под Мюнхеном, по дороге в Россию.

19.

Весна шла теплая, прозрачная, голубая. В Петербурге пахло ветром с Невы. Цвели острова. По Невскому бежали говорливые люди. В притихших садах пригородов бешеным кипятком раскидалась черемуха. Ночами на улицах слышалось пенье.

Близорукий шатен в золотом пенсне, товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, Федоров в этот день не чувствовал весны. Он был мягок. Получив предписание выехать в Шлиссельбург для присутствия при казни террориста Каляева, почувствовал себя дурно.

Федоров даже не знал, как туда ехать, в Шлиссельбург? Объяснили, надо сесть в полицейский катер у Петропавловской крепости. И Федоров в катере, волнуясь, ехал пять часов. Были тихие сумерки. Нева катилась потемневшая. Над ней плыла ущербная луна. В лунном свете белосиними показались Федорову стены и башни Шлиссельбурга.

Подрагивая от холода, от нервов, в сопровождении жандармов Федоров прошел в ворота с черным двуглавым орлом и надписью «Государева». Белые дома, зеленые садики крепости показались странными. В сопровождении жандармов шел к дому коменданта. Направо в сумерках увидел белую церковь, с потемным крестом. Церковь стояла тихо, словно была в селе, а не в крепости.

— Я товарищ прокурора, Федоров, — проговорил Федоров, здороваясь с комендантом.

— Очень приятно, — сказал комендант, но видимо ему было скучно.

— Я хотел бы сейчас же пройти к заключенному.

— Время еще есть, — улыбнулся скучно комендант. — Впрочем ваше дело. Корнейчук! — крикнул он. — Проведи господина прокурора в манежную.

20.

Каляев, в черном обтертом сюртуке, сидел на кровати. Шея была голая, худая. В камере стоял стол, стул, кровать. Каляев казался маленьким, тщедушным. На шум двери он обернулся.

— Здравствуйте, — проговорил, входя с жандармом Федоров. — Я товарищ прокурора судебной палаты.

Федоров представлял террориста гигантом с огненными глазами. Мягкий Каляев поразил. Странными были ласковые глаза. Они не глаза террориста.

— Я знал, что вы придете. Садитесь, — проговорил Каляев.

— Простите, — сказал Федоров, голос его дрогнул. — Я, господин Каляев, не знаю, известно ли вам, что если вы подадите на высочайшее имя прошение о помиловании, то смерть будет заменена вам другим наказанием?

Странные глаза остановились на Федорове, как бы не понимая.

— Я буду просить, — улыбаясь сказал Каляев, — но не царя, а вас и то только об одном. Доведите до сведения правительства и общества, что иду на эшафот охотно и спокойно. Помилования не просил, когда уговаривала великая княгиня Елизавета. И сейчас просить не буду.

Каляев увидел: Федоров взволнован, у него вздрагивают губы.

— Я хочу говорить с вами, — сказал Каляев и ушибнулся мягко, — как бы сказать, казнь будет через несколько часов... как с последним человеком, которого вижу на земле. Только постарайтесь понять и исполните просьбу. Я не преступник и не убийца. Я воюющая сторона, сейчас слабейшая, в плену у врага, он может со мной делать, что хочет. Но душу мою, мои убеждения, идею мою он не отнимет, понимаете?

— Господин Каляев, я человек других убеждений, — проговорил Федоров.

На лицо Каляева вышла странная, насмешливая улыбка.

Федоров путался, Ему хотелось сделать что-нибудь приятное в последний раз маленькому, тщедушному человеку с тихим лицом.

— Может, вы хотите переговорить со мной наедине? Выйдите! — бросил он жандарму.

Жандарм споткнулся, зацепив шпорой о шпору, зазвенел и вышел. Но когда дверь заперлась, Каляеву показалось, что зря, что говорить не о чем. Федоров платком протирал пенсне.

— Странно, — глядя в пол, медленно произнес Каляев, — может быть, мы с вами были в одном университете?

— Я кончил в Москве, — проговорил Федоров, надевая пенсне.

— Я там начал, — сказал Каляев, но вдруг нервно вскочил и заходил по камере. — Если б вы знали, если б знали, как я волнуюсь. Поймите, я хочу, чтоб товарищи знали, что я иду на смерть совершенно спокойно и ни о каком помиловании не прошу.

Помолчав, Федоров сказал.

— Может вы хотите написать об этом? Я приглашу ротмистра, он засвидетельствует и это будет документ. Я передам его в палату.

— Но разве возможно? Да, да, пусть все знают, что умираю спокойно. Ведь это необходимо, поймите, в интересах дела. Спокойная смерть это сильный акт

революционной пропаганды. Это больше чем убийство.

Федоров думал: «боже мой, неужели у них таких много?»

Федоров встал. — Подождите, я принесу бумаги, — проговорил он, и распахнув дверь, сильно ударил приложившегося к скважине жандарма. «Что за гадость!» — бормотнул Федоров. — «Виноват, ваш-бродь», — проговорил жандарм, растирая ухо.

21.

Меж крепостной стеной и сараем строили виселицу. В темноте мелькали силуэты людей. Федоров отвернулся.

В доме коменданта поразили собравшиеся люди. Стояли представители сословий, три обывателя из мелких торговцев. Прислонясь задом к подоконнику, поглаживая бороду, стоял священник. Шумно обступили офицеры гарнизона генерала барона Медема, командированного присутствовать при казни Каляева министерством внутренних дел.

Перед генералом, на столе лежали ножи, молотки, ножницы.

— Прекрасные изделия делают, ваше превосходительство, не подумаешь, что способны, — говорил, показывая, комендант.

— Прелестно, — сказал генерал, держа молоток.

От блеска пуговиц, мундиров, разговоров у Федорова комком подступила тошнота. Он выбежал на крыльцо в темноту: — его вырвало. Проводя по вспотевшему от напряжения лбу, Федоров пошел к манежу.

Каляев, улыбаясь, проговорил:

— Вот, хорошо что пришли, а мне уж объявили.

Федоров прислонился к стене. Каляев писал. Но вдруг обернулся, вскочил. — «Где же шляпа? — проговорил он, — где моя шляпа? она была тут, — он

шарил по постели, — ах, вот она», — и схватив шляпу сделал шаг к Федорову.

— Я написал. Что ж мы ждем? Пойдемте, чем скорее, тем лучше. — Каляев в локте сжал руку Федорова, но смотрел мимо, на огонь лампы.

— Может быть вам что-нибудь передать?

— Передать? — сказал Каляев, как в забытьи. — Не знаю, что передать? Я никому зла не сделал, любил людей, за них умираю, что же передать? Главное не забудьте, что не унизился просьбой о помиловании. А нет, впрочем это неделикатно, лучше: — остался силен и не просил помилования, — улыбнулся блестящими глазами Каляев.

— Но у вас же есть мать? Я передам.

— Передадите? — забормотал Каляев, — сейчас. Он писал, рвал, бросал. Закрыв лицо руками, просидев несколько секунд, оторвавшись, стал снова писать:

«Дорогая незабвенная моя мать! Итак я умираю! Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к своему концу. Пусть же ваше горе, дорогие мои, все: — мать, братья, сестры потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа. Прощайте, привет всем от меня кто знал и помнит. завещаю вам: храните в чистоте имя моего отца. Не горюйте, не плачьте. Еще раз прощайте, я всегда с вами.

Иван Каляев».

Промокнув грязной промокашкой несколько раз, Каляев передал.

— Теперь я спокоен, пойдемте, пойдемте скорее.

Дверь навстречу ему отворилась. Вошел худой ротмистр с двумя солдатами.

— Приготовьтесь, — сказал худой ротмистр.

Легко улыбаясь, Каляев смотрел на ротмистра. Потом, повернувшись сказал Федорову:

— Прощайте, спасибо.

В столовой коменданта, освещенной лампами и канделябрами, шумели. За накрытым столом сидел генерал барон Медем. Возле генерала комендант по очереди хватался за бутылки. Представители сословий неуклюже ковыряли ножом рыбу.

— При семнадцатой, ваше превосходительство?

— Это вот будет семнадцатая, — поправил генерал комендант. — Присаживайтесь!

— Я при девятой, — смеялся хмелевший ротмистр.

— Молоды, доживете до моего, будете при семнадцатой.

— Да куда же вы? Закусите, прокурор? — кричал комендант. — Присаживайтесь.

В темноте двора Федоров сел на скамью под липами. Прямо, в отдалении темнела готовая виселица. Федоров смутно помнил, как из дома вышел генерал Медем, полукругом шли офицеры, священник и представители сословий. Открылись двери манежа. Под сильным конвоем с саблями наголо, в квадрате жандармов, с непокрытой головой шел маленький человек в обтрепанном сюртуке. Шея была голая.

Рассветало. Пахло липами. Федоров с трудом шел к виселице, именно потому, что слишком сильно пахло липами. Он слышал, как читали приговор. Подошел священник. Каляев отстранил крест.

— Уйдите, батюшка, счеты с жизнью кончены. Я умираю спокойно.

И тут же подошел палач Филиппев, надвинув на Каляева саван.

— Взойдите на ступеньку, — сказал хрипло Филиппев.

Из мешка чуть придушенный, но спокойный, раздался голос:

— Да как же я войду. У меня мешок на голове, я ничего не вижу

Федоров отвернулся, закрыв лицо, сделал три шага.

Удивился, почти тут же услышав шаги. Шли генерал барон Медем, офицеры, представители сословий, священник.

От ворот Федоров обернулся. На виселице качалась, казавшаяся очень маленькой, фигурка в саване.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

1.

В мае повесили Каляева. К осени загорелась бледносиним огнем Россия, показывая градусы плавки. Пьяными, озлобленными реками текла из Сибири разбитая японцами армия. На железных дорогах войска разносили вокзалы, грабили базары. Агитаторы наполняли вагоны солдат революционной литературой. И вернувшемуся с портсмутского мира Витте тихо проговорил престарелый граф Сольский:

— Сергей Юльевич, спасите Россию от пролития крови внутри.

Уличные мальчишки хохотали над императором. Каскадные певицы в кафешантанах, задирая ноги, пели шансонетки о поражении. Студенты волновались. Профессора требовали автономии. Бастовали фабрики и заводы. Огнем восстаний крестьян горела Балтика. Командующий войсками генерал Фрезе вступил с повстанцами в бой. Взволновался Кавказ. Бессильный наместник, граф Воронцов-Дашков, телеграфно запрашивал Петербург, что предпринять в разворачивающихся событиях. В юго-западном крае под давлением выступившей революцией бежал с поста генерал Клейгельс. К многотысячной толпе с красными знаменами, в Москве, немошно, не зная, что делать, на переговоры вышел заместитель разорванного Сергея П. П. Дурново. В Царстве Польском восстания пара-

лизовали власть генерала Максимовича. Он скрылся в подваршавской даче. Буйствовала Сибирь мчавшимися эшелонами войск. Иркутский генерал-губернатор граф Кутайсов и омский генерал Сухотин оба оказались беспомощными, ночью и днем охраняясь усиленным конвоем. Над севшим на паровоз министром путей сообщения кн. Хилковым, желавшим воодушевить машинистов, железнодорожники рассмеялись и стащили его с паровоза. Бастовали фабрики, чиновники, магазины. Во дворцах пошли тайные заседания придворных о возведении на престол Дмитрия Павловича с регентшей вел. кн. Елизаветой Федоровной. Кадетская партия хотела видеть президентом российской республики князя Долгорукова. Черносотенцы в чайных агитировали за возведение на престол члена союза русского народа князя Щербатова. И миллионер с монгольским лицом, Савва Морозов проговорил в ресторане: — Довольно, пора все перевернуть!

2.

Окруженный треповскими молодцами, император бежал из Зимнего в Петергоф. В эти дни нравились маленькие дворцы. Император в волнении с женой поджидал Витте. Были темные, осенние, октябрьские дни. Витте мог приехать только по Неве на пароходе с верной командой.

Пароход «Император» быстро шел Невой. Нева была стальная. Волны походили на морские. Летели рваные тучи. В зале за завтраком тихо сидели, изредка стуча о тарелки вилками и ножами, — обергофмаршал граф Бенкендорф, граф Витте, барон Фредерикс и помощник управляющего делами комитета министров Вуич. В зеркальное, продолговатое окно виднелись летящие осенние тучи. Накрапывал мелкий дождь. Молчали. Злые тучи и острый, игольчатый дождь навевал скуку и тоску на едущих.

Менее мрачен был Витте. Старый интриган знал, зачем едет. Доедая рябчика с брусникой, обращаясь к молчавшему Фредериксу, он громко рассказывал о принце А. П. Ольденбургском.

— Александр Петрович, милейший человек, барон, но знаете не без странностей. Помню, председательствовал принц в комиссии по борьбе с чумой в киргизских степях. Приезжаю однажды к нему, а принц необычайно сумрачен. Говорим о делах, к нему все подбегает камердинер, что то докладывает. Я готов был счесть за неучтивость. Но вижу, принц действительно взволнован, и даже среди разговора вдруг вскакивает, бежит и кричит: — Пожалуйста, подождите! — Жду, выходит Александр Петрович радостный, с порога кричит: — Проснулась! Проснулась!

— Кто, говорю, изволил, ваше высочество, проснуться?

— Да, няня, говорит, у нас в доме очень старая, так вот она несколько дней тому назад заснула и не просыпается. Принимали разнообразные меры. А я, говорит, сейчас догадался, пришел и закатил ей громадный клистир! И понимаете, вскочила старушка, как встрепанная, — захохотал Витте.

Вуич задержал улыбку. Обергофмаршал граф Бенкендорф, старик с изможденно-породистым лицом, не слушал Витте, доедая котлету марешаль. Доев, туго вытер узкие, тонкие, синеватые губы и, глядя старческими глазами в окно, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Очень жаль, что у их величеств пятеро детей.

Витте обернулся к пергаментному обергофмаршалу.

— Вы хотите сказать, граф, было бы лучше, если б у их величеств вместо четырех дочерей было четыре сына? Так я осмелюсь понять?

— Нет, граф, — с иронией к еще невысохшему графскому титулу проговорил Бенкендорф. — Жаль потому, что в случае надобности быстро покинуть Пе-

тергоф, чтоб искать убежища за границей дети будут служить препятствием. С детьми хлопотно.

— Ах, вот в каком смысле, граф, но я думаю, до этого, боже спаси, не дойдет.

— И я думаю, — перебил старый обергофмаршал, умолк, умными глазами с обмякшими красноватыми веками глядя в окно на налетающие на пароход обрывки черных, быстро несущихся туч.

3.

Император был в нетерпении. То садился, то ходил, то стоял у стола, то отходил. Император был в беспокойстве. От погоды. От того, что приезжающие будут долго, непонятно говорить.

Императора волновал дождь. У него разыгрывался ишиас. Последние вести о разрастающейся забастовке, о кадетском съезде с речью Милюкова, придворные скрыли.

«Если б выглянуло солнышко, если б выглянуло солнышко», — беспрестанно повторял, не слыша голоса, Николай II-й.

В дверь вошли: императрица, Трепов и Оболенский.

— Они приехали — сказала сухо и злобно императрица. Трепов и Оболенский остановились у дверей. Подойдя вплотную к царю, обнимая и целуя его, императрица прошептала: — «Будь тверд, не давай им много». Император болезненно сморщился, отстраняя второй поцелуй.

— Скажи, чтоб вошли, — обратился он к Трепову.

Трепов зазвенел шпорами. За ним вышел Оболенский.

Императрица села у стола. Опершись головой на руки, император сидел за письменным столом, где обычно принимал доклады. На нем была полковничья стрелковая форма.

На тяжелые шаги Витте, он поднял голову. За Витте шли Бенкендорф и Фредерикс. Император встал навстречу. Улыбаясь, пожал руку Витте.

— Как я рад вас видеть в такой тяжелый момент для родины, Сергей Юльевич.

— Жизнь и знания мои в вашем распоряжении, ваше величество, — склонил голову Витте. Но это было странно, он был гораздо выше царя.

Витте поздоровался с императрицей. Матовое, мертвое лицо было маской. Она ненавидела «безносого графа». И пришла слушать его интриги против их власти.

— Садитесь, Сергей Юльевич, — император был прост, радушен, он знал, что уже сделано лицо № 2, которым очаровывает, если хочет.

— Ну как съездили? Как Рузвельт? Как Америка? Ах, да простите, чтоб не забыть, меня очень интересует, вы были в Роминтене, там этот безнравственный граф Эйленбург, кажется, имеет на Вилли большое влияние?

— Насколько я мог судить, ваше величество, — покорно начал Витте.

Его перебил порыв ветра и ударивший в окно кошой дождь.

Императрица повернулась к окну. За ее взглядом повернулись головы придворных. В это время без стука вошел Трепов, звеня шпорами прошел и сел на диван.

Витте рассказывал о Роминтене.

4.

Только к вечеру император вызвал Витте в кабинет. Они шли — громадный Витте в расшитом мундире с ключем на заднице. И маленький желтоватый стрелок-полковник.

Когда сели, у императора болезненно сморщилось лицо, он тихо проговорил:

— Вы, конечно, знаете, что у нас происходит и понимаете, как мне все это больно, граф (он умышленно назвал его графом, подчеркивая монаршью милость). Я хочу знать сейчас ваше мнение о событиях, — запинаясь, говорил император.

— Ваше императорское величество, — торжественно начал Витте, поправляясь в кресле и вытягивая ноги, но так, чтобы этого не заметил царь. — Вы, конечно, помните мое мнение, высказанное вашему величеству перед началом нашей несчастной войны. Но тогда вашему величеству благоугодно было воспользоваться другим мнением, покойного министра внутренних дел...

Царь сморщил переносицу, холодно произнес:

— Зачем вы говорите мне неприятности?

— Простите, ваше величество, я говорил их и вашему в бозе почившему августейшему отцу, императору Александру III-му и позвольте...

В это время в дверь вошла императрица.

— Я не помешаю, Ники? — сказала она по английски.

— Нет, нет, Алис, очень хорошо.

— По моему мнению из создавшегося вследствие несчастной для нас войны тяжелого положения имеются, ваше величество, два выхода. Я буду счастлив, если какой либо из них совпадет с вашим мнением. Первый выход...

Император сдерживал нервный зевок, закрывая подбородок рукой.

...облечь соответствующее лицо полновластием и подавить с непоколебимой энергией смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи, полагаю, ваше величество, надо избрать человека военного, коему была бы свойственна сила и решительность в проведении суровых мер до конца.

Витте посмотрел на Николая. Его лицо не выражало ничего. Императору было скучно.

— Конечно, этот вопрос чрезвычайной важности следовало бы, по моему мнению, обсудить в совещании

с другими государственными деятелями и с лицами царской семьи, коих дело это существенно может коснуться, — говорил Витте громким, тягучим голосом.

Царь и царица смотрели на него без выражения.

— Второй путь, дабы успокоить страну, и путь, который я бы считал более целесообразным, — осторожно сказал Витте, — это путь более или менее широких реформ, ваше величество, которые бы могли вы обнаружить в виде манифеста.

— Каких реформ? — устало проговорил император, подпирая рукой щеку.

— Дарование основ некоторой гражданской свободы, ваше величество. Не останавливая предназначенных выборов в государственную думу, привлечь к участию, по мере возможности, классы населения, которые лишены избирательных прав.

— Это невосможно, — с акцентом произнесла царица и уставилась в Витте холодом злых, ясных, немецких глаз. — Это революция сверху, Россия не есть западная страна.

Витте обернулся, отдавая ей учтивый поклон.

Император молчал, смотрел в окно. Косой дождь бил редкими полосами. Из последних туч над старым парком показывалось солнце. Император вспомнил, что дождь при солнце называется «слепой дождь».

Молчание в комнате длилось долго.

— Осмелюсь спросить, ваше величество, — прервал молчание тягучий голос министра — вашего мнения относительно изложенных мною мыслей, ваш великий пращур говорил: — промедление смерти подобно. В данный же момент страна накануне революции.

Лицо царя недовольно сморщилось. Голубоватые глаза, в длинных женских ресницах пристально, устало смотрели на министра.

— Я сердечно благодарю вас, граф, за высказанные вами ценные государственные мысли, — сказал он, — но в данный момент затрудняюсь иметь по ним суждение. Я вызову вас завтра, может быть после-

завтра. Время терпит, — прибавил, иронически улыбувшись, царь и встал, протягивая руку.

Витте, низко поклонившись царю и царице, вышел.

— Он есть негодяй, — передернувшись в кресле, проговорила Александра Федоровна.

— Сколько раз, Алис, я говорил тебе, что по русски не говорят «он есть». Это по немецки. По русски говорят просто: «он негодяй». — Император захотал.

Был уже вечер. Дождь перестал. В окне: — дворцовый парк застывал в мокрых, ароматных сумерках.

5.

Император тосковал. Осенью он выезжал в беложежские заповедники. За охотничьим завтраком пил с егерями сливянку. Стоял на номере, замирающе слушая гон. Заслышав от песенного гона бегущего зверя, царь чувствовал удары сердца, было неизъяснимо ощущение подброшенной двустволки.

В заповедники царь ехать не мог. С ужасом думал он о приезде вел. кн. Николая Николаевича. На приезде настояла родня. Царь боялся дядю. Великий князь громаден, шумен, криклив, голос, словно великий князь командует на плацу дивизией. Князь пересыпал речь грубостями.

Но он уж прибыл из тульского имения «Першино» в Зимний дворец. Пока спешно мыли, чистили белоснежный пароход «Император», князь ходил по кабинету барона Фредерикса, грандиозными, раскидистыми шагами, словно вот, вот разорвется. Он был в серосиних рейтузах с золотым позументом.

Рыжий лис с князем был откровенен. Немало шантанных шуток спаяло их молодость. Фредерикс говорил князю тоном дружбы:

— Видишь, что происходит? Чорт знает что! Не можешь представить, что у меня в имении творится, в Сиверской? Прямо, что-то вроде революции. Без

нагайки тут не справишься. А нагайка не Митьки Трепова нужна, я в нем разочаровался, а дедушкина должна быть нагайка, романовская!

— То-есть? — глухо прокричал великий князь, останавливаясь раскорякой, засунув в рейтузы руки.

— Твоя, Коля.

Великий князь смотрел мутно, усмевающимся взглядом. Из серосиних рейтуз медленно вынул блестящий браунинг.

— Видал? — закричал он. — Ну так и знай! Еду к государю, буду умолять подписать манифест. Если не подпишет, в кабинете пушу себе пулю в лоб!

Не дожидаясь, великий князь гигантскими, разорванными шагами вышел. Гаркнув лакеям, конвою, адъютантам, отплыл в Петергоф.

Фредерикс был ошеломлен. Долго сидел не понимая. Наконец позвонил герцогу Лейхтенбергскому. Герцог сказал, что перед отъездом из «Першина», в имении Николая Николаевича состоялось заседание. По разлинованному листу бежало блюдце и говорило, как должно поступить в Петергофе. Блюдце было за манифест. После того, в старом доме в темноте тихо сами собой завертелись стулья.

6.

Николай II-й был бледен. В ожидании великого князя бледность усилилась. А когда князь вошел, голос оказался громче представляемого. Великий князь ходил в непонятном возбуждении, грозившим перейти границы. «Уж не пьян ли?» — пронеслось у императора, он мягко спросил:

— Ники, ты завтракал?

— Завтракал, — прокричал великий князь и внезапно выхватил блестящий револьвер из серосиних рейтуз.

— Что такое? — привстал бледный император.

— Я верный сын бога, родины и моего государя, — торжественно начал великий князь.

В петергофском дворце, на берегу моря, в присутствии счастливого графа Витте, недовольного барона Фредерикса и веселого, с легким букетом красного вина, Николая Николаевича, Николай II-й сидел за столом, стоящим на возвышенности, где обычно принимал доклады. Перед царем лежал манифест. Минута была торжественна. Царь стал читать:

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей, великой и тяжелою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печали народные его печали...»

Дочитав, царь перекрестился. Сел, детским почерком подписал «Николай».

— Поставить дату? — спросил он Витте.

Витте почтительно наклонил голову.

Царь поставил дату и написал «Петергоф».

8.

В кресле, как всегда, бледный, закутанный во что-то шерстяное, сидел Гоц. Рядом, контрастируя мясной полнотой, курил папиросу Азеф. Видно было, что они долго разговаривали. Чернов вошел в профессорской шляпе.

Гоц подал «Журналь де Женев».

— Прежде всего читай, — сказал он.

— Ну, что скажешь? — спросил, следя за лицом Чернова, Гоц.

— То есть, как что? — отходя, беря стул, садясь ближе, сказал Чернов. — Новый шаг, довольно крупная уступка. Маневрируют.

— Ловушка?

— Приходится бабе вертеться, коль некуда деться.

— Ну от тебя то Виктор я этого не ожидал, — процедил, попыхивая папироской, Азеф.—Сейчас Ми-

нор был, все кричал, мы де наивные люди, это, чтобы нас эмигрантов в Россию заманить. Видите ли, расконспирируемся, они нас сгребут и крышка. И ты думаешь для нашей милости Россию вверх ногами поставили? Переменили самодержавие на конституционный строй! Высоко ценишь, Виктор!

— Да двойственный характер манифеста в глаза бьет! Конечно, маневр! *Divide et impera!* Вот что! Успокой оппозицию, раздави революцию!

— Ты не прав, Виктор,—сказал Гоц,—первым словам манифеста я не придаю значения. Это фасад, стремление уберечь «престиж власти». Конечно, правительство долго будет барахтаться, предлагать обществу услуги для подавления крайностей. Но ясно: — со старым режимом кончено. Это конец абсолютизма, конституция, новая эра. И нечего говорить о лоушках. Как после крымской кампании был предreshен вопрос освобождения крестьян, так после японской — конституция. Нашу тактику борьбы это разумеется сильно меняет.

Вошел Савинков, здоровался, а Гоц говорил:

— Вот возьми, например, хотя бы Ивана Николаевича с Павлом Ивановичем, им остается сказать «ныне отпускаеши». С террором кончено. Может ты другого мнения?

— Да, да, — повышено быстро, даже неразборчиво, заговорил Чернов, — в этом ты прав, с террором надо повоздержаться, это верно, то есть не то, чтобы кончено совсем, — заметил он пренебрежительную улыбку Савинкова, — а надо держать под ружьем, чтобы в любой момент снова двинуть.

— Засолить, так сказать, впрок, — перебил Савинков.

— Уж там понимайте, с укропцем, без укропца, а, конечно, подсолить придется.

Вошли Шишко, Авксентьев, Сухомлин, Фундаминский, Ракитников, Тютчев, Натансон, группа боевиков. Возбужденные, видимо только что спорившие. Войдя, сразу заговорили. Савинков отсел в угол. Го-

ворил Шишко, развеивая бороду, страстно, как юноша, слегка пришепetyвая. Кричал, что надо сейчас бросить партию к массам, широким фронтом вести наступление.

— Постой, Леонид, а террор?

— Террор? — остановился Шишко. — Что же террор? Террор пока конечно невозможен.

— Правильно! Держать под ружьем, не приступать к действию.

— Разрешите! — крикнул Савинков!

К нему обернулись. Одной рукой Савинков держался за широкий борт пиджака. Другая была в кармане. Вид был вызывающ. В фигуре пренебрежение. Не меняя позы, говорил, что надо бить правительство на улицах, в зданиях, на площадях, во дворцах и тогда вспыхнет настоящая Македония, о которой мечтал повешенный Каляев. Он был страстен, красив в речи.

— Надо понимать что такое террорист, надо знать, что престиж партии поднят террором, надо уметь не бояться славы террора, славы смерти наших товарищей! Только нанося удары ножом, револьвером и бомбой мы завоюем подлинный контакт с массами и подыдем всероссийскую революцию. Я слышу речи, чтоб держать боевую под ружьем, «засолить». Как боевик протестую против оскорбительной постановки вопроса. Нас нельзя засаливать впрок! Мы не огурцы, мы революционеры, для нас психологически невозможна такая постановка вопроса! Мы дали партии славу, мы дали партии средства, так нечего ж, ослепившись какими-то конституциями, откидывать нас, как ненужный партии хлам! Мы отдали жизнь террору и, если я не ошибаюсь, мы террористическая партия! Мы не смеем склонять свое знамя в момент, когда его надо широко развернуть над Россией красным полотнищем и поднять ветер революции! Мы террористы-боевики мыслим так! Мы не дадим выбросить нас в самый острый момент за борт и тем погубить приобретенную славу партии освященную именами Сазонова, Каляева. Нет, я не верю, что свергнуты

вается знамя террора. Напротив мы должны дать, в гимне начавшейся музыки революции, могучее кресчендо! Пусть дадут задание совершить самый смелый, самый отчаянный акт! Мы возьмем его. Пусть скажут ворваться в Зимний с поясами, наполненными динамитом! Мы это сделаем. Во имя революции, во имя славы террора! И это произведет больший взрыв в стране, чем газетное объединение с массами! С массами объединяет кровь, а не типографская краска! Я не знаю, как решит ЦК, но думаю что выражаю мнение всех боевиков, говорю от их имени: — мы не опустим знамя террора, которое вымочили в крови товарищей, которое нам свято! Мы хотим жертв и пойдем на них во имя всероссийской революции!

Савинков чувствовал возбуждение от охватившего подъема. Речь была удачна. На лицах боевиков он читал восторг. Не видел только лица Азефа. Азеф сидел спиной.

— Нечего мудрить над революцией, молодые люди, уж позвольте обратиться так, — встал старый Минор, потряхивая бородкой и кудельками, — революции, батюшка, со стороны ничего не навяжешь, не прикажешь, спасительных рецептов ей прописывать нечего, она идет, она налицо и патетические речи Павла Ивановича художественно хороши, но не к лицу в данный момент. К чему тут револьверные выстрелы?

Савинков стоял бледный. Он ждал Азефа. Встал Фундаминский, поправил усы, снял пенсне, заговорил гладко.

— Насущной задачей партии в данный момент является аграрный вопрос, разрешение которого будет исторической миссией партии. Террористическая борьба отжила свое, отнимая людей и средства, она ослабляет партию, мешает разрешить ее главную экономическую задачу.

Савинков ждал речи Азефа. Заговорил Гоц, соглашаясь с Фундаминским, Сухомлин, соглашаясь с Гоцем, Натансон, соглашаясь с Сухомлиным, Авксен-

тьев, соглашаясь с Натансоном. Последним встал Азеф. Его слушали все.

Он стоял, искривясь толстым телом, не отрывая руки от кресла.

— Я буду краток, — рокотал он уверенно и твердо, — вмешательство в ход стихии социальных масс считаю гибелью. Мы помогали революции выйти из глухих берегов, она разливается. Мы должны заботиться, чтоб не быть оттертыми ею. Я шел с партией, отдавая свою жизнь. Теперь пора многое пересмотреть из программного и тактического багажа. Говорю, как будет достигнута конституция, стану последовательным легалистом. Что ж касается, чтоб держать под ружьем БО, это слова. Держать под ружьем БО нельзя. Я выслушал членов ЦК, беру на свою ответственность: — боевая организация распущена.

Азеф грузно сел и взял с пепельницы недокуренную папиросу.

9.

Когда кончилось собрание, Савинков подошел к Азефу.

— Что это значит, ты распускаешь БО?

— А ты не слыхал все эти разговоры? Как же можно вести дело? — Азеф ласково улыбнулся, хлопывая Савинкова по плечу: — Не кручинься, барин, найдем работу.

К ним подошел Чернов.

— Иван, пойдемте закусим в «Либерте», жрать хочется — желудок сводит.

— Это у тебя от речей. Пойдем, Павел Иванович, выпьем за упокой, — гнусаво прохотал Азеф.

Чернов, Савинков и Азеф сидели в красноватом ресторанчике «Либерте». Красноват он был от красных лампионов, от пола, затянутого красным сукном. Чернов любил ресторан за интенсивно-красный цвет. Стол был дальний. Народу в ресторане не было.

Если не считать женщину и мужчину, целовавшихся в полутемной кабине.

— Ну и манифестик! Весь день проболтались, не заметили даже, что не жрали! Это вам скажу манифестик! Настоященский! — хохотал Виктор Михайлович.

Азеф ел, не слушая. Лучше всех держал нож и вилку Савинков. Держал, как учила в детстве Софья Александровна. Чернов зажимал попростежки в кулаке. А Азеф ковырял котлету в достаточной мере кровожадно, что даже заметил отошедший от них метр д'отель.

— Да, интересное времячко. Сам в Россию поеду, своими глазами прикину, как это выходит. Вести то хороши, да свой глаз ватерпас.

— Если будет настоящая конституция, нам работать не придется, — прохрипел Азеф, выплевывая жилы на тарелку.

— Что ты, Ваня, в таком пессимизме, кто же работать-то будет, а?

— Кадеты. Нас ототрут.

— Чудишь, толстый, чудишь, — захохотал Чернов.

— Вот увидишь.

— Нет, какую чудовищную ошибку совершает ЦК! Вы поймете это через полгода, через год, уверяю вас. Но тогда может быть уже поздно, — говорил бледный, взвинченный Савинков.

— А вы все о своем? Кто про что, кузнец про угли. Преувеличиваете, Павел Иванович, преувеличиваете, голубок. Ошибки не сделано. Правильно поступлено. Разумно, хладнокровно, хотя конечно... без эстетики... — расхохотался Чернов, вскидывая сытым животом.

— Дело тут не в эстетике, Виктор Михайлович, а в здоровой политике. Бросаете террор, когда он нужнее всего. А если хотите насчет «эстетики», то скажу, что боевое дело надо понимать. Сейчас создалась боевая, а через год может ее и не создадите. Люди жи-

лись, сработались, верят друг другу. Да наконец люди отдали себя террору, а теперь что же? Писарями сделаете? У нас к террористу такое отношение — болезненно смеялся Савинков, — нужен, иди, бей, взрывай, подставляй лоб, нужда кончилась — ко всем чертям, с тобой не считаются, а то, что может с бомбами свою душу выкинул, не в счет, сдачи не дается.

— Ах душа-душа, душа-то может и хороша, да когда живет не спеша, кормилец, Борис Викторович. Дело тут у вас вижу не столько революционное, партийное, сколько личное, голубчик. Ну что же, личные драмы, голубок, всякие бывают, ну влюбились в бомбочку и расставаться жалко, — тонко смеялся Чернов, — а расстаться, хоть может и временно, а нужно, голубок, нужно, ничего тут не поделаешь. Дело то уж слишком ясное: — самодержавие, борьба, поэзия, романтизм жертвы, будить героизмом массы, это все, батюшка, понимаем, дело неплохое к тому же красивое, прямо говорю красивое дело, за то и ореол носите «герой, мол», даром он ореол-то тоже не дается, не дается. Но вот открылись новые горизонты, вы и пасуете, бомбочку-то бросить жаль, жаль расстаться то с ней и с ореолом. Вы меня уж по дружбе то простите, ореол то вещь тоже притягательная, чего уж там говорить — все мы люди, все человеки, рисовали поди смерть то красивую, смерть за Россию, как Егор, как Иван, да... нет уж ничего тут не поделаешь, а насчет того чтобы в Зимний то вторгаться, взрываться с динамитными поясами, так простите это же такая отчаянная романтика, что ужас! Понимаю, конечно, хочется вам эдакое динамитное кресчендо произнести, без него, чудится, клякса выйдет, но, голубок вы мой, ни к чему затеяли, пустенькое предложение, личная драма, личная...

После плотной еды Азеф ковырял в зубах зубочисткой. Трудно было понять, слушает он или нет. Азеф смотрел в одну точку на сиденье пустого стула.

— Ну хотя бы и личная! — говорил Савинков, — понимаю, что ЦК всех личных драм на учет взять не может. Но дело то в том, что личная драма, как вы говорите, — драма всех боевиков, товарищей, а их человек 50 в наличии, людей довольно надо полагать решительных, людей террор бросать не желающих. Скажите вы вот мне на милость, что же я и товарищи должны теперь делать? Убить Дурново? Запрещаете. Убить Витте? Запрещаете. Убить Николая? Тоже, оказывается, не ко времени. Так что же? — развел руками Савинков, раскрывая угольковые монгольские глаза. — Может одного вы мне все таки не запретите? Подойти на улице к какому-нибудь жандарму Тутушкину и всадить в него последнюю пулю! Это ведь карт вашей игры, надеюсь, не смешает? А на мельницу революции все же вода! Тутушкин не Дурново, не Витте, не царь всероссийский, пройдет незаметно, для меня же по крайней мере не будет изменой всему моему прошлому.

— Это уж, тут ответить не берусь, дело ваше, хозяйское, — залиvisto тоненько захохотал Чернов и потребовал рюмочку бенедиктину.

— Пойдем, — гиппопотамом зевая, проговорил Азеф.

— Погоди, толстый, посошок выпью и пойдем.

10.

Женева спала тихими, сонными улицами. Рю Верден, по которой шли Азеф и Чернов, погасала постепенно. Ехал черный велосипедист. Доезжая до фонаря, поднимал шест. Квартал улицы погружался в мрак. Черный человек катился дальше. Чернова с Азефом он проехал, не обратив вниманья. Они шли в полной темноте.

— Все эти Тутушкины, Зимний дворец, разумеется, пустяки, — рокотал Азеф. — С террором надо покончить, это верно, только вот одно еще

осталось. Это имело бы смысл, логически завершая борьбу и политически не помешало бы.

— О чем ты?

— Охранное взорвать? А?

Улица была пуста, темна. Грохнули жадюзи. Все замерло.

— Как ты думаешь, Виктор? Стоящее дело, правда? Кто может что-нибудь возразить? Охранка живой символ всего низкого, подлого в самодержавии. И пойми — просто сделать. Под видом кареты с арестованными во внутренний двор ввезем пять пудов динамиту. Ррррраз! Никаких следов от клоаки! Все к чортовой матери со всеми генералами!

— Как тебе сказать, дело конечно хорошее, — проговорил Чернов, — хотя тоже, пожалуй, романтика больше, а? — он взял Азефа под руку, он шли медленно. В дверях магазина в странном костюме, похожем на чуйку, сидел сторож, сидя спал.

— Что ты, какая к чорту романтика! Нужное дело, ты подумай!

Они стояли на углу. Расплывался синий рассвет. Город прорезался в тумане. Туман шел к небу. Оголились здания. Появлялись спешащие люди.

— Нннет, Иван, не знаю, пожалуй и ни к чему.

— Да нет, важно, Виктор, очень важно. Я еще вернусь к этому плану. Ты подумай.

11.

Утро было как тысяча утр, как две тысячи. Самое обыкновенное, с солнцем, небом, легким ветром. Но в квартире Чернова совершалось необычайное. Виктор Михайлович, как пошел в утреннюю уборную, так и запел — «Как король шел на войну».

Громогласно пел в уборной Чернов, плещась водой. Он твердо решил ехать в Россию. Самому увидеть революцию. Но песня о короле, отправившемся в «чужу дальнюю страну», внезапно оборвалась. Виктор

Михайлович на всю квартиру закричал, стараясь придать голосу еврейский акцент.

— Настенька, милая, чорт знает что! Не акцентирую! — кричал Виктор Михайлович из уборной.

— Но как же, Витя, ты поедешь по этому паспорту?

— Шут знает! Не знаю, — и Чернов рассматривал последний, оставшийся партийный паспорт на имя Арона Футера, снова идя корридором, напевая — «Как король шел на войну».

12.

Кроме прикованного к креслу Гоца, все эс-эры уезжали в подымавшуюся Россию. Ехали с волнением, надеждами. Ехал Азеф, ехал Савинкоз. В отеле «Мажестик» чемоданы Азефа были увязаны. Он перечитывал письмо певицы «Шато да Флер» — Хеди де Херо. Конечно, Хеди была не де Херо. А просто Хедвиг Мюллер из саксонской деревеньки Фридрихсдорф. Но среди кокоток русских кабаков Хедвиг гремела, как „La bella Hedy de Negro“ и, став подружкой вел. кн. Кирилла Владимировича, ездила с ним даже на войну с японцами.

«Доброе утро Hänschen! Семь часов, сейчас ты встает и позевывает по тому что еще очень рано. После чая гуляет в красивый парк. Я спросила тебе как здоровье? Думаю хорошо, здоровье лучше (besser) чем последнее время в Петербург. Ну теперь я встаю... Время после обеда. Я ложусь на столе балкона, выдаю легкие тучки, выдаю Eisenbahn. Печалю оттого, что не могу притти к тебе. Но я знаю увидимся и это мне очень радоваться. Вспоминаю что ты не любишь шоколад, но я знаю что тебе нравится горячий чай и буду вариться его тебе. Я очень обрадована получить твой письмо, что ты хорошо поправил свой здоровье. Я хочу подарить тебе чудный Kissen. Я

знаю что полежать этот Kissen очень надо для тебя. Пожалуйста пидай мне по немецки. Хеди.»

Азеф достал открытку, обыкновенную «карт-посталь», с изображением роскошной брюнетки, декольтированной в отлет. В волосах эспри. Зубы обнажены в запрокинутой улыбке. Черты германки определенны, ясны. Хеди очень полных, красивых форм.

Даже глядя на открытку Азеф почувствовал возбуждение. Рот развела растяжка приятных воспоминаний. Он знал запрокинутую шею, руки, ноги, губы. Они встретились перед убийством Плеве в «Аквариуме», где выступала Хеди. Они ели ананас.

Азеф любил Хеди. И сел писать ответ:

„Meine süsse Pipel!

Понимаешь ли ты и знаешь ли, как я о тебе мечтаю. Вот сейчас передо мной твоя открытка, которую целую. Ах, как я бы хотел, чтобы ты была со мной, как бы мы мило провели время. С деньгами у меня не важно, но все же я присмотрел тебе красивую шубку из норки, какую ты хотела иметь. Мейне зюссе Пипель! ты должна обставить нашу квартирку уютно, как я и ты любим. Я вышлю тебе деньги, деньги у меня будут. Перед приездом я тогда тебе пошлю телеграмму. Выкупи обстановку, которую сдали на хранение Подъячеву на Зверинской, как получишь деньги. Мы славно проведем время в Петербурге. Я отдохну с тобой, мы не будем расставаться. Как я мечтаю с тобой снова проводить те ночки, как раньше, представляю тебя, целую мысленно тебя часто, часто. А ты? Как ты ведешь себя? Смотри, я не люблю твоих старых знакомых. И прошу не встречайся с ними. Пора уже быть „solide“ и „anständig“. Мне тут раз не повезло. Хотел выиграть для тебя в казино, играл на твое счастье, чтобы нам в Петербурге было еще веселей. Удивительно, всем счастье, а папочке никогда. На втором кругу сорвали. Понимаешь как я

был зол. Ну буду писать тебе скоро, помни и думай о твоём Муши-Пуши.

Всю мою либе зюссе Пипель, папочка щекочет шершавыми усами.

Dein einziges armes Hänschen“.

Азеф заклеивал письмо жирным языком, закатив глаза так, что видны были только желтые белки.

13.

Савинков писал: —

«Дорогая Нина! Я пишу тебе «дорогая», а сам не знаю, — дорогая ты мне или нет? Нет, конечно, ты мне дорога, а потому и дорогая. Иногда я думаю, что теперь, когда встретимся ты не поймешь меня. Не найдешь, кого знала и любила. Нового, может быть, разлюбишь. Жизнь делает людей. Иногда я не знаю: — живешь ли ты? Вот сейчас вижу: — в Петербурге осенняя грязь, хмурится утро, волны в Неве как свинец, за Невой туманная тень, острый шпиль — крепость. Я знаю: в этом городе живешь ты. Порой ничего не вижу. Люди, для которых жизнь стекло, — тяжелы.

Недавно я уезжал. Был ночью на берегу озера. Волны сонно вздыхали, ползли на берег, мыли песок. Был туман. В белесой траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Влажное и водное обнимало меня. Я не знал, где конец, начало, море, земля. Ни звезды, ни просвета. Мгла. Это наша жизнь, Нина. Я не знаю в чем закон этой мглы? Говорят, нужно любить человека? Ну а если нет любви? Без любви ведь нельзя любить. Говорят о грехе. Я не знаю, что такое грех?

Мне бывает тяжело. Оттого что в мире все стало чужим. Я не могу тебе о многом писать. Последние дни стало тяжелей. Помню, я был на севере, тогда, в Норвегии, когда бежал из Вологды. Помню пришел

в первый норвежский рыбацкий поселок. Ни дерева, ни куста, ни травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаном тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. И все кругом — рыбаки, рыба, океан — мне чужие. Но тогда не было страшно, у меня было *мое*, где то. Теперь я знаю: — моего в жизни нет. Кажется даже, что жизни нет, хотя я вижу детей, вижу любовь. Кажется есть только — смерть и время. Не знаю, что бы я мог делать в мирной жизни? Мне не нужна мирная жизнь. Мне нужна, если нужна, то не мирная, я не хочу мирной ни для себя, ни для кого. Часто думаю о Янеке. Завидую *вере*. Он свят в своей смерти, по детски, он верил. В его муках поэтому была правда. А во мне этого нет. Мне кажется, как он я не умру. Люди разные. Святость недоступна. Я умру (быть может на том же посту, но — темною смертью. Ибо в горьких водах — — полынь. Есть корабли с надломленной кормой и без конечной цели. Ни в рай на земле, ни в рай на небе не верую. Но я хочу борьбы. Мне *нужна* борьба. И вот я борюсь ни во имя чего. За себя борюсь. Во имя того, что я хочу борьбы. Но мне скучно от одиночества, от стеклянных стен.

Недели через две я наверное приеду. Я хочу чтоб ты жила возле меня. Люблю ли? Я не знаю, что такое любовь? Мне кажется, любви нет. Но хочу, чтобы ты была возле. Мне будет спокойней. Может быть это и есть любовь?

В прошлый вторник я переслал с товарищем 220 рублей.

Твой Борис Савинков».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

1.

Премьер-министр граф С. Ю. Витте был разбужен телефонным звонком. — «Кого чорт дерет в такую рань», — проговорил старый министр, подходя к телефону в халате.

Отложив трубку, он крикнул: — Матильда!

— Ну?! — отозвалась графиня. У нее был резкий голос и вульгарная внешность.

— Я говорил с департаментом, — сказал Витте, — Рачковский настаивает, чтобы переехали в Зимний.

— Что за новости? — протянула графиня, жить во дворце было ее мечтой.

— Говорит, здесь оставаться нельзя, отдаленно от министерств, не ручается за охрану жизни.

— Хороша охрана, нечего сказать, — резко рассмеелась графиня, — не может охранить жизнь премьер-министра!

Графине нравилось быть женой премьер-министра.

— Ну?

— Переедем конечно.

2.

Витте был в годах, но силен. С волей соединялся ум, безпринципность и ловкость интриги. На фоне падения империи он появился, как враг, достойный страстной борьбы.

Старый Витте слышал приближающийся ход революции. Волновал Совет Рабочих Депутатов. О Совете узнал и царь. Скрывая злые вести, придвор-

ные подали императору черносотенную юмореску «Плювиум». И царь прочел стихи, которым весь день смеялся:

«Милостивый государь,
Разрешите два вопроса:
Почему один Носарь,
А другой совсем без носа?»

Царь догадался, что без носа, это же Витте! граф Сахалинский! — Ха-ха-ха — хохотал царь в рабочем кабинете. — Но кто такой Носарь? Je ne sais pas. — Царь позвонил Фредериксу. Так царь узнал о первом Совете Рабочих Депутатов, с председателем Носарем-Хрусталевым.

Витте был хитр. Витте вызвал генерала Рауха, состоявшего при особе командующего петербургским военным округом, вел. кн. Николая Николаевича. Прося при объявлении Петербурга на военном положении, привести распоряжение в действие без задержки. Но за генералом Раухом, на тех же рысаках, подъехал помощник Николая Николаевича, генерал Газенкампф.

Расправив широкие русские усы на немецком лице, голосом с мороза ясным, генерал заявил в приемной о немедленном свидании с премьером. Дверь к Витте растворилась.

— Вы от главнокомандующего, генерал?

— Да, ваше сиятельство. С личным поручением его высочества.

Витте был сух и великолепен.

— Его высочество, — говорил Газенкампф, — просит ваше сиятельство, в случае надобности объявить Санкт-Петербург и окрестности не на военном, а в положении чрезвычайной охраны.

Глаза генерала, чуть чуть на выкате, смотрели в глаза премьера.

— Не понимаю, какая разница, генерал? Надеюсь дело не в словах?

— В случае чрезвычайного положения, передачу дел в военные суды и вообще смертные казни, — баритонально говорил генерал, — зависят от министра внутренних дел Дурново, в случае военного положения это ложится на его высочество, следовательно его высочество, а никто иной станет мишенью революционеров!

Улыбка прошла под усами премьер-министра ушла в бороду.

— Я понимаю теперь разницу, генерал, — проговорил Витте, не глядя в лицо Газенкампа, — передайте его высочеству, что поступлю согласно указанию.

Генерал встал. Руки обоих были крепки.

Витте, смотря в уходящую спину генерала, улыбался.

3.

Опробованные до отчаянной глянцеvitости чиновники сновали в приемной премьер-министра, распределяя докладчиков по провинции. В Воронежской Саратовской, Харьковской, Тамбовской, Черниговской шли красные петухи, ножи, захваты земель помещиков. Премьер-министр слал подавлять генералов — Сахарова — в Саратовскую, Струкова — в Тамбовскую, Дубасова — в Черниговскую. Везде разъясняли, как умели, генералы неправомочные поступки. Только генерал Струков, не сумел заинтересоваться. Как выехал, так и запил во вверенной губернии, опустившись даже до пьянства с тамбовскими телеграфистами. Тамбовская же губерния продолжала волноваться.

У старого, большого человека уменьшались дни. Двадцать четыре часа казались минутами. Витте не успевал. Он давил в Прибалтике крестьян-латышей. Волнения вспыхивали в Польше. Вызывал генерала Скалона, требуя бесжалостных мер. В Забайкалье вспыхивал бунт армии. Слал генералов Рененкампа, Меллер-Закомельского военной силой восстанавливать

движение великого сибирского пути. В Петербурге спыхнули демонстрации. Но это было б не страшно, сли б не явилась на прием дама в трауре, давшая сведения о готовящемся вооруженном восстании в Москве.

По ночам старик чувствовал бессилие. Казалось, что кружится голова. Это было, вероятно, переутомление.

4.

Савинков жил Леоном Родэ, в Петербурге, на Лиговке в мебелирашках «Дагмара», в просторечии называвшихся пипишкиными номерами. С утра уходил на Среднюю Подъяческую в редакцию «Сын отечества». Там архиереи партии в табачном дыму решали, как отдать землю крестьянам с выкупом иль без выкупа. Кричали о Витте, революции, манифесте 17-го октября. В боковушке собирались боевики. На массивном диване, массивный Азеф, в кадильном куреве папирос. Казалось бы бить Тутушкиных. Но Савинковым владела тоска. Ходил Петербургом, не оглядываясь на филеров, пил, было мало денег, много грусти. Планы Азефа: — взрыв Охранного, арест Витте, взрывы телефонных, осветительных проводов — слушал безучастно.

— Что ты, Павел Иванович, — недовольно рокотал Азеф — то Тутушкины, динамитные пояса, то слова не выжмешь.

— Ерунда все, Иван. Нужно возродить боевую. К чему все это? Разве это сейчас надо? — идя с заседания, говорил Савинков.

— Конечно, не это, — кряхтел Азеф.

— Так ты думаешь, боевая возродится?

Несмотря на него, а смотря в дождливый, промозглый петербургский ветер, налетающий с Невы, Азеф бормотал неразборчиво:

— Зависит не от ЦК, а от Витте. По моему старичок сработает на нашу мельницу. — Азеф закаш-

лялся, в кашле выпуская на тротуар слюну. Откашлявшись, догнал Савинкова.

Из ресторана «Кармен» вылетали скрипки. На 16-й линии казался уютен «Кармен» в петербургскую ветренность. Азеф вошел в ресторан, заполняя собой дверь, задевая за косяки. Савинков шел за ним.

— Ты что? — смотрели в карту, когда лакей лепетал детской беззубой челюстью о том, что бараньих больше нет, а свиных тоже нет.

— Мне, голубчик, яичницу!

— Подвело животы! — раскатисто хохотал Азеф, — то-то боевую возродить!

— Не в том, Иван, суть. Денег нет, деньги будут.

— Где найдешь?

— Не бойся, в провокаторы не пойду. В том суть, что ни во что кроме террора не верю. Отдал делу силы, а теперь когда нужно показать Витте — террор! — вдруг из-за какой-то тактики складывать оружие, это измена.

— Не кирпичись, барин, придет время. Тебе денег дать?

Азеф вытащил из жилетки смятую сторублевку.

— Барин ты, без подмеса, Боря — исподлобья лукаво смеялся Азеф маслинами, — пристрастился изображать англичан, ни на какую работу толком не поставишь. Скучно да «проза», либо «бомбочки», либо «стишки», — колыхал в смехе животом Азеф, — лощеный ты у нас, недаром зовут кавалергардом.

— Демократических сопель, вшивых кос не люблю, — пробормотал Савинков. Он ел с аппетитом яичницу.

— Раз, — вдруг — захохотал он, — знаешь, как сейчас помню, прибегает одна товарищ к Тютчеву, при мне прямо бякает: — Николай Сергеич, вы представьте, говорит, иду сейчас по Невскому (Савинков представил запыхавшуюся женщину), — вижу, говорит, Азеф на лихаче среди бела дня, обнявшись, с дамой легкого поведения.

— Ну, а Тютчев? — пророкотал Азеф.

— Развел руками. Стало быть, говорит, нужно для дела. А другой раз кто то протестовал, видел тебя в ложе Александринки, сидит, говорит, Азеф с дамой в ложе бельэтажа, у всех на виду в смокинге, на пальце громаднейший брильянт! Ха-ха-ха. Кстати не пойму, Иван, отчего тебя бабы любят? а? Рожа твоя откровенно сказать не апостольская.

— А тебя не любят? Бабы чуткие, — говорил животом Азеф, — в тебе мягкую кость чувствуют, вот и не идут на тебя, — захохотал дребезжащим хохотом.

Ресторан был пуст, наполнен запахами пива, водки, кухни. Но выходить не хотелось. Они сидели в углу. Было видно в окно, как хлестал на улице мелкий дождь и неслась мгла, застилавшая город.

Азеф пытел папиросой.

— Скажи, Иван, только по правде, есть у тебя вера или вовсе нет?

— Какая вера?

— Ну в наше дело, — в социализм?

— В социализм? — пророкотал Азеф, темные глаза, смеясь, разглядывали Савинкова. — Все на свете, барин, ist eine Messer- und Gabelfrage. Ну понятно это нужно для молодежи, для рабочих, но не для нас же, смешно...

— А разрешите, товарищ, спросить, — прищурившись углями монгольских глаз, говорил Савинков, — кажется вы глава боевого комитета, подготовляющего вооруженное восстание в борьбе за социализм?

Оба захохотали. — Пойдем, Боря, — сказал Азеф, шумно поднимаясь, отставил стул.

5.

На улице охватил резкий, кружащий ветер. На крыше горохотало листовое железо. Прошла мокрая блестящая конка. После нее на улице стало темно.

— Боевой много дела, — в налетающем ветре говорил Азеф, крепко двигая котелок. — Витте, охранка, еще вот с Дулебовым.

— Что с Дулебовым? — отворачиваясь в ветре, сказал Савинков.

— Тихое помешательство, сошел с ума. Жандармы перевели в лечебницу Николая-Чудотворца, он там записки пишет. Записки чушь, полная галиматья, но называет правильными именами. Сейчас врач наш, передает, а разнюхают жандармы, скверно. Жаль Петра, но ничего не поделаешь, обезвредить надо, — проговорил Азеф, подымая воротник.

— Петра?

Удерживая котелок, Азеф, поворачиваясь корпусом к Савинкову, сказал:

— Ну конечно, Петра. Все равно жить ему недолго, а вред может быть громадный.

— Убить?

— Он же сумасшедший.

На них налетел черный, мокрый ветер, оба перевернулись от него, пропятились несколько шагов.

— А Татарова забыл? — пробормотал Азеф в темноте, — тоже дело.

На углу, сжавшись под кожанами, дремали извозчики. Азеф и Савинков обнялись, поцеловались, разошлись до завтра.

6.

Говоря с Москвой по прямому проводу, Витте слышал гуд и кипенье лав. Витте чувствовал восстанье в просьбе присылки войск, в нелепых ответах командующего генерала Малахова. Витте выехал к вел. кн. Николаю Николаевичу просить войск для Москвы.

— Что?! — закричал великий князь. — Москва?! Восстанье? Знаю. Ну что же? Солдат? Не дам! У самого столько, чтоб охранить спокойствие императора! А Москве поделом, пусть либералы глотнут красного петуха! Недовольны? Конституции? Глотните ножа! Сговорчивей будете! Пусть купчишек Морозовых пощупают колом! У меня нет войск для Москвы, ваше сиятельство!

Витте схватился за голову, выбежав от человека в гигантских серосиних рейтузах с золотом, — «Помешательство!» — бормотал он, мчась в Петергоф умолять царя.

Николай II играл с Воейковым на бильярде. Крал сложный шар от трех бортов в середину, когда доложили о премьер-министре.

— Что ему надо от меня! Я выгоню его вон! Он не дает мне покоя!

— Ваше величество, — склонил лысую голову с пушистыми усами Фредерикс, — вопрос кажется государственной важности, у премьер-министра срочный доклад о московском восстании.

— Позовите, — проговорил император. Идя в соседнюю комнату, оттирал намеленную ложбинку меж большим и указательным пальцами.

— Здравствуйте, Сергей Юльевич, очень рад вас видеть. В чем дело?

— Ваше величество, две просьбы, две мольбы, — задыхаясь проговорил Витте. — Москве нужны войска, со дня на день готово вспыхнуть восстание.

— Ну и чудесно! Мои войска пропишут им гакую ижицу!

— Ваше величество, верных войск нет, московский гарнизон распропагандирован, есть донесения.

— Какая ерунда! Мои войска не могут быть распропагандированы, граф! — обидчиво проговорил царь. В бильярдной раздался удар и звон лузы. Это клал Воейков.

— Необходимо, ваше величество, назначение нового генерал-губернатора, Дурново непопулярен. — Витте задыхался.

— Кого же? — раздраженно сказал император.

— Генерал-адъютанта Дубасова, ваше величество.

— Вызовите телеграммой.

— Слушаюсь. Но, ваше величество, относительно войск?.. Я был у командующего, его высочество отказывает, ссылаясь на то, что Москва виновата.

— Ну конечно же! — вскрикнул царь, вставая, нервно заходил по комнате. — И вы не спорьте пожалуйста, может вы хотите защищать этот преступный в отношении меня город? Эти Трубецкие, Голицыны, Морозовы, Гучковы! Пусть...

— Ваше величество, в случае победы революционеров...

— Победы? — проговорил изумленно царь, останавливаясь перед министром.

— Восстание может быть грандиозным. Войска не сдержат, в случае победы революция разольется по империи. Лучше подавить начавшуюся бурю, чем быть в ее океане, ваше величество.

Дергаясь лицом, император ходил по комнате. Наконец он остановился.

— Хорошо, только для вас, я пошлю в Москву, я дам распоряжение его высочеству.

— Надо немедленно, ваше величество.

— Сколько войск? — царь сел за стол, взял карандаш, отрывая лист от блокнота.

— Полк гвардейской пехоты, сотню кавалерии, несколько пушек.

Император писал детским почерком на клочке бумаги:

«Дорогой Ника! Пошли в Москву полк гвардейской пехоты, сотню кавалерии, несколько пушек. Лучше подавить начавшуюся бурю, чем быть в ее океане. Николай».

Запечатав, император обратился к Витте.

— Я посылаю это с фельдъегерем к главнокомандующему, можете быть спокойны, граф, — иронически улыбнулся император.

— Ваше величество, я беспокоюсь за своего государя и династию.

Он показался льстивым, притворным.

— Обо мне, граф, не беспокойтесь. Я достаточно знаю свой народ.

Царь проводил Витте к другой двери, не через бильярдную. Когда Витте вышел, император легкими, торопливыми шажками пошел к бильярдной и отворив дверь, крикнул Воейкову:

— А я слышал, ты играл здесь без меня? Ты спутал партию, — сказал он недовольно.

— Мы поставим новую, ваше величество.

Маркеры в позументных костюмах бросились ставить пирамидку. Царь мелил ложбину меж указательным и большим пальцем.

7.

За два дня до сигнала к вооруженному восстанию в Москву из Курска прибыл генерал-адъютант Дубасов и из Петербурга Евно Азеф. Восстание подавили. И когда Пресня дымилась кровью, бежав из Москвы и Петербурга, ЦК партии эс-эров открыл съезд у водопада Иматра, в гостинице «Туристен».

На заседаниях съезда Азеф сидел мрачный.

— Эх, Иван Николаевич, не отдавать бы Москвы семеновцам!

— Что же поделаешь, — разводил он плавниками-ладошками, — так сложились обстоятельства.

Азеф с речами не выступал. После Москвы знал силу. Ждал просьб. Просьбы пришли. В новую боевую организацию вошли: — женщины: Мария Беневская, Рашель Лурье, Александра Севастьянова, Ксения Зильберберг, Валентина Попова, Павла Левинсон, мужчины — Савинков, братья Вноровские, Моисеенко, Шиллеров, Зильберберг, Двойников, Горисон, Абрам Гоц (брат Михаила), Зензинов, Кудрявцев, Калашников, Самойлов, Назаров, Павлов, Пискарев, Зот Сазонов (брат Егора), Трегубов, Яковлев и рабочий «Семен Семенович».

Базой по изготовленью снарядов Азеф сделал — Финляндию. А первыми актами — убийства — генерала Дубасова, генерала Мина, П. И. Рачковского, министра Дурново, адмирала Чухнина.

На явочной квартире на Фурштадской Савинков, придя с Марией Беневской, застал Азефа мрачным и расстроенным. Да и сам волновался, четыре дня не находя нигде Ивана Николаевича.

— Как я беспокоился, Иван, — пожимал двумя руками руку Савинков. Застенчиво пожала руку Азефа, хрупкая, как замерзший ландыш, Мария Беневская.

— Мы так волновались, Иван Николаевич, — проговорила и покраснела.

Азеф насуплен. На Беневскую даже не взглянул, пыхтел.

— За мной гонялись, как за зайцем.

— Ты неосторожен, Иван.

— Да, Иван Николаевич, с вашей стороны это преступление. — Беневская красива, тонка, в манерах аристократизм, хорошее воспитание.

Азеф кольнул ее правым глазом.

— Преступление, — пробормотал он, усмехаясь, — хорошо еще, что так кончилось.

— Ты, надеясь на свою неревOLUTIONную наружность, пренебрегаешь примитивными правилами конспирации, Иван. Так нельзя, батенька, надо быть осторожнее. Что же это, случайность, иль гонялись за главой БО? Как ты думаешь?

— Почем я знаю, — лениво, нехотя пробормотал Азеф, — факт налицо, а как меня повесят, как главу БО или как члена ЦК, это неважно.

Почему Беневская влюбленно смотрела на Ивана Николаевича? До вступления в БО была толстовкой-христианкой, признавая борьбу со злом насилем. Сейчас, не расставаясь с евангелием, стала террористкой. Товарищи не понимали, каким путем строгая девушка пришла к ним? Ивана Николаевича она любила, как главу террора, на который вышла бесстрашно, борясь за счастье человечества.

— Шутки брось, Иван. У тебя нет подозрений?

Уж час, как ждал этого вопроса Азеф.

— Каких? О чем ты говоришь?

— О провокации.

— О провокации? — поднял темные глаза Азеф и расплылся в ироническую улыбку мясистой губ. — Ха-ха-ха! Никаких подозрений конечно нет, потому что ясно и ребенку: — партия изобличила провокатора, оставив его на свободе. Так что же ты думаешь, провокатор — муха, хрупкая институтка, которая от испуга падает в обморок? Ты думаешь, — хмурясь, искажаясь говорил Азеф, — что Татаров не работает, бросил свое дело, перепугался, сел в бест? Да я голову дам оторвать, это его рука. Он нас всех отошлет на виселицу. Но что же, если ЦК этого хочется, пойдем и на виселицу, — Азеф запыхтел папироской.

— Но разве он изобличен? — взволнованно проговорила Беневская.

— Безусловно провокатор, — отрезал Савинков. После раздумья проговорил: — Иван, если мы несколько раз шли по указке ЦК, то теперь, когда удар занесен над БО, нам нечего стесняться. С твоим арестом сорвутся намеченные акты. Мы должны обезопасить себя.

— То есть как? Что ты думаешь? — нехотя бормотал Азеф.

— Убить Татарова, вот как, — сказал Савинков, смотря узостью горячих глаз в выпуклые, темные круги Азефа.

Что нужно, было выговорено. Азеф молчал. Пыхтел папиросой. Потом, бросив ее на пол, задавил штиблетой, закурил другую.

— Я думаю ты поймешь, Борис, самому мне поднимать этот вопрос неудобно. Татаров для своего спасенья обвинял меня перед Черновым.

— И что же?

— Я поставлю себя в двусмысленное положение. Могут сказать, убираю с пути человека, обвинявшего меня в предательстве.

— Какая чепуха!

Бледное лицо Бенеvской порозовело, изредка вздрагивали глаза, словно хотела что-то сказать и не выговаривала.

— Нет не чепуха, — медленно, лениво говорил Азеф. — Я щепетилен. Я не могу вести это дело. Потом, сам понимаешь, Татаров не генерал, не губернатор, он товарищ, бывший, но все равно, у него есть имя, биография, убивать его не так-то просто.

— Бросим психологию, — махнул Савинков, — все это так, Татаров не генерал, в былом революционер — прекрасно. Но он предатель. С слезкой за тобой над БО занесен удар. Его надо отвести. Стало быть надо убить Татарова. Ясно, как арифметика. Не понимаю наконец, почему легко убить генерала и нелегко провокатора? Это люди одного берега. Ну провокатора убить психологически несколько труднее, только и всего. Убийство же Татарова важнее сейчас убийства Дубасова.

Азеф не смотрел на Савинкова. Ждал.

— Если тебе, как ты говоришь, неудобно ставить убийство Татарова, давай, я беру его на себя.

Азеф молчал.

— Не знаю, — ответил он, — могут выйти осложнения с ЦК.

— На осложнения мы плевали. БО под угрозой виселицы, а мы будем думать о входящих и исходящих.

— Если ты уверен, что надо — бери. — Азеф бросил дымящийся окурок из мундштука и задавил его безкаблучной мягкой, шевровой штиблетой.

— Но ты то как считаешь? Необходимо или нет? — раздраженно проговорил Савинков.

— Я считаю необходимым, — тяжело подымаясь с кресла, проговорил Азеф.

9.

Чтоб убить провокатора Татарова в Варшаву выехал Савинков с Бенеvской, Моисеенко, Калашнико-

вым, Двойниковым и Назаровым. План был прост. Его выдумал Савинков, гуляя в желтом паре петербургской зимы.

Моисеенко и Беневская на имя супругов Крамер сняли на улице Шопена квартиру. Савинков пригласит Татарова для дачи показаний. А убьют — Назаров, Двойников, Калашников.

Двойников московский фабричный, крепкий, скуластый. Назаров тоже рабочий, выше Двойникова, легкий и высокий. Оба сильны. Но все же первый удар предоставлен рассеянному, в пенсне, спадающем с тонкого носа, студенту Калашникову. Он так настаивал, что удар отдали ему.

10.

Мимо памятника Яну Собесскому Савинков шел, крутя тростью. У квартиры с железной дощечкой «Протоиерей Юрий Татаров», длительно нажал кнопку. Дожидаясь, ни о чем не думал.

Матушка Авдотья Кирилловна торопилась надеть туфли, все не попадала. Но уж очень ей не хотелось, чтоб сын выходил отпирать — «простудится еще, господи», — шептала она, — «да и отдохнуть только лег». — И почти бегом побежала, мягко чавкая туфлями.

— Простите, пожалуйста, — проговорил элегантный господин, стоя перед седой Авдотьей Кирилловной. — Могу я видеть Николая Юрьевича?

Авдотье Кирилловне господин очень понравился. Тихо, по старушечьи улыбаясь, она проговорила:

— Отдохнуть он лег, сын то мой, ну вы все таки пройдите в залу, я ему скажу.

Обтерев о половичек ноги, чтобы не наследить, Савинков прошел в залу. Зала маленькая, в фикусах, геранях, кактусах, с альбомами, плюшевыми скатертями, ширмами, портретами духовных лиц.

Когда скрипнула дверь и на пороге встала плотная фигура Татарова, Савинков рассматривал над диваном портрет монаха в клобуке.

— Ах, это вы? — удивленно, нерешительно проговорил Татаров и Савинков увидел: — побледнел.

— Здравствуйте, Николай Юрьевич! — весело сказал он, пожимая руку.

— Присаживайтесь, — проговорил Татаров.

— У меня к вам дело.

— Пожалуйста, — опуская бороду, сказал Татаров. Он смотрел на брюки Савинкова в полоску, заметил, что ботинки грязны, «без калош ходит», — подумал Татаров.

— Видите ли, Николай Юрьевич, члены следственной комиссии по вашему делу, все, кроме Баха (внезапно, но естественно солгал Савинков) сейчас в Варшаве. Я полагаю, в целях вашей реабилитации необходимо устроить допрос, дабы вы могли защититься, мы же с своей стороны могли бы выяснить дело. Получены новые сведения, весьма меняющие дело в благоприятную для вас сторону. Товарищи поручили мне зайти к вам спросить: — желаете ли вы дать показания?

— Я ничего не могу добавить к уже данным, — проговорил Татаров, не подымая головы. Савинков осмотрел его, опять как в Женеве, представляя, как рухнет с громом на землю под ударами товарищей.

— Но я говорю, Николай Юрьевич, в нашем распоряжении новые данные. Вот, например, вы указывали на провокатора в партии. У нас есть теперь данные, могущие быть может реабилитировать вас окончательно.

— Да, я говорил о провокаторе. И сейчас скажу, провокатор «Толстый», Азеф.

— Откуда у вас эти сведения?

— Эти сведения достоверны. Я имею их из полиции. Моя сестра замужем за приставом Семеновым. Он хорош с Ратаевым. Я просил его, в виде личной

мне услуги, осведомиться о секретном сотруднике в партии. Он узнал, провокатор — «Толстый», Азеф.

— Ну видите, — произнес Савинков, — если вы могли бы документально подтвердить это, хотя прямо скажу, я лично полицейскому источнику полностью не доверяю.

— Я понимаю, но здесь, Борис Викторович...

— Я понимаю, Николай Юрьевич, — перебил Савинков, — но разбор этого материала — дело следственной комиссии in cogroge мне поручено пригласить вас. Вы хотите притти?

Он видел, как Татаров волнуется, теребит, мнет бороду.

— А кто там будет?

— Чернов, Тютчев и я.

— А еще кто?

— Больше никого.

Татаров молчал, соображая.

— Ну хорошо, — проговорил он. — Я приду. Какой адрес?

— Улица Шопена 10, квартира Крамер. Спросите госпожу Крамер.

— Хорошо. В восемь?

— В восемь.

В передней, в приоткрытую щель смотрела Авдотья Кирилловна.

— Скажите, — остановил вдруг Татаров Савинкова, проговорив тихо: — Как же так, вы подозреваете меня и не боитесь притти ко мне на квартиру. Ведь, если я провокатор, я же могу вас выдать?

— А разве я вам сказал, что мы подозреваем вас? Я в это не верю ни одной минуты, Николай Юрьевич. Для того и приехала комиссия, чтоб окончательно выяснить.

— Ну хорошо, до свиданья, — проговорил Татаров.

— До свиданья, до завтра. Только, пожалуйста, не запаздывайте.

Легкой походкой Савинков спускался лестницей, на которой дворничиха зажигала керосиновую лампу. На улице Савинкова охватило чувство хорошо выполненного дела: — в восемь Татаров будет на улице Шопена.

11.

В доме № 10 на улице Шопена оживление началось с пяти. А с шести Беневская села в гостиной в кресло. Была бледна, глаза обвелись черным кругом. Вероятно не спала ночь. Калашников то ходил по кабинету, то что то насвистывал, то выходил в корридор, часто заходя в уборную.

В дальней, пустой комнате, согнувшись за столом писал Савинков.

Назаров и Двойников пили чай. Они были друзья с юности, как еще привезли их отцы из деревни и отдали на Сормовский в мальчики.

— Нет, Шурка, правды на свете, — откусывал сахар крепким зубом Назаров. — Во время восстания сколько народу побили, теперь дети малые по миру бродят. Бомбой бы их всех безусловно, вот что...

— Эх, Федя, — качал головой Двойников, — оно так то так, да все таки, брат, к такому делу с разлету не подходи. К такому делу надо в чистой рубахе итти, может даже я и недостоин еще, например, послужить революции, как вот Каляев.

— Брось трепать, Шурка, — хмурился Назаров, — в рубахе, не в рубахе. Надо убить? Надо. Значит концы в воду, ходи кандибобером.

Назаров допил, по привычке перевернул чашку вверх дном, утерся, сказал:

— Ну я иду со двора.

Допив чай, Двойников произнес со вздохом что-то вроде «ииээхх!» и зашумел редкими ударами сапог к окну на улицу.

— Стало быть, Марья Аркадьевна, выходите к нему вы и проведите в гостиную, тогда он отрезан. Я выйду из кабинета.

— Товарищ Калашников, скажите, вы убеждены, что это предатель?

— Да. А что?

— Я боюсь, вдруг ошибка, это ужасно.

— Какая вы чудачка, Марья Аркадьевна. Он предал товарищей, послал их на виселицу.

— Нет, я знаю, убить надо.

В это время в дверь с черного хода раздался не сильный стук. Беневская и Калашников вздрогнули.

— Он? Не может быть, рано, — проговорил Калашников и бросился в коридор. Беневская видела, он держится за карман. Знала — в кармане финский нож.

Кто то вошел с черного хода. — Вот шаталомный, — услышала Беневская голос и смех Назарова.

— Опоздал, чорт возьми, города не знаешь, извозчик дуралей попался, — говорил Моисеенко.

— Все в порядке, товарищ Моисеенко, — сказал Калашников.

Двойников тихо свистнул у окна. Все вздрогнули.

С противоположной стороны улицы, спрятав голову в воротник, согнувшись, быстро переходил Татаров. Двойников услышал, в левом межреберье перевернулось, ударилось сердце, разливая теплоту.

Беневская подошла к зеркалу, быстрым женским движеньем поправила волосы. Оторвавшись от рукописи, Савинков прислушался к свисту, ждал звонка. «Сейчас должны звонить». Но звонка не раздавалось.

Назаров пристыл к стеклу во двор, походя на кошку: — прямо против окна стоял Татаров, о чем-то спрашивая дворника. Назаров не сообразил, Татаров мотнул дворнику и очень быстро пошел к калитке.

Замерев, ждали звонка. Назаров кошкой прыгнул с табуретки, бросившись в гостиную.

— Уходит! — закричал он. — Что ж вы рты то поразевали!

За ним бросились все, увидели — удалявшегося Татарова.

— Ууу, гад... — пробормотал Назаров.

Калашников стоял растерянно. Беневская странно смотрела на всех. Она была несчастна. На шум вошел Савинков.

— Ушел? — проговорил он. — Теперь всех провалит. Надо сейчас же бросать квартиру.

— А если догнать?

— Что ж ты, на улице?

— А что, и на улице место найдется.

— Брось, Федя, — раздраженно проговорил Савинков. — Сейчас же бросаем квартиру, он всех нас провалит.

12.

Ни на один звонок не отпиралась квартира Татарова. Николай Юрьевич вернулся бледен. Не скрывая состояния, еле дошел до постели, упал. Склонившейся в переполохе Авдотье Кирилловне, не выдержал, проговорил:

— Мама, меня убить хотят, не отпирай...

— Коля!

— Оставь меня, — отстраняя рукой, проговорил Татаров.

Зарыдав, вышла Авдотья Кирилловна, закрываясь закорузлыми неразгибающимися от старости пальцами.

Татаров лежал с закрытыми глазами. Борода неаккуратна, взлохмачена. Мысли бились чудовищно. Не поспевая одна за другой, сталкивались, причиняя невыносимую боль. Татарову хотелось бы не думать.

«Но что же сказал дворник? Что сняли муж и жена. Что пришел сперва молодой человек, хорошо одетый. Все это могло быть. Потом прошли двое, «как бы рабочие, в картузах». Все стало ясно. Савинков заманивал. Изящный Савинков, называющий «Николай Юрьевич», подающий руку, говорящий, умно, лю-

безно — был страшен. От него выступал пот, тяжелым молотом ударяли изнутри в голову. Казалось, слышится несущийся мимо шум. Будто сама жизнь несется мимо Николая Юрьевича Татарова. Чтоб освободиться, попробовал встать. Но голова закружилась и Татаров упал на локоть.

13.

Савинков и Назаров шли по Огородной улице.

— Да ведь ты говоришь нужно?

— Нужно.

— Значит и убью.

— Чем?

— Ножом.

— На дому?

— А то где же?

— А если не уйдешь, Федя?

— Брось, если да если. Не хочешь посылать, сам ступай, только ведь, поди, не сумеешь, — засмеялся Назаров, обнажив крепкие, желтоватые, нечищенные зубы.

— Ладно, — проговорил Савинков, — Валяй. Но ножом трудно, не промахнись.

— Увижу, чем стругать буду, струмент весь со мной. Эх, ушел гад, а? Сколько народу революционного погубил. Сколько товарищей угробил. Ну да и от нас не уйдет.

— Ну прощай, Федя, — останавливаясь, сказал Савинков. Он торопился вслед за товарищами к московскому поезду.

— Прощай.

— Ах, да — спохватился, берясь за карман Савинков. Назаров обернулся. — Я ж тебе денег не дал.

— Каких?

— Да надо же денег.

— Есть у меня деньги. Не надо мне твоих денег, — зло отмахнулся Назаров.

— Да, возьми..

— Очумел ты с твоими деньгами, — находу про-
бормотал Назаров.

Савинков постоял, смотрел вслед, улыбаясь, пошел
к извозчику.

14.

В Москве, в газете «Русское слово» Савинков чи-
гал телеграмму: — «22 марта на кваргиру протоие-
рея Юрия Татарова явился неизвестный человек и
убил сына Татарова. Спасаясь бегством, убийца тя-
жело ранил мать убитого ножом. До сих пор задер-
жать убийцу не удалось».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

1.

Никогда не видали Ивана Николаевича таким ве-
селым, как этой весной в Петербурге. Мозг Ивана
Николаевича был математический. Расчеты сходились.
Окупались деньгами. Он жил с Хеди. И все радо-
вало.

П. И. Рачковскому отдал динамитные мастерские в
Саперном и Свечном. Правда, отношения оборвались.
Рачковский стал даже неаккуратен в выплате жало-
ванья, не ответив на письма. Но Азеф и не волновал-
ся, поигрывая с левой руки.

Обнимая за талию, приходившего к Хеди, Павла
Ивановича, Азеф рокотал:

— Боря, уютная обстановочка, а? Люблю, Боря,
мещанство.

— Мещанство? А я не люблю мещанства.

— Где уж, ты у нас, англичанин.

Очень весел был Иван Николаевич.

2.

То кабинет начальника петербургского охранного отделения, генерала А. В. Герасимова был интересен Мойку, психологу и вообще любителю тайн человеческих душ. Много занятого в кабинете генерала. Но в кабинет никто не входит. Даже подметает оружие Исаич, в георгиевских крестах и медалях, а генерал Герасимов. Завтрак не вносят, а выходя, ула берет генерал.

А. В. Герасимов плотен, высок, по военному прямолинейной бородкой, усами кверху. Глаза? Глаза ржаво-стальные. Была и привычка: генерал дергосом.

А Мойку, в охранное, генерал приезжал в штатском хорошем костюме. Когда, задумавшись, сидел голом кабинета, походил на большую, белесованно очень хитрую рыбу.

3.

Азеф в это утро встал рано. Вышел в прекрасном расположении духа, напевая «Два создания небес». Но что в Лионском кредите 60.000, что при всей сумятице, охватившей догнивающую империю, но поставить акты, от которых захватит дух всей империи.

Но что за странность? Азеф шел по делу БО. На Гороховой и улицы Гоголя, как старый, матерый шпион спиной почувствовал сзади что-то волнующее. Неизвестное. Оборачиваться головой Азеф не умел. Шея слишком коротка. Поэтому он быстро, словно боясь от удара, повернулся всем корпусом: — что, по пятам шли два филера.

«Что за чорт?» Широко перешагнув через лужу, Азеф пошел улицей Гоголя. Филеры шли в двадцати шагах. Азеф шел быстрее. По делу надо было выйти на Невский. Но он свернул к Мойке. «Ерунда,

отвяжутся», пробормотал. Филеры шли по пятам. Азеф снова повернул к Невскому. На Невском у музыкального магазина «Юлий Генрих Циммерман» остановился, в витрину смотря на филеров. Филеры остановились у колбасной.

Азеф двинулся. Двинулись и они. Азеф видел ясно: — один рыжий, громадный, наверное из дворников. Другой — низкий, очень широкий в плечах, на кривосогнутых ногах. «Что за дьявол?» — бормотал Азеф, чувствуя, что покрывается потом, устает от ходьбы и волнения.

Обкладывая Рачковского ругательствами, он шел крупными шагами, торопливо раскачивая животастое тело на тонких ногах. Никто не поверил бы, что с такой легкостью может итти неуклюжий, громоздкий, уродливый коммерсант. Азеф знал — за углом лихачи. Только мельком взглянул на очередного, понял что вороной старик может дать еще ходу по Петербургу, и впрыгнув в пролетку, бормотнул: — «К Николаевскому вокзалу».

В тот же момент вынырнули филеры, заметались. Но вороной мастодонт, раскачивая старый костяк со стороны на сторону, уж размял опоенные ноги и мчал Азефа по Невскому. «Сволочь», пробормотал Азеф. Это относилось к Рачковскому.

4.

Ни на следующий, ни на третий день не мог вызвать Азеф действительного статского советника П. И. Рачковского. На лбу наливалась жила. Азеф любил ясность. Хеди заметила озабоченность, рассеянность. Он даже не мог быть ласков. Часто подходил к окну. Глаз был верен: — обложен филерами.

— Warum bist du so traurig? Warum denn, mein Schatz? — щекой гладкой, как хорошая лайка, пышнотелая Хеди прижалась к Азефу, крепко поцеловав в губы, именно так, как он любил.

— Ach, weiss du, ich bin bischen erkältet, ich weiss selber nicht, was mit mir los ist, ich fühle mich nicht wohl.

— Ach, du, Süsser — и снова Хеди поцеловала длительно впиваясь в мясистые губы, обвивая телом, как учил великий князь Кирилл.

— Weiss du, ich bleibe paar Tage im Bett. Das wird am besten sein und meine kleine Pipel wird за мной ухаживать.

— Mein armes Gänschen, mein Муши-Пуши, папашка, — зацеловывала его Хеди, уложила в постель. И отнесла письма Азефа на почту.

Хуже всего было, что Азеф ничего не понимал. Когда встал, сразу подошел к окну. На противоположной стороне никого не было. Он прошел в уборную. Дом был угловой. Филеров не стояло и здесь. Азеф понял: в департаменте была ошибка, теперь выяснилась. Напевая «шли по улицам Мадрида», пошел к Хеди и все утро прохотали, продурачились, проласкались.

— Ach, Hänschen, ах папочка, du bist ungezogen! — хохотала ровными, как у зверя, зубами в яркой розовости губ Хеди.

— У тебя Хеди вместо души — хорошая касса, — смеялся Азеф.

В цилиндре, черном пальто обтягивающем уродливую фигуру, он вышел из дому выбритый, надушенный. Слежки не было. Возле ресторана «Ампир» на Невском, куда хотел войти, чтобы вызвать Савинкова, с двух сторон за руки схватили филеры и жандармы.

Вырываясь всей тушей мяса, вывороченными руками, налитый бешеной кровью, Азеф кричал:—Что значит?! Как вы смеете! Я инженер Черкасов!!

— Не сопротивляться! — гаркнул ротмистр с щеткой черных усов. И двое жандармов поволокли к пролетке.

Мельком с извозчика Азеф осмотрел собравшихся у тротуара. Знакомых, как будто, не было. Эту дорогу Азеф знал лучше жандармов. Везли на Мойку в

охранное, в тот самый дом, где умер Пушкин. Азеф знал и это. Но думал о том, что под цилиндром выступил пот и обтереться нельзя, жандармы держат за руки.

5.

Цилиндр лежал на деревянном, изрезанном ножами столе. Пальто висело на гвозде. Азеф в синем костюме, тушей, лежал на койке одиночной камеры. Захватывающее бешенство не проходило.

В четыре дня, на пороге появился генерал Герасимов, в штатском. Азеф не поднялся. Герасимов сел у стола и улыбнулся, чуть дернув носом.

— Я начальник охранного отделения генерал Герасимов, потрудитесь встать и назвать вашу фамилию, — сказал он. Слова падали каплями на жесть, без всякого выражения.

Азеф вскочил с койки с лицом перекошенным злобой. Глаза были отведены далеко в сторону, так что радужница исчезла, были только желтые белки и этот «белый огонек» перерезал лицо.

— Я инженер Черкасов! Живу на Фурштатской! Требую немедленного объяснения, почему арестован!? И если вы сейчас же не освободите, буду жаловаться министру!

— Так-так-так, — пробарабанил по столу крепкими пальцами Герасимов, рассматривая Азефа.

— Потрудитесь отвечать, что это значит!? — наступая крикнул Азеф.

— Значит? — тихо проговорил Герасимов. Азеф увидал стальные щели глаз.—Вы инженер Евно Азеф, член партии социалистов-революционеров!

Бешенство сплыло с желтого лица Азефа.

— Что?! — проговорил он. — Какая чушь! и расхохотался на всю камеру. — Вы меня с кем-то путаете, генерал! Я Черкасов. Я отдал свой паспорт.

— Так-так-так, — прищуриваясь сказал генерал, подергивая носом, — однако же я буду вас держать, до тех пор, пока вы не станете несколько умнее.

— Вы бредите! Это безобразие!

— Ну вот что! — крикнул Герасимов, ударив по столу так, что прыгнула кружка. — Не очень то вы! Бросайте канитель! Потрудитесь отвечать на вопросы.

Азеф смотрел в стальные щели глаз Герасимова темными, черно-блещущими, выпуклыми маслинами, в них, в вывороченных губах Герасимов явно увидел хохот. Азеф хохотал гнусаво, закатисто, неприятно. Это был хохот над генералом Герасимовым.

— Вам отвечать я во всяком случае не буду, — резко прогнусавил Азеф. — А будьте-ка любезны прислать мне действительного статского советника Рачковского.

— Петра Ивановича? Вы дадите ему показания?

— Да, — пробормотал Азеф, заходя по камере.

— Прекрасно, — усмехнулся Герасимов.

6.

В камере было темновато. Азеф резко обернулся на шум двери. Входили Герасимов и Рачковский.

— Что это значит, Петр Иванович!? В какое вы меня ставите положение!!!? — закричал Азеф.

— Прежде всего не кричите, — протянул руку Рачковский, — никакого положения тут нет.

— Для вас! Не вы ходите под виселицей! — искажаясь, выпуская слюни на вывороченные губы, крикнул Азеф.

— Положим, к сожалению, и я.

— Вы виноваты! Вы не отвечали! Вы бросили меня! Вы дурацкой слезкой поставили чорт знает в какое положение перед революционерами!

— Да не волнуйтесь, Евгений Филиппович, все образуется, тут дела были почище наших с вами.

— Почище, — злобно пробормотал Азеф.

— Ну разумеется, — спокойно протянул Рачковский, — дел по горло, вот и не отвечал.

Герасимов глядел, смеясь, на Рачковского и Азефа.

— Из-за этой же моей занятости, сейчас сношения с вами будет вести, вот, Александр Васильевич, собственноручно, так сказать, — любезно-злобно засмеялся Рачковский. — Стало быть, Александр Васильевич, удостоверяю, арестованный является сотрудником, арест произведен очевидно по недоразумению, — улыбнулся злобно Герасимову Рачковский. — Надо вышколить людей, чтоб зря своих не подводили. А теперь что же мне тут, вы уж сами сговоритесь, не так ли? Одно скажу, чрезвычайно ценный сотрудник, — засмеялся хрипотцой Рачковский.

Герасимов молчал. Азефу показалось, нехорошее бежало по рыбьему лицу генерала.

— А вы, батенька, не сердитесь, старую дружбу не забываете, — пожимал Рачковский руку Азефа. — Кипяток вы, Филиппович, и как это спокойный человек так может раскипиться, нехорошо батенька, в нашей работе нервы первое дело.

Азеф пытался выпростать маленькую руку из жилистой мертвячей руки Рачковского. Тот, почему то засмеявшись, вышел.

— Прежде всего позвольте извиниться, что я принял вас за революционера, — садясь к столу, проговорил Герасимов. — Вполне понимаю ваше возмущение. Виноваты люди, чистая случайность. Надо надеяться, что в этом лучшем из миров все делается, быть может, к лучшему.

Азеф рассматривал генерала. Волновала пипка. Казалось, пипка в разговоре перепрыгивает с щеки на щеку.

— Так вот, работать с вами буду я. Принципы работы коротки: — мало слов, много дела. Освобожу, разумеется, вас сегодня. Дам адрес. Как-нибудь вечером потолкуем. Только предупреждаю, — вдруг ударил ладонью в такт словам генерал: — вы вели

игру в две руки, не возражайте! — повысил он голос, — знаю! С этого часа на двойной игре ставьте крест. Поняли? Не допущу.

— Это ложь и интрига, — спокойно сказал Азеф, — никакой другой работы я не вел.

— Вели.

— Нет, не вел.

Герасимов смотрел на Азефа. Азеф смотрел на Герасимова. Прошла минута.

— Ладно, — улыбнувшись стальными щелями глаз, прервал Герасимов, — во всяком случае или служите только мне, или... — Герасимов чиркнул рукой по шее, как чиркал Азеф на приеме боевиков.

— Понятно? — сказал он, не сводя стальных щелей с мясистою лица Азефа.

Всеми силами Азеф скрывал волнение, скрыл бы, если б не выступивший пот.

— Это ложь. Я никогда на революционеров не работал.

— Евгений Филиппович, слово держу крепко. Ваши сведения, знаю, были всегда ценны. На оплату работы не поспею. Вы сколько получали последнее время?

— Очень мало. 500 рублей.

— Ну, положим не мало. Многие получают гораздо меньше. За отдельные дела получали наградные? Не правда ли? Денег больших в моем распоряжении нет. Но, ценя вас, набавлю до 800 в месяц.

— Мало, — глухо прохрипел Азеф. — Я ставлю голову, не за 800 же рублей.

Герасимов, улыбаясь, видел, что Азеф согласен.

— Ха-ха-ха! Да не втирайте вы очки! Ведь живете и жить будете на партийный счет, а он побольше нашего! Наши чистоганчиком пойдут в Лионский. За год, батенька, 10 тысяч одного жалованья. За три фабрику купите, завей горе веревочками! Ночью вас освободят, так удобней, — вставая, сказал Герасимов. — Вот адрес: — Пантелеймоновская 9, кв. 6, спросите папашу. Лучше к ночи.

Поверять буду другими сотрудниками. Хорошие дела, — хорошие деньги. Малейшая ложь — уж не обессудьте, придется. Ну всего хорошего, Евгений Филиппович! — и, по военному прямо, генерал Герасимов вышел из камеры.

7.

В черном пальто, в руках с цилиндром Азеф стоял в одиночке. Не меняя упершегося в пол взгляда, бормотал, ожидая освобождения.

Из темных ворот Охранного извозчик тронул хорошим ходом. Путь с Мойки на Стремянную, в квартиру Хеди, был длинен. Ночь поздняя. Летел гящий на тротуаре снег, от фонарей, света из окон, казавшийся желтым. Сырость стояла сплошная, тяжелая, в этом тумане столицы было не продохнуть. В липком ветре вилась слякоть, сжавшиеся люди в котелках, шляпах бежали походкой странных выдуманных силуэтов. И Азеф, ушедший в котелок и в поднятый воротник, на быстром извозчике, казался тушей без головы.

Так промчался он на Стремянную. Извозчик, резко осаживая лошадь, пролетел дом Хеди. Лошадь поскользнулась у тротуара и упала скользко раскатившись ногами, затрещав по камням подковами.

— Уууу, чорт, — пробормотал Азеф, выпрыгивая из пролетки. Он не додумывал, почему было неприятно падение лошади. Да она уж и вскочила, встряхивая спиной и вытягиваясь, кашляя. Азеф взглянул: — окно в красноватом свете. Он тяжело стал подыматься. Но вдруг, на втором повороте почувствовал слабость, сердцебиение и остановился, переводя дыхание.

Хеди, поджав ноги, в теплом халате и мягких туфлях, читала на диване «Викторию» Гамсуна. В сильных местах не могла читать, а опускала книгу, шепча — «ви зюсс!» Три звонка застали ее в таком состоянии. Хеди стремительно бросилась к двери.

— Hänschen! Papachen! Um Gottes Willen! — кричала она, обнимая еще не успевшего снять цилиндр и отдышаться Азефа.

— Lass doch, lass, — вдруг проговорил Азеф.— Он сам не ожидал, что так встретит Хеди. Сел на стул. Острая режущая боль разрежала почки. Он схватился за поясницу.

— Um Gottes Willen! Papachen! Sag' um Gottes Willen! Was ist los mit dir? O, mein Gott!

Морщась от боли, Азеф постарался улыбнуться.

— Sei nicht böse, Muschi, Papachen ist bischen nervös, Papachen hatte schlechte Geschäfte — растягивая толстые губы, улыбался Азеф. Встав, он крепко поцеловал ее.

8.

Конспиративная квартира на Пантелеймоновской меблирована была отлично. Генерал любил красное, александровское дерево. Выдержал обстановку в стиле.

Азефу в темноте растворил темный мужчина.

— Папаша дома?

— Дома. — Азеф узнал по голосу и фигуре разоблаченного провокатора социал-демократов «Николая, золотые очки».

— Милости прошу, Евгений Филиппович, — улыбался генерал, словно дружили они двенадцать с половиной лет. Азеф ответил точно также:

— Я вас, Александр Васильевич, еле разыскал.

Герасимов в серых верблюжьих туфлях, в бархатной куртке с бранденбурами. От вида веяло уютом.

— Идемте, голубчик, — говорил он, ведя Азефа анфиладой комнат. Одна была заставлена клетками — на стенах, столах, на полу.

— Что у вас это такое? — бормотнул Азеф.

— Птицы, — проговорил генерал. — Вы не любите птиц?

— Птиц? — промычал Азеф, коротко рассмеявшись.

— У меня с реального училища страсть, я в харьковском реальном был, к канарейкам. Отдыхаю. Только время то нет, — сказал генерал Герасимов, вводя в просторный кабинет, с низкими креслами и порг্রেтами императоров в золотых тяжелых рамах.

— И фотографией не интересуетесь? — спросил, подкатывая Азефу кресло.

— Нет, — рокотнул Азеф.

— А я и фотографией. Снимаю. Садитесь, Евгений Филиппович, располагайтесь удобней, вот тут, голубчик.

Кресла, деланные по рисунку генерала, были великолепны, успокаивающи. Утонув в их сафьяне, Азеф распустил по ковру ноги, пророкотав:

— Хорошая квартирка у вас, Александр Васильевич.

— Ничего, — роясь на столе ответил Герасимов. — А вот моя работа, увеличиваю. Незнакомы? — и он смеясь кинул фотографию.

Азеф рассматривал портрет Савинкова 13×18.

— А этот поясной портрет не видали? — кинул генерал смеющегося Чернова с альбомом в руке. — Видите, сразу знакомыми угостил, — смеялся Герасимов, сев в кресле, пододвигая меж ними курительный прибор. Азеф закурил предложенную папиросу.

— Ну скажу прямо, Евгений Филиппович, задали вы мне перцу! Сгоряча то вам наобещал в охранном горы, а сунулся к нашим высокопревосходительствам, те на меня и руками и ногами. С ума говорит сошли, это же чуть не министерское жалованье! Но только со мной ведь разговоры то коротки. Пришлось вопрос ребрышком поставить: — или с вами работаю, или вовсе нет.

Азеф исподлобья разглядывал генерала, видя ясно пипку на правой щеке.

— Они, наши то высокопревосходительства обладают ведь, простите за выражение, бараньими мозга-

ми. Зато знают твердо, что без генерала Герасимова станут вмиг «знаменитостями революции»! ха-ха-ха! без пересадки отправятся в лучший из миров! Ну так вот на ваше вознаграждение то согласились под конец, но конечно с большими lamentациями. Нелегко было.

— Александр Васильевич, — рокотал Азеф, шурясь в голубом дыму папиросы, — что вы от меня лотите?

— Прежде всего, Евгений Филиппович — познакомиться, — улыбнулся генерал, ловя Азефа стальными щелями — это первое, здесь мы одни, говорить можем по душе, а для дела, знаете, сойтись с человеком первое. Скажу вам прямо: генерал Герасимов не невероятный болван, вроде Ратаева, и не прожженный мерзавец вроде вашего прежнего шефа, глубокоуважаемого Петра Ивановича Рачковского. Запомните, пригодится. Впрочем, сами увидите, откровенность и человеческие отношения у меня в принципе. Чуть ли даже не Марк Аврелий сказал — «В прямоте красота»? Так вот-с! Работать со мной просто. И от вас требуются сущие пустяки. Первое — ка-те-го-ри-че-ски — поднял палец Герасимов, — запрещаю вникать в другие сферы партийной работы, кроме боевой! Краугольный камень. Даже мне не обязаны сообщать о небоевой работе партии. Поняли?

— Почему? — рокотнул Азеф.

— Это, батенька, без вас освещается. Да и не интересует. Моя с вами работа боевая, исключительно. Ведь и вам же удобнее, чего ж упираетесь то, а?

— Как хотите, — отвернувшись от глаз Герасимова, сказал Азеф.

— Так вот и хочу. Второе — вот что. Знаю ведь то я вас с самой лучшей стороны. Прямо скажу, считаю человеком большого ума, громадной воли, а главное, Евгений Филиппович, удивительнейшим организатором! Если б в партии то у вас, таких как вы было, скажем, человек десять, может нам всем давно бы и шею свернули. Но мелкогато-с, мелкогато-с ха-ха-ха

— больше так, телячьи восторги, да брыки. Так вот-с. И о себе скажу мнения неплохого, считаю и себя не бездарностью, кроме того точка приложения сил есть. А это, знаете, всегда важно. Если пойдём рука об руку, Евгений Филиппович, кто знает, может и оставим имена в русской истории.

— Малоинтересно, — липкими лопухами губ ухмыльнулся Азеф.

— Как сказать. Неужто ж так и нет никакого тщеславия? Что вы, голубчик, слабы все мы в этом местечке то!

Азефу надоело выщупывание. Он проговорил.

— Ну, а конкретно, что ж вы хотите?

— Конкретно, Евгений Филиппович, следующее: — с сегодняшнего дня буду абсолютно в курсе планов боевой. Наиабсолютнейше! Но не волнуйтесь, лубка не выйдет. Знаю, что у вас уже есть карьера в партии, при моей помощи продвинетесь ещё дальше. Ни ареста без вашего согласия не произведу. Кто нужен вам, пальцем не трону, знаю, что у вас там черговокумовство, хуже чем у нас в департаменте. Друг ваш, например, Чернов может спокойно гулять и болтать, сколько хочет. Не трону. Савинкова гоже. Но тех, кого можно взять без убытка, возьму и повешу. С удовольствием даже, Евгений Филиппович. Вот так то мы с вами революцию то и вылушим. Кого купим, кого повесим. Не по глупому, а по умному.

— С моей стороны будут следующие условия, — словно не слушая генерала, сказал Азеф, — чтоб никто из охранного ничего не знал обо мне, чтобы провала не было. И чтобы аресты боевиков, которых укажу, производились бы до момента покушения, чтоб меньше виселиц было.

— Первое подтверждаю. Второе, уж деталь. Но сам скажу, я против излишней крови и даже здесь с вами согласен, хотя раз на раз, конечно, не придется.

— А теперь, видите ли, Александр Васильевич, — улыбался Азеф конфузной улыбкой, не глядя на Герасимова, — вы выдвигаете меня, хорошо, но ведь и

вы этим выдвигаетесь? Стало быть и я делаю вам карьеру.

— Разумеется.

— За это надо платить. Вы монополию берете на мои сведения. Меня подставляете под верную опасность.

— То есть почему же?

— Сами же говорите, что вылушивать.

— Ах, та-та-та! Вот куда махнули те-те-те! — засмеялся Герасимов. — Да это же вы наверное насчет удачных покушений, что ли? А? Ээээ, батенька, куда хватили ха-ха-ха! Рад, что заранее сделал вам много комплиментов. Рад. Эдак вы меня без пересадки чего доброго революционером сделаете, а? Ха-ха-ха-ха. Говорили кстати мне, я, конечно, не верю, будто, вы, Евгений Филиппович, в Варшаве с Петром Ивановичем встречались, приблизительно так, перед, — щели Герасимова шурились на Азефе, выщупывая, — перед смертью Вячеслава Константиновича.

— За кого вы меня принимаете? — нахмуренно проговорил Азеф. — Я Рачковского в Варшаве в глаза не видал, был за границей, может подтвердить Ратаев, все глухая болтовня.

— Конечно, конечно. Евгений Филиппович, я же пошутил, язык у людей без костей, чего не болтает. Хотя, конечно, розыск настолько деликатная вещь, что если будет вести его человек плохих нравственных устоев, он эту тоненькую линию всегда перейдет, понимаете? А скажите, а прогос, боевая то ведь готовит что то по моим сведениям, а? Кто «у вас», так сказать, «из нас» на очереди?

— Конкретного нет, — нехотя, проговорил Азеф — толкуют о Дубасове.

— О Дубасове, — медленно, раздумчиво проговорил Герасимов, — боюсь я все, не забыли ли условия, Евгений Филиппович?

Азеф глянул на Герасимова: — он чиркал пальцем по воротнику.

— Повторяю, Александр Васильевич, что это ложь! — пробормотал Азеф. — С таким запугиваньем не стану работать, я не мальчик. Если хотите ссориться, давайте ссориться.

— Ну-ну, шучу, не распаляйтесь, не распаляйтесь.

— А если согласен на ваши условия, то соловья тоже баснями не кормят, — бормотал Азеф. — Вы любите откровенность, я говорю, мне нужны деньги.

— Какие, Евгений Филиппович?

— Меньше чем две тысячи не обойдусь.

— Много. На дело иль лично?

— На дело.

— Максимум тысяча.

— Завтра еду в Финляндию, ставлю мастерские.

— Какие мастерские?

— Динамитные.

— Сколько?

— Две.

— И денег?

— Говорю: две тысячи.

— Нет, батюшка, дорогонько. Одну то уж на партийный счет ставьте, на одну так и быть, — засмеялся Герасимов, встав и отпирая стол заманчивыми звонами.

— Меньше полутора не обойдусь, — рокотал Азеф, — если хотите, зачтите в жалованье.

— Ох, и несговорчивый человек! Ну уж только для первоначалу, так и знайте, больше чтоб нажима не было. А главное, ничего не забывайте, — повернулся генерал, держа бумажки с изображением Петра Великого.

— Ко вторнику можете?

Герасимов сложил расписку. Запер в стол. И веда Азефа комнатами, находу говорил:

— Попыхтели мы с вами! Ни с кем ей богу так не возился, зато думаю не зря. Только не втемяшивайте вы себе в голову, что я дурак, все дело, батенька, погубите.

От толщины Азеф хрипел, надевая пальто.

— Если телеграммой — на охранное, донесения сюда. Если что, вечером заворачивайте по семейному. Дома нет, справьтесь в «Медведе» у швейцара, спросите кабинет Ивана Васильевича.

И совсем уж на пороге сжимая руку Азефа, Герасимов проговорил: — В прошлую то пятницу на северо-донецких, да мальцевских играли. На бирже то? Своими глазами видел. Там то вы мне и понравились. Сразу решил, что дела можно делать. Ну и скрытный же, ай-ай-ай, с вами надо осторожней, а то чего доброго взорвете на воздух, — и Герасимов, обнимая Азефа, похлопал его по задней части, убедиться нет ли револьвера.

— Из Финляндии то черкните.

— Хорошо, — бормотнул, выходя, Азеф.

Азеф крепился у генерала Герасимова. Выйдя на улицу, почувствовал нервный упадок, слабость. Он понимал, что расчет смят.

9.

Савинков с братьями Вноровскими и Шиллеровым ставил в Москве покушение на генерала Дубасова. В крошечном, охряном домике, зажатом в зелени сосен, Азеф жил в Гельсингфорсе. Дом был уютен. Воздух резок, ароматен. Но Азеф волновался. Мерещилась генеральская пипка, веревка, чорт знает что.

Савинков подъезжал на финке, семенившей мохнатыми копытцами по серебряному, снежному насту.

— Ждал тебя, ждал, — рокотал Азеф, крепко обняв, поцеловал Савинкова.

Азеф провел в небольшую, солнечную комнату. За окнами: — сосны, снег, сад.

Савинков мыл руки, Азеф, приготовляя чай, спросил:

— Кто убил Татарова, Двойникова?

— Федя, — вытирая руки, сказал Савинков.

— Так, а я думал Двойников. Как в Москве? Солнце залило Савинкова. Азеф наливал чай, подставлял лимон, хлеб.

— Я тут по холостяцки, плохо живу.

— В Москве, не понимаю причин, но скверно, Иван. Регулярного выезда не можем установить, измотались, истрепались. Приехал советоваться с тобой, по моему покушение может выйти только случайное.

— Ерунда, — нахмурился Азеф, голова ушла в плечи. — Стало быть плохо наблюдают, если не могут установить. А случайное покушение ерунда, я не могу рисковать людьми ради твоих импрессий!

— Импрессий! Ты не ведешь и не знаешь. Выезды стали настолько нерегулярны, обставлены такой конспиративностью, словно он знает, что мы здесь. А при случайном выезде успех может быть. Надо взять кого-нибудь из мастерской, пусть приготовит снаряды, будем ждать его возвращения из Петербурга.

Азеф пыхтел, грудь подымалась от тяжелого дыхания. Он повернул тело в кресле, в тон скрипу проворкотал:

— Вообще у нас теперь ничего не выйдет, я в этом уверен.

— Почему?

Азеф каменный, мрачный, сморщился, махнул рукой:

— Я не могу больше работать, я устал. Убежден, ничего не выйдет. Папиросники, извозчики. наружное наблюдение, старая канитель, ерунда! Все это знают. Я решил уйти от работы, пойми, со времени Гершуни все в терроре, имею же я право на отдых, я не могу больше. Ты и один справишься.

— Если ты устал, то конечно твое право уйти, но без тебя я работать не буду.

Азеф посмотрел ему в лицо.

— Почему?

— Потому, что ни я, ни кто другой не чувствуем себя в силах взять ответственность за руководство

центральным террором. Ты назначен ЦК. Без тебя не согласятся работать товарищи.

Азеф молчал. Савинков говорил убежденно, красноречиво, доказывая, что отказ Азефа — гибель террора, а стало быть партии. Азеф изредка, подымая бычачью голову на короткой шее, взглядывал. Когда он кончил, Азеф сидел молча, сопя.

— Хорошо, — проговорил наконец, роняя слова, — будь по твоему, но мое мнение, ничего у нас не выйдет. Если хочешь бросить регулярное наблюдение и рассчитывать на случайную поездку Дубасова — хорошо, поезжай, возьми из мастерской Валентину, она поедет с тобой, приготовит бомбы. Только по моему это нерационально, дробится организация. Во всяком случае прежде всего извести меня телеграммой. Я приеду сам, все проверю.

10.

В тот же вечер Савинков ехал из Гельсингфорса в Териоки. На даче, у взморья стояла динамитная мастерская.

Продремав ночь на станции за чашкой кофе, Савинков с рассветом тронулся к взморью. По снежной дороге нес вейка. Раскатывались санки на крутых поворотах. Ни впереди, ни сзади — ни души. Лес, снег, небо. Да пробегающие лыжники. Финн знал путь. Быстро с лесистой дороги свернул на малокатанную снежную полосу. У дачи с подстриженным, заснеженным садом остановился.

Савинков шел узкой тропой, которую вытоптали здесь жильцы. Было тихо. В саду стучал дятел. Звенели в струнном ветре сосны. Под ногой заскрипели ступени лесенки. Коротким стуком Савинков постучал в стеклянную дверь. Навстречу вышла женщина, похожая на монашку. Лицо было желтовато, измождено. Темные глаза ушли вглубь. Движенья

были спокойны. Смотри на Савинкова, террористка Саша Севастьянова проговорила:

— Проходите, все дома.

В просторной, светлой столовой Савинков застал хозяина дачи Льва Зильберберга.

— Вот неожиданно! А мы тут как затворники! Вот радость! — говорил изящный, хрупкий Зильберберг.

На голоса вышли Рашель Лурье, худая, резкая брюнетка, лет 20-ти и смеющаяся Валентина Попова. Но по губам, полноватой фигуре Савинкову Попова показалась беременной.

Обступив Павла Ивановича здоровались, смеялись. Как молодо! Какие голоса! Как бодро! Какой смех! Саша Севастьянова, работающая за прислугу, накидывала на стол скатерть, суежилась, готовя закуску, ставя самовар с холоду приехавшему гостю.

— Как же живем, а? — похлопывал Зильберберга Савинков.

— Да готовим, — смеялся Зильберберг, — вы вот расскажите, что на воле делается? Мы тут месяц ни газет, ничего не видали. Может там уж и царя то у нас нет, свергли? — засмеялся Зильберберг.

— Нет куда сидит еще, сидит. Вот покажите-ка полностью мастерскую, тогда и решим, долго ли еще сидеть будет, — и Савинков с Зильбербергом вышли из столовой, где молчаливой монашенкой хлопотала Саша Севастьянова.

Дача была в девять комнат с отдельной кухней. Наверху три летних. Низ же оборудован по зимнему. Богатая дача, с мебелью карельской березы, картинами, креслами. До того хороша, что многих боевиков даже стесняла.

— Здесь вот барин живет, то есть значит я.

— Здесь вот — барыня, то есть Рашель.

— А вот это и есть мастерская, не бог весть что, но работать можно,—ввел Зильберберг Савинкова в

просторную квадратную комнату, почти без мебели, с туго спущенными белыми шторами.

Савинков ощутил знакомый запах горького миндаля, от которого всегда болела голова. На двух столах стояли спиртовки, примусы, лежали медные молотки, напильники, ножницы для жести, пипетки, стеклянные трубки, наждачная бумага, в флаконах, аккуратно как в аптеке, была серная кислота. В углу — запасы динамита. И рядом, внутри выложенные парафиновой бумагой, в виде конфетных коробок, консервных банок — оболочки снарядов.

Горький миндаль напомнил номер Доры в «Славянском базаре», Каляева, зимний день, смерть Сергея, радость убийства и тоску. Савинков знал, Каляев повешен, Дора сошла с ума в каземате Петропавловской крепости.

— А у вас не болит от него голова? — спросил, указывая на динамит.

— Привычка. Вот у Валентины сильные боли.

— У меня тоже, — говорил Савинков, думая о Доре, о ночи, когда пришел к ней, и о том, что, как говорят, сошла она с ума, прося дать ей яду, изнасилованная жандармами.

— А где ваша жена? — выходя из задумчивости спросил Савинков.

— Жена? — переспросил Зильберберг. — Она за границей, у меня даже двухмесячный ребенок, пишут уже улыбается, не видал еще.

— Да? — процедил Савинков. Они входили в комнату, похожую на гостиную; кроме желтой мебели, посредине стояла кровать, покрытая байковым одеялом. Навстречу им шли Попова и Рашель Лурье. Попова весело кричала:

— Павел Иванович! пожалте обедать! Только привыкли ведь к изысканностям. А у нас по-простецки. Саша даже стесняется, ей богу.

— Валентина, — сердито проговорила Саша и сама засмеялась.

За стол, покрытый клеенкой, садились шумно. Савинков помолодел, он почти студент, бегающий маляром за Невскую.

Саша несла сковороду шипящей глазуньи.

— Извините, товарищи, что то сегодня неудачно, кажется.

Попова подставляла деревянные подставки.

— Какой неудачно! Дело не в удаче, а в количестве, товарищ Севастьянова. Голоден, как волк А вот винца бы? Нет у вас? В вашей работе не надобится? Жаль. А мы развратились, привыкли заливать трапезу, — смеясь говорил Савинков.

Все смеялись. Ели яичницу, картофель, пережаренное Сашей в волнении, мясо. А после обеда, обняв за плечи Валентину, смотря в ее смеющееся лицо с раскрытыми губами, в которых белели мелкие зубы, Савинков говорил:

— Товарищ Валентина, я ведь вас увезу. Хотите?

— На дело?

— Ну конечно. А то на что же? — Савинков кратко рассказал о их плане.

— Согласны?

— О чем спрашиваете? Зачем же я здесь?

— Только один вопрос. Вы не беременны?

Краска залила щеки, лоб, словно выступила даже сквозь брови.

— Это вас не касается, это мое дело.

— Напрасно думаете. Меня касается. И как человека и как революционера. Во первых, в случае вашей гибели, вы убьете живого ребенка. Кроме того можете ослабеть, не совладеть. Ведь придется трудно.

— За себя я ручаюсь.

— Нет, поскольку вы подтверждаете, я на себя взять не могу. Изменить тоже не могу, дело Ивана Николаевича. Приеду завтра. Но говорю прямо, не обижайтесь, буду настаивать, чтобы вместо вас ехал кто-либо другой.

— Если Иван Николаевич назначил меня, я поеду. Вы не имеете права, — вспыхливо проговорила Вален-

тина. — Вы обижаете меня, как члена БО. Я говорю, что способна на работу.

— Я не могу, Валентина, не будемте говорить.

В своей комнате, сдержанная, строгая плакала Рашель Лурье. Назначение должно было принадлежать ей, Павел Иванович вызвал Попову.

11.

Азеф собирался к генералу Герасимову, когда внезапно вошел Савинков. По ушедшей в плечи голове, наморщившемуся лбу и затуманившимся глазам, Савинков понял, что Азеф не в духе.

— Почему ты приехал? — отрывисто спросил Азеф. — Постой, не ходи ко мне, у меня женщина. Пойдем сюда.

Они вошли в кухню. Опершись о стол, Азеф слушал Савинкова.

— Какой вздор! — пробормотал он. — Нам нет никакого дела, беременна Валентина или нет. Я не могу производить медицинских освидетельствований. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны верить ей.

— Я отвечаю за все дело. Мне важна каждая деталь, я не могу рассчитывать на успех, если сомневаюсь в Валентине.

— Я знаю Валентину, она все выполнит.

— Я повторяю, беременную женщину в дело не возьму.

Азеф захохотал. Кончив хохотать, проговорил:

— Бери Валентину и поезжай сейчас же в Москву. Менять поздно. Сантименты побереги для других.

— Это слишком по генеральски, Иван! — вскрикнул Савинков. — Вот тебе последний сказ: — или я выхожу из организации, или вместо Валентины едет Рашель.

Азеф остановился в дверях. Смотрел насмешливо, был похож на большую гориллу.

— Сегодня же езжай в Москву. Понял? — проговорил он и, не прощаясь, вышел.

12.

подавитель московского восстания генерал-адъютант Дубасов внешне напоминал борзую собаку. Без бороды, длинное, узкое лицо с легкими бачками, жидкими усами. Дубасов знал, что готовится покушение. Больше того, по ночам была уверенность в смерти. А когда охранное сообщило, что террористы в Москве и генерал должен ездить только маршрутом указываемым охранным, генералу показалось, что он убит.

— Что вы, граф, ну что там сделает охранное? — говорил Дубасов адъютанту, графу Коновницыну. — Молодо-зелено, батюшка. Кто нас с вами охранит от тысячи бешеных террористических собак? Евстратка Медников? Да разве спасет неграмотный Евстратка, который купил себе под Москвой имение и вместе с бабой коров доит. Да и нравов вы их не знаете. Петербургской охраной кто ворочает? Шурка Герасимов, я его по чугуевскому училищу знаю. Он ни в бога, ни в чорта не верует. А в руках его жизнь всякого. Хочет казнить, хочет милует. Вот как, графчик, дело то обстоит, так то вот! — засмеялся Дубасов. И от смеха генерала Дубасова, адъютанта, графа Коновницына охватило волнение.

13.

Восемь раз, в голубой форме сумского гусара с коробкой конфет выходил Борис Вноровский навстречу коляске генерала Дубасова. Вороная голова Вноровского поседела. Но коляска Дубасова ускользала. Савинков, Вноровские, Шиллеров и Валентина Попова — обессилели. И тогда в Москву, убивать генерала Дубасова, приехал из Финляндии Азеф.

Он назначил убийство на день именин императрицы Александры. Чтоб, когда по случаю тезоименитства грянут оркестры, в весеннем солнце блестя бастромбонами, корнетами, литаврами, тронется отчетливая пехота и, расходясь плавным тротом, завальсируют кони под кавалеристами, тогда в разгар парада метальщики замкнут пути из Кремля и генерал Дубасов в весенний день поедет на бомбу.

Поседевший, еще более красивый, Борис Вноровский одел форму лейтенанта флота. Азеф передал восьмифунтовый снаряд, чтоб замкнул Вноровский Тверскую от Никольских ворот.

Одетому, человеком в шляпе, с портфелем, Шиллерову Азеф дал снаряд, чтоб замкнул Боровицкие ворота. А на третий путь по Воздвиженке стал, одетый простолюдином, Владимир Вноровский, дожидаясь чтоб Азеф привез снаряд.

Летающие в весеннем воздухе звуки медных маршей и крики ура наполняли Москву. Вноровский волновался. Не понимал, как можно быть неаккуратным. Сжимал покрывавшиеся потом руки. Крутятся, высматривая в толпе, Вноровский казался даже подозрительным. Но вдруг толпа отшатнулась. Вынырнул взвод приморских драгун в канареечных бескозырках. Плавно ехала коляска генерала Дубасова в двух шагах от Вноровского. Генерал поднял к козырьку руку. Адъютант к кому то обернулся, улыбаясь. Но уже несся замыкающий взвод драгун. И только тут Вноровский, недалеко, на извозчике увидал полного, безобразного человека в черном пальто и цилиндре, с папиросой в зубах. Извозчик Ивана Николаевича скрылся. Но раздался глухой, подземный гул...

Это, увидав выехавшую из Чернышевского переулка на Тверскую площадь коляску Дубасова, уже готовую скрыться в воротах дворца, бросился наперерез ей седой лейтенант, швырнув под рессоры коробку конфет.

Тяжело дыша, не разбирая, сколько он сунул извозчику, Азеф в кафе Филиппова на Тверской в изнеможении, испуге и усталости опустил на стол.

Вокруг кричали, сновали люди — «Генерал-губернатор! Убит! Дубасов!»

На торцах площади у дворца, возле убитых рысаков валялся, разорванный в куски, адъютант граф Коновницын. Поодаль, с седой головой, странно раскинул руки окровавленный труп молодого лейтенанта.

Раненого генерала Дубасова вели под руки в покои дворца.

14.

В полчаса девятого генерал Герасимов ждал Азефа. Генерал ходил по паркетной зале, был в военном. Шпоры звенели отрывисто, доносясь во все шесть комнат. Судя по заложенным за спину рукам и слишком быстрому звону шпор, генерал был взволнован.

Когда в передней раздался звонок, генерал злобно протянул — «ааааа».

— Я запоздал, — глухо говорил Азеф, отряхивая капли дождя с цилиндра.

— Я вас жду полчаса.

Азеф кряхтя снял пальто, кряхтя повесил на вешалку, потирая руки и лицо пошел за Герасимовым. С виду он был спокоен. Генерал напротив шел, очевидно готовя фразы и слова.

— Потрудитесь сказать, где вы были во время покушения, Евгений Филиппович? — проговорил Герасимов, когда меж их креслами стал курительный прибор.

— В Москве, — доставая из кармана спички, сказал Азеф. — Даже был арестован в кофейне Филиппова, что не особенно остроумно. Я выехал, чтоб захватить дело.

— И не ус-пе-ли? — расхохотался злобно Герасимов. — Дубасов спасся чудом! Коновницын убит на глазах всей охраны! Вы понимаете или нет, что мне скажут в министерстве?!

— Ну, знаю, — лениво проговорил Азеф, — но что вы от меня хотите, я не бог, я не давал вам слова,

что революционеры никого никогда не убьют, это неизбежно...

— Не финтить! — в бешенстве закричал Герасимов. — Забываете?

Дым заволакивал лицо Азефа, оно становилось каменным. Пипка была на правой щеке генерала.

Герасимов замолчал, стараясь подавить бешенство.

— Евгений Филиппович, — проговорил тихо, — в нашей работе все построено на доверии. Сегодня в департаменте Рачковский заявил, что московское дело — ваше. Скажите прямо: — у вас были данные, что покушение назначено на время парада? — серостальные щели не выпускали маслин Азефа.

— Либо вы мне верите, либо нет, — лениво сказал Азеф. — Я хотел захватить все дело, Дубасов сам виноват. Я указал маршрут, сказал, чтоб из предосторожности выезжали на Тверскую из Брюсовского, а они выехали из Чернышевского.

Герасимов похрустывал пальцами, смотря в пол.

— Кто ставил дело?

— Не знаю.

— А я знаю, что Савинков! — закричал Герасимов.

— Возможно, — пожал плечами Азеф, — в ближайшие дни узнаю.

— Я уверен. Но понимаете вы, что получается, или нет? Вы просили не брать Савинкова, потому что он нужен. Я не брал. А теперь? Мы ведем сложнейшую канитель, а Савинков на глазах всей Москвы убивает? Так мы ки черта не вылушим, кроме как самих себя! Рачковский, будьте покойны, намекнет кому надо.

— Это будет сознательная ложь с его стороны. Но если вы этому верите, то арестуйте меня.

Азеф стряхнул пепел в никкелевую пепельницу на приборе.

В комнате наступила большая пауза.

— В Москве я узнал, что в Петербурге хотят готовить на Дурново, повели наблюдение трое извозчиков.

Герасимов подошел к письменному столу.

— Один жivet на Лиговке, улицу не знаю. брюнет еврей, но мало типичен, выезжает на угол Гороховой в три часа. Другой газетчик, лохматый, русский, в рваном подпоясанном веревкой тряпье, почти как нищий, у Царскосельского вокзала. Дурново не должен ездить в карете, пусть идет пешком. И в пути принимает меры предосторожности, не то будет плохо.

Азеф сидел спокойно, заложив ногу за ногу, виден был розовый носок. Ботинок острый, лакированный на высоком каблуке.

— Есть еще?

— Послезавтра дам точные данные, сможете взять.

Взволнованность Герасимова, как будто, прошла. Он знал, что сказать в министерстве, сложив блокнотик, вставил карандаш.

— Вы ручаетесь, что с Дурново не повторится дубасовская история?

— Будем надеяться, — пожал плечом Азеф. — Но вдруг увидал, что генерал улыбается и пипка заметалась.

— У меня есть терпение, но не столько, как вы думаете. И ума больше, чем кажется. В данном случае мои условия коротки: всех боевиков на Дурново сдать. Если хоть одно покушение будет удачно и ваша роль также неясна, как в Дубасове, не пожалею. Дубасова запишем а конто революции. Больше таких не будет, ни одного. Савинкову гулять довольно. Не допущу, чтоб шлялся по России и убивал, кого ему нравится. Не позднее этого месяца возьму. Ваше дело обставить шито крыто.

— Хорошо, — проговорил Азеф, — только его брать надо не здесь.

— Отошлите. Говорили, что хотели ставить на Чухнина? В т и пошлите. Мы отсюда отправим людей.

Азефу показалось, генерал выбивает из под него табуретку, он виснет в петле.

— Подумаю, — проговорил он, — только не понимаю вашего отношения. Запугиванье. Я не мальчик. Не хотите, не буду работать, я же вам обещал...

— Ээээ, батенька, обещаньями дураков кормят. Азеф вынул платок, отер лоб.

— Так работать нельзя, — бормотал он, — нужно доверие.

У него было тяжелое дыханье. Ожиренье.

— Я не получил еще за прошлый месяц, — глухо сказал Азеф.

— Дорогоньки, Евгений Филиппович.

С Невы дул ветер. Из мокрой темноты летели хлесткие капли. На тротуаре Азеф огляделся. В направлении Летнего сада стлалась темная даль Петербурга. По Фонтанке он прошел к Французской набережной. На Неве разноцветными огнями блестили баржи. Открыв зонт, Азеф шел к Троицкому мосту.

15.

Волнуясь в табачном дыму, говорили боевики в заседании в охряном домике Азефа, перед созывом Государственной Думы. Комната прокурена. На столе бутылки пива. Облокотившись локтями, тяжело сидел уродливым изваянием Азеф. Абрам Гоц развивал план взрыва дома министра внутренних дел Дурново. Он походил на брата, но был моложе и крепче. В лице, движениях был ум, энергия. Чувствуя оппозицию плану, он горячился.

— Если не можем убить Дурново на улице, если наши методы наблюдения устарели, а Дурново принял удесятиренную охрану, надо идти ва банк. Ворваться к Дурново в динамитных панцырях!

— Иван Николаевич, ты как? — сказал Савинков.

Азеф медленно уронил слова:

— Что ж план хорош, я согласен. Только в открытых нападениях руководитель должен идти впереди. Я соглашаюсь, если пойду первым.

Родилось внезапное возбуждение.

— Не понимаю, Иван! — кричал Савинков, размахивая папирсой. — Какой бы план не был, мы не можем рисковать главой организации!

— Невозможно же, Иван Николаевич!!

— Я должен итти. И я пойду, — пробормотал Азеф.

В дыму, в криках, в запахе пива поняли все, что воля главы БО не ломается, как солома. А когда разбитые бесплодностью заседания, боевики выходили, Азеф задержал Савинкова.

— Надо поговорить, — пророкотал он и сам пошел выпустить остальных товарищей из охряного домика.

16.

Оставшись, Савинков растворил окно: — чернели силуэты деревьев. Комната вместо дыма, стала наполняться смолистым запахом сосен.

Азеф вернулся ласковый. Он лег на диван. Савинков стоял у окна. Так прошла минута.

— Какая чудная ночь, — проговорил, высовываясь Савинков. И в саду голос был слышнее, чем в комнате.

Азеф подойдя, обнял его, вместе вытянулся в окно.

— Ну ладно, брось лирику, — пророкотал он.

Окно закрылось, занавесилась штора.

— Устал я очень, Борис, — сказал Азеф, — жду возможности сложить с себя все, больше не могу.

— А я не устал? Все мы устали.

— Ты другое. На тебе нет ответственности, — зевнул Азеф, протер глаза и потянулся. — Но как бы то ни было, до сессии Думы надо поставить хоть два акта, иначе чепуха. Жаль, что Дурново не дается, не понимаю, почему началась слежка, все шло хорошо, теперь ерунда какая то. По моему надо снять их всех, как ты думаешь?

— Судя по всему, наблюдение бессмысленно.

— Я тоже думаю. Мы их снимем.

Азеф словно задумался, потом заговорил в волнении.

— Что же тогда из нашей работы? Дубасов середина на половину. Дурново не удастся. Акимов не удастся. Риман невыяснено. Что ж мы, стало быть, в параличе? ЦК может нам упрек бросить и будет совершенно прав. Израсходовали деньги и ни черта. Остаются гроши. Надо просить, а вот тут то и скажут: — что же вы сделали?

— Не наша вина.

— Это не постановка вопроса, чья вина. Важно дело. Я думаю послать когонибудь к Мину или Риму прямо на прием. Яковлева, например, лихой парень, подходящий. Но в Питере вообще, знаешь, дело дрянное. Как ты думаешь насчет провинции?

— Можно и в провинции.

— Зензинов говорит, что Чухнина убьют. А я не верю. Не убьют. А Чухнина надо убить. Это подымет матросов.

Савинков молчал.

— Ты как думаешь?

— Следовало бы.

— Надо послать когонибудь. Только кого?

Савинков небрежно развалился в кресле под лампой. Кругом узких глаз лежала сетка морщин. Лицо было длинно, худо, грудь впалая, плечи узкие. Азеф ласково глядел на него.

— А знаешь, что, Иван, — улыбаясь проговорил Савинков. — Давай поеду на Чухнина? Крым люблю, погода прекрасная.

— Ты?—задумался Азеф,—а как же я без тебя?

— Ну, как же? Что ж у тебя без меня людей нет?

— Они все не то, — сморщился Азеф.

— Так все уж и не то! — хохотал Савинков, ласково ударяя по плечу Азефа.

— А что? Тебе хочется съездить в Крым?

— Отчего же. Говорю люблю Крым, взял бы Двойникова, Назарова.

— Не знаю. Нет, Борис, я без тебя тут совсем оазвинчусь. Впрочем, если ты хочешь...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

1.

Софья Александровна Савинкова за десять лет постарела, как стареют за тридцать. Волосы седые. Прическа не вьющимся валом, а закрученной, старушечьей кукушкой. По лицу пошли коричневатые морщины. Разве остались только глаза. Но и они стали печальны.

Да не только Софья Александровна, все постарело в доме. Горничная Феня стала Федосьей Петровной. Квартира вылиняла. Никто за ней с любовью не ухаживал. А без любви вещи блекнут и вянут.

Окно, где всегда сидела Софья Александровна, выходило на улицу. По тротуару ходили люди. Можно было предположить: — Софья Александровна смотрит на них. Сквозь стекло она была видна. Но она думала о муже, Викторе Михайловиче, о том, что надо прибрать могилу, посадить гортензии. Виктор Михайлович любил гортензии. О том, что не узнает могилы сына Александра. Наверное могилы нет, овраг, заросший бузиной и крапивой. В Якутской области, зарыт Саша, которого носила в себе, с которым было так много хлопот.

За стеклом Софья Александровна увидела почтальона и встала.

— Подожди, — сказала она, шаря в сумочке мелочь. Когда почтальон шумно сбежал с лестницы, Софья Александровна вскрыла телеграмму: — «Немедленно выезжайте курьерским Севастополь сын хочет видеть защитник Иванов». — Софья Александров-

на, опускаясь в кресло, почувствовала, что теряет силы. — Господи! — вскрикнула она, одна во всей квартире. — Что это!!?? — Все было ясно. Она читала про докушение в Севастополе на адмирала Неплюева, про взрыв бомбы во время парада. Во вчерашних газетах стояло: — генерал-губернатор Каульбарс передал дело военному суду. Софья Александровна знала: раз защитник телеграфирует, стало быть обвинительный акт вручен и через 48 часов второй сын будет повешен.

2.

Когда в Севастополе она ехала с вокзала к защитнику сына, капитану Иванову, солнце, разлившись в небе, жгло нестерпимо. И это огненное солнце стало ее мученьем. Она опустила вуаль, раскрыла зонт. Казалось, что в жарком, неприятном городе уже казнили ее сына.

«И как могут в такой жар везти в колясках детей? Неужели не жарко?» Из-за угла под барабан вышла рота. Загорелый офицер в белом кителе и зеленых рейтузах показался Софье Александровне ужасным.

Сколько прошло времени, пока раздалась за дверью шаги, Софья Александровна не понимала. Шаги были очень медленны. Она увидела офицера с пушками на погонах и поняла, что артиллерист.

— Я, Савинкова, мой сын...

3.

В одиночной камере севастопольской гауптвахты Борис Савинков стоял на табуретке и, положив на высокий, узкий подоконник руки смотрел в квадратный кусок голубого неба.

Уже с Харькова ему показалась слезка. Но Назаров и Двойников разуверили. В Севастополе в гостинице «Ветцель», где остановился под именем подпоручи-

чика в отставке Субботина, подозрителен был рябой швейцар. Но счел за мнительность. Да и действительно в день коронации все произошло невероятно глупо.

День был жаркий. Савинков ушел к морю. На берегу лежал, смотря в выпуклую, серебрящуюся линию горизонта. Волны ползли темными львами, шуршали пеной о мягкую желтизну. Бежали парусники. Вдали нарисовался кораблик, как игрушка. Савинков долго лежал. Потом, по пути в гостиницу, услышал удар. «Бьет орудие», подумал. И вошел в вестибюль «Ветцеля». Но на лестнице кто-то крикнул: — Застрелю, как собаку! Ни с места! — И площадка наполнилась солдатами.

Савинкова крепко схватили за руки. Совсем близко было лицо поручика с выгоревшими усиками. Поручик в упор держал черный наган. Савинков видел сыщика с оттопыренными ушами и белыми глазами. Но сыщика оттолкнул поручик, потому что он наступил в свалке поручику на ногу. — Ведите для обыска! — кричал поручик. И Савинкова втащили в номер, начав раздевать.

4.

Сознание, что именно он, а никто другой через день будет повешен, перевернуло все в черепе. Стоя у окна, смотря в решетчатый, голубой квадрат, Савинков ощущал полную оторванность. Все стало чуждо, совершенно ненужно. Нужнее всего было это окно.

«Буду болтаться, как вытянувшаяся гадина, и эта гадина будет похожа на Савинкова, как неудавшаяся фотография». — Савинков слез с табурета, прошелся по камере, заметил, что в двери заметался глазок. «Подсматривают», — остановился он и стало смешно. «Я в синем халате, в дурацких деревянных туфлях, чего же подсматривать?». И, прорезая тело наискось каленым железом, резко прошла мысль: — «Все рав-

но. Осталось держаться на суде, так чтоб знали, как умирал Савинков».

— «Гадость», — думал он, — «повесят». Вспомнил, в имении Петра Петровича рабочие вешали беглого пса. Пес извивался, когда тащили, вился змеей в петле отчаянной мордой, потом протянулся, высунув язык. Рабочий подошел, дернул за ноги, в собаке, что хмыкнуло. Оборвалось сухожилие что ли...

В коридоре послышались шаги ошпоренных ног. По спине к ногам прошла морозная дрожь. Винтовки звякали, прикладами ударяясь о каменный пол.

«Идут».

Шаги и голоса затоптались у двери. Завертелся ключ. Савинков увидел на пороге караульного офицера.

— Приготовьтесь, свиданье с матерью.

Меж любопытно смотревших солдат с винтовками, вошла старая женщина, не в шляпе, как представлял Савинков, а в косынке, с седыми висками. И вдруг, старая женщина, его мать, закачалась. Савинков бросился к ней, застучав по полу туфлями. Упав на руки Софья Александровна резко, странно, высоко закричала.

— Мама, не плачь, наши матери не плачут.

Солдаты у дверей смотрели деревянно. Громадный детина даже улыбнулся.

— Каков бы приговор ни был, знай, я к этому делу непричастен. Смерти я не боюсь, готов к ней.

«Боже мой, боже мой, как он худ». — Софья Александровна даже не слушала.

— Боря, дело получило отсрочку, приехали адвокаты, завтра будет Нина, я получила телеграмму.

— Свидание окончено.

Ощувив смоченные солью, морщинистые щеки Софьи Александровны, он выпустил ее. Софья Александровна тихо вышла, окруженная солдатами.

5.

Через полчаса, в уборной Савинков увидел Двойникова. Выводные курили, толкуя о смене Белостокского полка Литовским. И эта смена им была нужна и интересна. А Савинков говорил обросшему колючей бородой Двойникову:

— Эх, Ваня, это пустяки, что отсрочка, ну повесят стало быть не 17-го, а 19-го.

— Повесят? — дрогнувше пробормотал Двойников. — Всех? И Федю?

— И Федю.

— И вас?

— И меня.

Кивнув вниз головой, словно от короткого удара, Двойников тихо произнес:

— Федю жалко. — Помолчав добавил: — Часы при обыске взяли. Не отдают.

— Часы теперь ни к чему, Ваня.

Выводной сплюнул и крикнул:

— Ну ребята, айдате!

6.

Все было ясно: — виселица. Но карты смешались, когда в камеру ввели Нину. Глаза показались настолько испуганными, что Савинков думал: — не выдержит, упадет. Но, обвинив шею, Нина прошептала: «приехал Николай Иванович» и впилась поцелуями и слезами.

Это было отчаянно-невероятно. Если б переспросить?! Вглядываясь в любящее лицо, в темные, страшные глаза, Савинков понял, что не ослышался:—«Николай Иванович» — Лев Зильберберг, глава териокской мастерской, у которого двухмесячная дочка.

— Свидание окончено.

Но это ж секунда, в которую запомнилось лишь выражение глаз. В глазах слезы и что то еще. «Не-

ужто надежда?» — думал Савинков, ходя по камере. — «Почему Зильберберг? Может перепутала, вместо Николая Ивановича — Иван Николаевич, Азеф?» С потрясающей силой желанье бегства, свободы, жизни прорезало тело. Савинков простонал, ломая пальцы.

7.

На конспиративной квартире ЦК, в традиционном дыму, слушая план Зильберберга, Чернов ковырял в носу, шмыгал и вынимал платок. Азеф насупленно молчал. Натансон, отмахнувшись, толковал с приехавшим из провинции крестьянином.

Зильберберг кипел. — Я требую от имени боевиков! — кричал Зильберберг. Но почему Льву Зильбербергу пришла в голову сумасшедшая мысль освободить из крепости Савинкова? Он меньше других знал его. Только однажды, на иматрской конференции боевиков, на праздничном обеде, Савинков на пари писал между жарким и сладким два стихотворения. И когда читал, веселей всех радовался такой талантливости боевик Зильберберг.

— Требую, — ухмылялся Чернов Азефу, — требовать то все мы мастера. Молодо-зелено, Иван. Ну как там его из крепости освободишь?

— Товарищи! — заговорил Азеф, — я глава террора и друг Бориса, но должен сказать, как мне ни дорог Борис, высказываюсь против плана освобождения. Надо знать, что такое крепость и что такое охрана в крепости. Жалость не резон, чтобы мы теряли бешеные деньги. К тому же вместе с деньгами теряли и таких работников, как Николай Иванович. Мы не богаты. Наша единственная цель — революция. Мы не имеем права итти на сантименты даже по отношению к Савинкову. Да, я первый бы пошел спасать его, но у нас нет средств спасения, поэтому нечего строить испанские замки.

И все же Зильберберг зашивал в пояс деньги, конспиративные адреса, торопясь поспеть к поезду. В передней совсем уж в дверях нагнал Виктор Михайлович, сжимая хрупкую руку в громадных короткопалых шатунах, быстро проговорил:

— Вы уж, кормилец, постарайтесь для Павла Ивановича то, постарайтесь и на меня не сердчайте. А если увидите Павла то Ивановича, всяко бывает и медведь с крыши летает, поцелуйте. Так и передайте, что мол целую его и впечатление, скажите, громадное, колоссальное!!!

8.

Жандармские офицеры за столом сидели с карандашами. Все были в парадной форме густых эполет, в аксельбантах, орденах. Заседание красиво-одетых людей казалось торжественным. Во фраках с белыми пластронами, бритые адвокаты поблескивали стеклами пенснэ. Впечатления общей торжественности не портили.

— Суд идет! Встать!

Софья Александровна раздвоилась. Одна рассматривала председателя, генерала Кардиналовского, звенящих шпорами офицеров. Другая зажалась в ней же самой, ждущая только, чтоб отворилась белая дверь.

Бас генерала сказал: — Введите подсудимых!

Забилось сердце. Колыхнулась дверь. Блеснули сабли. Среди сабель шел легкой походкой, в руке с розой, Борис Савинков. Конвойные были выше ростом. Увидав мать, он улыбнулся, кивнув.

Сзади, Двойников и Назаров ступали тяжелее. Брови были сжаты, лица сведены.

— Подсудимый встаньте, скажите ваше звание, имя и отчество.

Сквозь густую пелену, заложившую уши, Софья Александровна услышала:

— Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков.

Софья Александровна не слыхала ответов других подсудимых. Видела только, что встают, говорят, «Господи», прошептала она.

Из-за стола защиты поднялся левый фрак, поблескивая пенснэ. Непохоже на военных заговорил: — Смею указать суду, на основании законов военного положения данное дело не согласно закону передано военному суду генералом Каульбарсом, оно могло быть передано только адмиралом Чухниным. Таким образом совершенная неправильность является, с точки зрения права, кассационным поводом...

Нина чувствовала, фрак адвоката Фалеева говорит хорошо. Военные смотрят с неудовольствием.

В противоположном конце поднялся прокурор. Худ, желт, черно-глаз. Тоже поблескивает пенснэ, но язвительно: — Это является формальным моментом судопроизводства. И нам решительно безразлично, каким путем дело дошло до военного суда — говорил черно-желтый прокурор, нервно, раздраженно, словно скорей хотел убить Савинкова, Двойникова, Назарова и Макарова, покушавшегося на адмирала Неплюева, немного даже смешного шестнадцатилетнего, румяного юношу, который, сидя на скамье, улыбался розовыми щеками.

— Суд удаляется на совещание.

Савинков обернулся к жене и матери. «Боже, как он может улыбаться», — думала Софья Александровна. Нина сидела закрывшись платком.

— Суд идет!

Генерал Кардиналовский произнес басом:

— Суд признал дело слушанием продолжать.

Софья Александровна и Нина видели чуть сторбившуюся спину и затылок Савинкова. Из-за стола защиты поднялся фрак адвоката Л. Н. Андронникова. Голос Андронникова резче, манеры острее.

— Смею обратить внимание суда на происшедшее нарушение прав обвиняемого Макарова. Согласно закону подзащитный имел право двухнедельного срока на подачу отзыва на решение судебной палаты о его

разумении, между тем прошло лишь четыре дня. Таким образом права обвиняемого Макарова я должен считать нарушенными, если суд не признает дело слушанием до истечения законом положенного срока отложить.

— Суд удаляется на совещание.

«Уважат», — говорили в публике, — «Не думаю». Прямыми шагами шел генерал Кардиналовский. Наступила тишина. Нина слышала: скрипит спинка стула, за который схватилась Софья Александровна. Генерал читал:—Принимая во внимание статью, принимая во внимание указанное, а также в подтверждение сего, принимая параграф... суд признал дело рассмотрением...

Спинка стула скрипнула.

— ...отложить.

Звон сабель, крик, шум. Конвой оттеснял метлевающие фраки. Подсудимые шли в блестящих саблях, в белую дверь.

9.

Радостней всех из зала суда выбежал худой, красивый человек с черными усами. Он почти побежал по улице, торопясь на Корабельную, где жил в семье портового рабочего Звягина в малой полуподвальной комнате.

Но лишь только Зильберберг, пригнувшись в сенях, чтоб не разбить лоб, перешагнул порог подвала, навстречу метнулись испуганные лица Звягина, жены и девятилетней Нюшки. А вслед за тем в темноте сверкнула военная форма и высокая фигура двинулась к нему.

Зильберберг сунул руку за револьвером и отшатнулся. Дверь захлопнулась, стало темно.

— Вы, Николай Иванович? — проговорил в темноте голос.

— Кто вы и что вам нужно? — Зильберберг вынул в темноте револьвер.

— Я член симферопольского комитета партии — Сулятицкий. Хочу говорить по интересующему вас делу.

Голос молодой, полный веселья. В последних словах Зильберберг различил почти что смех.

— Чорт бы побрал, — пробормотал Зильберберг. — Я вас чуть не ухлопал, я ждал вас вчера.

И когда раскрыли дверь, Сулятицкий увидел, что Зильберберг прячет в карман браунинг.

— Веселенькая история, — пробормотал он, — куда же мы пойдем?

— Ууу, што б тебя, — бормотнул Звягин.

— Пойдемте в мой «кабинет», — смеясь, сказал Зильберберг.

— А как ваши хозяева? Мы в безопасности?

— О да. Не будем терять времени, мне через час надо уходить.

— Ваш комитет, — говорил Зильберберг, когда они сели в подвальной каморке, — сказал, что вы придете завтра.

— Завтра не мог быть, назавтра я в карауле.

— В крепости?

— Да.

— Но позвольте, караул занят Белостокским полком, а вы Литовского?

— Мы сменяем. Не волнуйтесь, знаю, что установили связь с белосточанами. Литовцы будут не хуже.

Сулятицкий высок, белокур, с большим лбом и яркими, васильковыми глазами. Он внушал доверие, полное спокойствие.

— С вами, думаю, не пропадем, — говорил Зильберберг, глядя на веселого Сулятицкого. — Видите, у меня два плана. Первый — открытое нападение на крепость, как вы думаете?

Сулятицкий покачал головой и, до смешного яркими глазами, улыбнулся:

— Не выйдет, — проговорил он. — Освобождать надо с подкупом и риском побега прямо из тюрьмы.

— Это второй план. Если вы отклоняете первый, обсудим второй.

Сидя на смятой, пятнастой кровати, застеленной лоскутным одеялом, стали обсуждать второй план.

10.

Штаб крепости полагал, что арестованных повесят в ночь суда. Но их не повесили. Штаб приказал: — усилить надзор, уменьшить передачу с воли, сократить свидания.

Мысли о висящей собаке Савинкову казались уже чужими.

Савинков знал: гауптвахта охраняется ротой. Рота в карауле делится меж тремя отделениями. Общим, офицерским и секретным, где содержатся они. Коридор с двадцатью камерами досканально изучил, проходя в уборную. С одной стороны он кончался глухой стеной с забранным решеткой окном. С другой кованной железом дверью, ведшей в умывальную. Дверь эта всегда была на замке. В умывальную же с четырех сторон выходили: — комната дежурного жандармского унтер-офицера, кладовая, офицерское отделение и кордегардия. А из кордегардии — знал Савинков — единственный выход к воротам.

Но в секретном коридоре на часах стоят трое часовых. У дверей в кордегардию двое. У дверей в умывальную двое еще. Между внешней стеной крепости и гауптвахтой тянутся бесчисленные посты. За внешней стеной опять протаптываются караульные. И, замерев, стоят на улице и у фронта, у пестрых, полосатых как версты, будок.

Это узнал Савинков у, выводящего в уборную, солдата Белостокского полка Израиля Кона. Кон связал с солдатом членом партии, был готов помочь бегству, умоляя об одном, чтобы Савинков взял и его. Кон щедушный, веснушчатый еврей, тяготился службой,

мечтая о торговле в Америке, откуда получал томившие письма родственников.

Савинкову казалось: — все налаживается. Но, встав утром, условно кашлянув три раза, заметил, что глазок в двери не подымается, попросясь в уборную, увидел незнакомых солдат.

— Какого полка? — спросил он, идя с конвойным.

— Литовского, — и по окающему говору Савинков понял, что солдат нижегородец.

«Повесят», — умываясь, думал Савинков.

— Чего размылся! — грубо проговорил нижегородец, здоровый парень лет двадцати двух.

Савинкову хотелось всадить штык в живот этому нижегородцу, затоптать, вырваться наружу, к товарищам. Но вместо этого, пошел обратно в камеру с нижегородцем.

И когда щелкнул замок, силы упали. Савинков лег на койку. Лежал несколько часов. Даже не заметив, как повернулся ключ в замке и дверь открылась.

На пороге стоял высокий вольноопределяющийся с голубыми, смеющимися глазами.

— Я разводящий, — проговорил он. — В лице, в смеющихся глазах Савинкову почудилась странность. Но Савинков не встал с койки, а еще плотнее запахнулся в халат.

— Я от Николая Ивановича, — проговорил, подходя, разводящий.

— Что? — проговорил Савинков, не понимая.

— Чтобы вы не сочли меня за провокатора, — быстро, посмеиваясь, говорил Сулятицкий, — вот записка, прочтите, скажите, готовы ли на сегодня вечером?

— Побег? — прошептал Савинков и кровь бросилась в голову.

Зильберберг писал: — «Сегодня вечером. Все готово. Во всем довериться Василию Митрофановичу Сулятицкому».

Сердце забилося. Сидя на койке, Савинков сказал:

— Я готов. Только как же с товарищами? Шли вместе на виселицу.

— Я так и думал. Вы с ними получите свидание. Жандарм подкуплен, ровно в 12 дня проситесь в уборную. Назаров, Двойников будут там. А теперь надо итти, итак до 11 ночи.

Когда Савинков остался один, им овладело страшное волнение. «Неужели вечером? свободен?» Он ходил по затхлоу, темной камере. В такую быстроту появления Сулятицкого, подкуп жандарма, в побег — не верил.

Но время шло. Крепостные куранты проиграли 12. Савинков стал стучать в дверь. На стук подошел нижегородец.

— В уборную.

Дверь отворилась. Савинков пошел с конвойным. В дверях уборной конвойного окликнул красноносый жандарм. Они заговорили. В уборной стояли Назаров, Двойников и Макаров.

— Товарищи, — быстро, тихо прошептал Савинков, — сегодня один из нас может бежать. Надо решать кому.

Наступило краткое молчание.

— Кому бежать? — проговорил грубовато Назаров, — тебе, больше говорить не о чем.

— Без вашего согласия не могу.

— Тебе, — проговорил Двойников.

Макаров тихо сказал:

— Я ведь вас не знаю.

Назаров наклонился к Макарову, шепнув на ухо.

— Да? — радостно переспросил Макаров и по взгляду Савинков понял, что Назаров шепнул о БО.

— Конечно, конечно вам, — глаза Макарова наполнились детским восторгом.

«Хорош для террора», — подумал Савинков.

— Что ж, товарищи, это ваше решение?

— Да, — проговорили трое.

Секунду молчали.

— А как убежишь? — тихо сказал Двойников. — Часовых тут! Как пройдет? Убьют.

— А повесят? — баском проговорил Назаров, — все одно, пулей то легче, беги только, — засмеялся он сплошными, желтоватыми зубами. — А убежишь, кланяйся товарищам.

В уборную раздалась шаги.

Они разошлись по отделениям.

— Довольно лясы точать! — прокричал красноносый, подкупленный жандарм. Савинков вышел из отделения, застегивая для виду штаны. И с нижегородцем пошел в камеру.

11.

Но вечер не хотел приходить. Время плыло томительно. Савинков лежал на койке из расчета. Копил силы. Выданный на неделю хлеб весь сжевал. Иногда казалось, сердце не выдержит — разорвется.

Как только зашло за морем солнце, в камере стемнело. В коридоре зажглись огни. Савинков слышал крики — «Разводящий! Разводящий!» — кричал видимо караульный офицер поручик Коротков. Потом кто то закричал — «Дневальный! Пост у денежного ящика!» — Потом шли ноги, ударялись приклады, звякали винтовки.

Когда приоткрывался глазок, Савинков видел кружок желтого света. Вечер уж наступил. Савинков был готов каждую секунду. Вот сейчас, вот эти шаги остановятся у двери. Вот сейчас войдет Сулятицкий, они пойдут коридором. Как? Савинков не представлял, не в халате наверное. Надо будет переодеваться. А может быть тот самый часовой, что спокойно зевает, проминаясь у наружной стены, разрядит в спину Савинкова обойму и он скувырнется на траве также, как Татаров на полу своего дома.

Ожидание томило. Савинков чувствовал, сердце бьется неровными ударами, словно вся левая сторона

груди наполнилась крылом дрожащей от холода птицы. Куранты проиграли медленно, отчетливо выводя каждый удар: — 11 ночи.

«Ерунда. Не удалось», — сказал Савинков через час, подымаясь с койки. В ожидании прошел еще час. В течение его куранты играли четыре раза: — четверть, полчаса, три четверти и наконец тяжело и гулко: — час!

«Кончено. В три светло. Остается полтора часа темноты. Обещал в одиннадцать. Если не придет полчаса, надо ложиться». Савинков встал с койки, подойдя к столу бессмысленно взял жестяную кружку, посмотрел на нее. Кружка казалась странной. В это время услышал: — сильные, твердые шаги остановились у двери. Ключ повернулся может быть чересчур даже звонко. И в камеру чересчур может громко вошел Сулятицкий. Савинков понял: — побег сорвался.

Стоя посредине камеры, Сулятицкий закуривал. Закурив сказал:

— Ну что ж, бежим?

— Как? Можно еще?

— Все готово. Вот сейчас докурю, — проговорил Сулятицкий. Он был спокоен. Только глаза сейчас были темны.

— Послушайте, вы рискуете жизнью, — сказал Савинков, подходя к нему.

— Совершенно верно. Об этом я хотел предупредить и вас. А посему возьмите, — протянул брлунинг.

— Что будем делать, если остановят?

— Солдаты? В солдат не стрелять.

— Значит назад, в камеру?

— Нет зачем же в камеру? Если офицер, стрелять и бежать. Если солдаты, стрелять нельзя. Застрелиться.

— Прекрасно.

— А теперь идемте, — вдруг сказал Сулятицкий, отбрасывая окурок, и Савинкову показалось, что он

совсем еще не приготовился. Но Сулятицкий уже вышел и Савинков пошел за ним в коридор.

Коридор горел тусклым керосиновым светом. Фигуры часовых у камер были сонны. Савинков увидал, что один дремлет, прислонясь к стене. Но рассматривать было некогда. Соображать было незачем. Он быстро шел за Сулятицким к умывальне.

Увидав разводящего, часовые вытягивались, оправляя пояса и подсумки.

— Спишь, ворона? — бросил Сулятицкий в умывальной. Вздрогнув, солдат не сообразил, что арестованного умываться водят не в два, а в пять и водит его жандарм.

— Мыться идет, болен, говорит, — бросил Сулятицкий другому. И тот ничего не ответил разводящему, что то шевельнув губами. Когда же дошли до железной двери, Сулятицкий ткнул в живот смурьего солдатенку и крикнул в самое ухо:

— Спать будешь потом, морда! Открой! — солдат быстро открыл железную дверь.

Савинков вошел в умывальную, стал умываться, размыливая квадратный кусок простого мыла. Справа, слева стояли солдаты. Он видел в отворенную дверь: — на деревянном, желтом диване храпит подкупленный дежурный жандарм, с упавшей на грудь головой и лампочка у него совершенно тухнет от копоти. Сулятицкий вышел в кордегардию осмотреть все ли спокойно. Вернувшись, выводя Савинкова, сунул в темноте коридора ножницы и указал быстро на кладовую.

В кладовой Савинков захватил отросшую бороду и усы. С быстротой молнии сбросил халат, натягивал пахнущие прелью штаны, сапоги, гимнастерку. Пряжка ремня не застегивалась полгода. Но прошло всего четыре секунды.

Савинков вышел. Быстрее чем до этого пошли прямо в кордегардию. Часть сменившихся спала на полу. Воздух был зловонен. Часть солдат возле лампочки слушала чтение. По складам читал двадцати-

двухлетний нижегородец: — «Го-су-дар-ствен-на-я дума в по-след-нем за-се-да-ни-и».

Кое кто посмотрел. Отвернулись, увидав разводящего. Они прошли кордегардией и вышли в сени. Из сеней Савинков увидал: в караульном помещении сидел к ним спиной поручик Коротков, в полном снаряжении, с ремнями через плечи, шашкой, кобурой револьвера сбоку. Но наружная дверь была в двух шагах. Савинков почувствовал, как необычайно пахнет предрассветный воздух. Закружилась голова, он покачнулся, задев локтем Сулятицкого. Но они молча, очень быстро шли. Часовой у фронта двинулся им наперерез. Увидав погоны литовского полка, остановился, повернул назад и было слышно, как он сладко и громко зевнул в ночи.

Они шли длинным, узким, каменным переулком. Еще нельзя было бежать, могли заметить часовые, но они уж почти бежали. В темноте уж видели сереющего своего часового, поставленного Зильбербергом — матроса Босенко. У Босенко от холода ночи и ожидания дрожали челюсти и били зубы.

— Скорей переодевайтесь, берите, — бормотал он, подставляя корзину с платьем. Но Сулятицкий проговорил: — Нет, нет, надо бежать, может быть уже погоня. — И втроем, повернув за угол, бросились бежать по направлению к городу. Они вбежали в начинающийся в рассвете севастопольский базар. Торговки уставляли корзины с зеленью, фруктами. Шлялись матросы в белых штанах и рубахах. На бежавших никто не обратил внимания. Миновав базар, они бросились по темному, но уж сереющему переулку.

Звягин и Зильберберг слышали, как Нюшка что то бормочет на печи. У обоих были в руках револьверы. То тот, то другой выходили к калитке. Наконец первый Звягин услышал топот ног и, вглядываясь в сереющую темноту, разглядел быстро увеличивающиеся три темные фигуры. Он вбежал в квартиру.

— Николай Иваныч, здесь!

Зильберберг вскочил, бросился к выходу, сжимая револьвер. Но в двери уж один за другим вбегали: — Савинков, Сулятицкий, Босенко.

Зильберберг схватил Савинкова. И как были оба с револьверами, они надолго, крепко обнялись.

— Скорей переодевайтесь, Босенко вас проведет к себе, тут опасно.

— Да што опасно, пусть тут, Николай Иванович.

— Нет, нет, Петр Карпыч, ты брось, дело надо делать по правильному.

Савинков в торопливости не попадал ногой в штанину поношенной штатской тройки, какие носили севастопольские рабочие.

12.

В береговом домике пограничной стражи блестел желтый огонек, закрываемый в ветре кустами. Мимо стражи до шлюпки по воде добрались беглецы. И вот уж крепкими мозолями травил и снова выбирал шкот Босенко. Командир бота, отставной лейтенант флота Никитенко, приложив ладони к глазам, всматривался в темную даль, где тиграми прыгали волны взбунтовавшегося моря.

Ночь была темна, ни зги. Ветер рвал черный, отчаянный. Сквозь круглые, тупые холмы, обрывающиеся к морю рыхлыми скатами, бот по Каче уходил в открытое море.

— Отдай шкоты! — басом кричал Никитенко. Парус полоскался в темноте ветра, как черный флаг. На шкотах сидел, похожий на широкую кошку, Босенко. Шкот второго паруса на баке держал студент Шишмарев. Савинков, Зильберберг, Сулятицкий сидели на банках. Море было бурно, бешено. В темноте далекого горизонта мелькали огни.

— Эскадра, — проговорил Никитенко.

— Для стрельбы, — ответил Босенко.

Но ветер уж налетел, как двести добрых быков уперся в парус, нес раскачивая шлюпку с Савинковым,

Зильбербергом, Сулятицким дальше и дальше в открытое море.

— Куда держим курс?

— На Констанцу.

— А дойдем?

— За это не ручаюсь, — сказал Никитенко.

Волны подбрасывали шляпку, ударяли с обеих сторон по дну, словно кто-то мокрыми ладонями бил по громаднейшей лысине. И снова — такой же шлепок, плеск, качанье. И так в темноте — всю ночь.

А когда пришел морской, серый рассвет, внезапно, огненным шаром выкатилось солнце, покотившись по Черному морю, тогда, обернувшись на север, Савинков увидел только едва видневшиеся очертания Яйлы.

Через несколько часов исчезли и они. Шляпку охватило открытое море. Но ветер свежел. Волны бешеной бились. Некоторые перелетали, обдавая беглецов солью брызг и пены. Лейтенант Никитенко становился беспокойнее.

— Босенко, — говорил он, — видишь дымок? иль мне так кажется? — Обо всем Никитенко говорил только с матросом. Штатские были на море у него в гостях.

— Дымок, — проговорил Босенко, вглядываясь на север.

Никитенко приложил бинокль.

— Миноносец, — проговорил он. — Погоня.

Шесть человек повернулись на север с чувством наступающей опасности. Но в бинокль было видно, как уже близившийся миноносец, положив лево руля, прочертил вдруг быструю дугу и стал уходить влево.

И снова в порыве ветра, когда налетал он шквалом, вместе с кучей черных пенистых волн, кричал отставной лейтенант:

— Отдай шкоты!

Босенко травил шкот. В ветре полоскался белым флагом парус. Пока его снова не ставил матрос, похожий на широкую кошку. Пассажиры изредка пере-

говаривались. Сулятицкий резал толстыми ломтями сало.

Во вторую ночь, когда усталый Зильберберг, приклонившись к Савинкову, спал, Никитенко пробормотал:

— Как хотите, до Констанцы не дойти.

— Куда же? — спросил Сулятицкий, у которого стучали зубы от промокшести и холода ночи.

— Надо по ветру на Сулин.

— До Констанцы, как плюнуть, рыб накормим, — с шкотов сказал Босенко.

— А из Сулина куда денемся? — говорил Савинков. — Пароходы по Дунаю не знай когда идут. Накроют в Сулине, выдадут.

Шлюпку рвало, метало в стороны. Волны неслись круглыми, пенистыми львами, прыгавшими в игре друг на друга.

— На Констанцу не поведу — верная гибель, — проговорил Никитенко. — Начинается шторм и прошу не спорить. Глупо после побега утонуть на море. Из Сулина проберетесь, я ручаюсь.

И повернувшись на волнах, шлюпка запрыгала меж волн по ветру. К вечеру третьего дня показались огни маяков. Осторожно меж мелей плыла шлюпка. Чем ближе чернел берег, быстрее скользила она по ветру. Уже смякли, упали паруса. Босенко с Шишмаревым в темноте подняли весла. Все молчали. Прошуршав по песку, шлюпка привскочила и встала. На чужой, пологий берег выпрыгнули три темных фигуры. Шлюпка, скользнув, скрылась в темноте.

13.

В средневековой готике Гейдельберга, где узки улочки, стары дома, цветноголовые студенты, седовласы профессора в черных крылатках, в древнем романтическом осколке Германии, умирал русский революционер Михаил Гоц. Этого не знали ни студенты, ни

профессора, ни квартирные хозяйки старого Гейдельберга. Гоц умирал ужасно: от избития в тюрьме.

В раннем нежгущем солнце старый Гейдельберг был великолепен. Гоц уж не мог сидеть в кресле. Давно лежал, похожий на высохший труп. Светились глаза. Но и они слабели.

— Дорогой мой, дорогой, как я, — старался подняться Гоц, но Савинков склонился к нему.

— Если б вы знали, как мучился...

«Умирает», — думал Савинков.

— ... негодовал, ведь вы поехали, не имея права. Было постановление временно прекратить террор, вы знали?

— Я все равно бы поехал. Боевая была в параличе.

— Была, — улыбнулся синими губами Гоц, — теперь она в полном параличе. Ничто не удастся. Иван Николаевич выбился из сил. Ни одно дело. Все проваливается. Максималисты на Аптекарском, взрыв — читали? Бессмысленно, ужасно. Такие отважные смелые люди. Но вы знаете прокламацию нашего центрального комитета, осуждающую акт? Не читали? — Гоц заволновался, замолчал, закрыв глаза. — Очевидно меня уж считают погребенным, — тихо сказал он. — Я ничего не знал о прокламации. В ней резко, не по товарищески отмежевываемся от максималистов, после их геройского акта, после жертв, смертей.

— Но кто же писал?

— К сожалению, Иван Николаевич.

— Азэф???

— Не понимаю, он наверное устал, неудачи измучили. Иначе не объясню, позор. — Гоц сморщился от боли и застонал.

Савинков думал о том, что в чужом городе, где летними толпами ходит молодежь, распевая песни о Рейне, о Лорелее, в чужой, размеренно текущей, как песок солнечных часов, жизни, умирает брошенный, забытый товарищ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

1.

Все смешалось вокруг Азефа. Никто не знал, что глава боевой не спит ночами. В темноте лежа толстым телом на широкой кровати, Азеф бледнел. Кто б думал, что каменный человек труслив и способен предаться отчаянью. Азеф боролся с боязнью. Но умная голова, как не раскладывала карты, как не разыгрывала ровер, — выходил неизбежный страх разоблачения.

Азеф боялся не разоблачения, — смерти. Чтоб не повесили по гапоновски, не убили по татаровски. Ночью представляя, что, во главе с неожиданно освобожденным Савинковым, его тащат товарищи, Азеф зажмуривал глаза, тяжело вздыхая гормадным животом, под тяжестью которого лежал в постели.

«Все складывается подло», — бормотал он. — «Мортимер, максималист Рысс, став фиктивным провокатором, передал в партию обо мне. Об этом же пришли в партию два письма, вероятно, от обойденных Герасимовым чиновников. Как бы то ни было, недоверие начнет вселяться». Азеф клял Герасимова, что думая о своей карьере, схватил мертвой хваткой его и не дает передышки. Страхи приводили к припадкам, с хрипами и мучительной икотой.

2.

— Ээээ, полноте, Евгений Филиппович, я думал вы, батенька, смелее. Да, что там поднимается? Факты, фактики нужны! А фактиков нет! Да, если б и поднялось, вас Чернов с Савинковым всегда защитят. Прошое за все ручается. Дело то Плеве да Сергея Александровича не фунт изюму для партии!

Азеф морщился желтым, жирным лицом.

— Я не при чем в этих делах, бросьте, Александр Васильевич, шутки.

Герасимов только похлопывает по толстому колену, похахатывает. Подпрыгивает на щеке кругленькая пипка.

— Преувеличиваете все, дорогой. Слышите, как новый кенар поет, а? Это к добру, батенька, к добру. Изу-ми-тель-ней-ши-й кенар!

Азефу противна птичья комната генерала. Не за тем он пришел. Отчего только весел генерал Герасимов?

— Я, Евгений Филиппович, думаю вот что, с террором, батенька, надо под-корень ударить. Отдельные выдачи ничего не дают. Ну, что отдали Северный летучий отряд, ну повешу лишних десять негодяев, не в этом музыка. Распустить надо, официально распустить, понимаете? Устали, скажем, не можете, уехали за границу, сами говорили, без вас дело не пойдет. Деньги дадутся, будьте покойны, ну вот бы...

Азеф лениво полулежал в кресле, он казался больным, до того был обмякш, жирен и желт.

— Я к вам по делу пришел, — проговорил он, раздувая дыханьем щеки, — можно сделать большое дело, только говорю, это должно быть оплачено. После него я действительно решил ехать за границу. Мне нужен отдых.

— Я же вам сам говорю.

Азеф молчал. Затем поднял оплывшие глаза на Герасимова и медленно проговорил:

— Ведется подготовка центрального акта. Отставной лейтенант флота Никитенко, студент Синявский. Для совершения Никитенко вступил в переговоры с казаком, конвойцем Ратимовым.

— Ра-ти-мо-вым? — переспросил генерал.

— Возьмите конвойца в теплые руки, все дело захвачено. Сможете вести, как хотите, через конвойца свяжетесь с организацией. На таких делах жизнь строят, — лениво рокотал Азеф. — Около него вьются Спиридович и Комиссаров, но они ни черта не знают. Берите завтра же Ратимова, дело ваше.

Силен, хитер, крепок, — какой корпус! — у генерала Герасимова. Проживет сто лет. Бог знает, чему слегка улыбается он. Может скоро сядет на вороных рысаков, мчась туманным Петербургом. Ведь это же личный доклад царю, спасение царской жизни!?

— Кто ведет дело, Евгений Филиппович? — проговорил генерал, серостальные глаза схватили выпуклые, ленивые глаза Азефа.

— Я сказал же, Никитенко, отставной лейтенант. Да, вам никого не надо, берите Ратимова.

Глаза не сошли с глаз Азефа. Генерал соображал, с каким поездом завтра выедет в Царское, как удобней возьмет дворцового коменданта генерала Дедюлина, чтоб не выдать игры.

— Вы говорите, Спиридович и Комиссаров вьются? Но знать о деле не могут?

— Нет.

О, у генерала Герасимова много сил, крепки нервы!

— Когда же вы за границу? Вы с женой? То есть простите, если не ошибаюсь ваша жена партийная? А это страсть. Ну оцениваю, оцениваю, роскошная женщина. Колоссальное впечатление! Если не ошибаюсь, ведь «ля белла Хеди де Херо» из «Шато де Флер»? Знаю, знаю, как же страсть вашу великий князь Кирилл Владимирович разделил, — ха-ха-ха!

— Не знаю, — нехотя бормотнул Азеф. У него ныли почки.

3

— Борис! Борис! — вскрикнул он, все увидели, как Азеф зарыдал, обнимая Савинкова. Три раза близко мелькало желтое, толстое лицо, когда целовали, после разлуки, увлажненные, пухлые губы.

— Позволь познакомить, Иван — Сулятицкий, Владимир Митрофанович, мой спаситель от виселицы.

— Счастлив, счастлив. — Глаза каменного человека засветились лучисто, мягко, лицо приняло ласко-

вое, почти женское выражение. — Этого мы вам не забудем, спасение Бориса для нас...

— Я уж придумал ему кличку, Иван, по росту, — смеялся Савинков, — он у нас будет называться «Малютка».

Но каменное лицо мрачнее и глаза ушли под брови.

— Разве вы хотите работать в терроре?

— Да.

— Гм....

Савинков знает пронзительный взгляд и недоверчивое просверливание.

— А почему именно в терроре? Почему не просто в партии, нам нужны люди...

— Я хочу работать в терроре.

— Ну, это мы поговорим еще, правда? — улыбается мягко Иван Николаевич и говорит уж о постороннем. Только изредка вскользь видит на себе пронизывающие глаза Сулятицкий.

— Ха-ха-ха! А ты все такой же! Ничуть не изменился! Тебе крепость на пользу пошла, ей богу ха-ха-ха-ха! — и груда желтого мяса, затянутая в модный костюм, трясется от высокого смеха.

4

Кабинет ресторана «Контан» мягко освещен оранжевыми канделябрами. Из-за стены несется прекрасный вой гитар, скрипок. Когда смолкают, запекает мужской, перепитый, полный чувства голос.

— Ну рассказывай, — говорил Азеф, наливая бокалы.

Савинков, меж едой и вином, с блеском, даже юмором рассказывал о крепости, побеге, о бегстве морем в шлюпке с Никитенко. Азеф нетерпеливо перебивал.

— Молодец Зильберберг! молодец! Я ведь не надеялся, даже знаешь возражал, ужасно, ужасно...

Азеф был нежен. Таким Савинков знал его. Но когда настала очередь Азефа рассказывать, обмяк,

вобрал без того бесшейную голову в плечи, нахмурился.

— Я говорил, без тебя мне совсем трудно. ЦК критикует бездействие. А попробовали бы сами. Чем я виноват, что наружное наблюдение ничего не дает, что Столыпин охраняется так, что его даже увидеть не могут. Почти все товарищи говорят о слежке за ними, нет, Борис, уж таких товарищей, как Каляев и Егор, все мелочь, я уверен, многие врут, что замечают слежку, уж что то очень сразу все стали замечать. Я не верю. Я так устал из-за этого. Как ты думаешь, что бы сделать для поднятия престижа БО, а?

Азеф смотрел на Савинкова прямо, как редко на кого смотрел. Он хорошо знал Савинкова.

За стеной шел рокот, стон инструментов, гортанные выкрики. Кто то отплясывал, слышались тактовые удары быстрых ног.

«Цыганскую пляшут», — думал Савинков.

— Что предпринять? — проговорил он, играя наполненным бокалом. — Вот, например, Сулятицкий предлагает цареубийство. Он поступит по подложным документам в Павловское военное училище. На производство всегда приезжает царь, он убьет его.

— Это неплохо, но не выпускают же юнкеров каждую неделю? Надо ждать, чорт знает, сколько времени. Это не поднимает боевую сейчас. А ЦК требует. Они ставят ребром: — или финансируют или боевая должна перестроиться.

Снова взвизгнули томным визгом скрипки, гитары. Кто-то чересчур рвал гитарные струны, выкрикивал. Ах, застенные скрипки, русских отдельных кабинетов! Как любил их Борис Савинков! За одну ночь с цыганками, румынскими скрипачами отдавал много души и денег. И теперь волновал кабак.

— Грозят прекратить финансирование?

— Ну да. Они правы. Если организация не работает, то за что же платить?

— Милый мой, мы не подряды берем.

— Ну да, — недовольно пробормотал Азеф, — ты лучше посоветуй, что делать.

— Сразу трудно что-нибудь придумать. Постой, Иван, дай осмотреться, вот например Мин или Лауниц?

Азеф махнул рукой, надувая губы.

— Можно поставить, но ведь ерунда, нужен перво-степенный акт, чтоб заговорила Европа, всколыхнулось все, вот что нужно, тогда будут деньги.

Савинков налил шампанского в узкогорлые бокалы с золотым обводом. Ел жареный миндаль, грыз, хрупая, прислушивался к далекой музыке.

— Тут с тобой ничего не выдумаем, надо осмотреться.

Азеф вскинул темные, выпуклые глаза. Сидел, грузно облокотившись на стол.

— Знаешь, Боря, я так устал да и ты, думаю, поставим дело перед ЦК: — мы вести больше не можем, нам нужен отдых и выедем за границу.

— Совсем отказаться?

— Зачем совсем? Отдохнуть. Ведь это же невозможно, ты пойми все в боевой и в боевой, не мясник же я, у меня тоже есть нервы.

— Но тогда, кто-нибудь другой возьмет.

— Кто? Чернов, что-ли? — захохотал трескающимся смехом.

— Слетов может взять.

— Брось. За Слетовым пойдут товарищи? — лицо Азефа выражало презрение. — Я тебе говорю, кроме как за мной и за тобой боевики ни за кем не пойдут, ну пусть на время приостановится террор, ты видишь, все равно ничего не выходит, одни провалы. Надо поискать новых средств, вот у меня в Мюнхене есть знакомый инженер, он строит какой-то не то воздушный шар, не то еще что то, я думаю это может нам пригодиться, я уж вступил с ним в переговоры.

Снова выкрикивал мужской голос, заныли по цыгански гитары.

— Собственно говоря, ты прав, отдохнуть надо, мы не железные, пусть попробует кто-нибудь другой. К тому ж наши способы действительно устарели, вон, максималисты перешли к новым способам и к ним уходят от нас свежие силы. Наш террор устал.

Азеф молчал. Разговор должен был кончаться. Он знал, в заседании ЦК Савинков выступит с заявлением о сложении полномочий. Он нажал кнопку звонка, изображавшего декадентскую женщину. Вошел мягконогий лакей.

— Ту же марку, — проговорил Азеф.

— Ты что мало пьешь? Я почти один выпил?

— Я могу пить каждый день, — рассмеялся Азеф, — а тебя в Крыму шампанским поди не поили.

Двери кабинета открылись. На пороге появились смуглый цыган, наглого вида, в бархатном костюме, с гитарой в разноцветных, шелковых лентах и цыганка в пестром, таборном костюме. Идя к Азефу и Савинкову она певуче проговорила:

— Разрешат богатые господа?

Азеф только ухмыльнулся липкой мясистой губ. И пестрым гомоном, визгом, криком наполнился кабинет. Испитой старичек с хризантемистой головой стучал маленькими, желтыми руками по пианино. Цыганка спросила имена. Под два удара сверкнув глазами, повела:

«Ах, все ли вы в добром здравии».

В оранжевом свете многих канделябр, как на елку в Рождество, грянули цыгане старое величанье обращаясь к Савинкову.

«. вина полились рекой.

К нам приехал, наш родимый, Пал Иваныч дорогой!»

— Ииэх! Ииах! Ииэх! — трепет, дребезг ног по отдельному кабинету заглушил смех Савинкова. Онпил поднесенный цыганкой бокал. Ныли цыганки, гитары, настоящими полевыми песнями. До рассветного, петербургского мглистого утра ходил коротенький, ожиревший в отдельных кабинетах цыган легкой

пляской, в такт дрожавшей костлявой цыганке-подростку звенели бубенчики гитар, трепыхались разноцветные ленты.

— Здорово, Борис, а! жизни!! — говорил хмелевший Азеф.

— Да, хоть коротка, Иван, да жизнь!!

Выходя в синеве рассвета из ресторана, Савинков с удовольствием глотнул сырой воздух. Швейцар смотрел пристально. Когда за ним пошел грузный Азеф, чуть заметная улыбка скользнула по лицу перодетого швейцаром филера.

5.

На лихаче в мокрой серости, обняв за талию Савинкова, ибо вдвоем было всегда узко на пролетке, они мчались на Стремянную к Хеди де Херо пить утренний кофе. Так летели рассветным туманным Петербургом, когда люди спали, зевали ночные сторожа и только отдельные, редкие фигуры, сжавшись от холода утренника появлялись в подъездах.

— Ты знаешь, про меня распускаются всякие гнусности, — говорил за кофе Азеф, — были какие то полицейские письма, мне противно становится работать среди всей этой сволочи. — Глаза Азефа ушли под брови, обнажились желтоватые белки, на лбу тяжело и сине надулась жила. Азеф делал гнев.

— Какая чепуха! — не вслушиваясь, сказал Савинков.

— А мне это надоело! Гоц с милым видом сообщал мне, что получил письмо, что я провокатор. Чернов хохочет, видите ли, оттого, что Татаров про меня веселенькую историю сочинил, теперь опять какие-то подметные письма, все это стоит нервов. Им смешки, потому что не про них пишут. Я хотел бы, чтоб это было про Чернова. Воображаю, какую бы он бучу поднял, а меня просят успокоиться.

Серый, просторный костюм сидел на Савинкове нарядно. Савинков был бел от выпитого. На закинутой ноге виднелись серебристые, с тонким рисунком в тон костюму, носки и такого же серебристого тона был галстук.

— Брось, Иван, охота тебе, это действительно такие пустяки! — проговорил он.

6

Если б знать, откуда заносится удар? Тогда просто отвести и отомстить ответным ударом. Но сколько на свете невозможнейших гибелей!

Ну, кто б предположил, что в тот хилый петербургский день, когда Азеф на конспиративной квартире генерала Герасимова получал 10 тысяч за план карьеры, именно в этот день в редакцию журнала «Былое» к маленькому, узенькому с седенькой головой редактору Бурцеву вошел курчавоголовый брюнет в значительно более темных, чем у Бурцева, очках.

— Простите, чем могу служить?

Вошедшему было лет 28. Одет, как элегантный петербуржец. Среднего роста. Ничего необыкновенного. Но какое то движение воздуха, флюида какая-то изошла, — отчего приоткрыл рот, выставив два передних зуба, Бурцев.

— Я по личному делу, я вас очень хорошо знаю, Владимир Львович, — произнесли черные очки, при этом полезли в бумажник, вынув фотографию.

— Вот это вы, Владимир Львович, снимок я взяла в департаменте полиции.

— В де-пар-та-мен-те? — проговорил, шире выставляя большие, прокуренные зубы, Бурцев.

— Я чиновник особых поручений при охранном отделении. Но по убеждению я эс-эр.

Голова Бурцева наполнилась роем. Никакой уж флюиды уловить не мог.

— Позвольте, зачем вы пришли?

— Я был революционер. Случайно попал в охранное. Теперь пришел снова быть полезным революционному движению. Вы занимаетесь вопросами гигиенического характера, выяснением провокации? Вопрос этот трудный, я его понимаю гораздо лучше, чем вы и хочу быть вам полезен.

Четыре глаза перекрестились.

— Тут есть невязка, — сказал Бурцев. — Вы становитесь революционером, оставаясь на службе в охранном или уходите оттуда, становясь революционером?

— Я именно остаюсь в охранном.

Бурцев сидел распаленный тысячью возможностей, если гость честен, тысячью скверных мыслей, если гость провокатор. Он решил попробовать.

— Ваше имя отчество?

— Михаил Ефимович.

— Прекрасно, Михаил Ефимович, — произнес Бурцев, смотря в сторону, — так что же, может быть, начнем немедленно?

— Извольте-с.

Бурцев подвинулся пискнувшим стулом к столу.

— Меня интересует, — проговорил, снимая очки и протирая глаза малокровными, старческими пальцами Бурцев, — вопрос провокации у эс-эров. Она существует.

Собеседник кивнул курчавой головой.

— Вы разрешите закурить?

Бурцев чиркнул спичку.

— Покорнейше благодарю.

— Но где она, вот как вы думаете? Желая оказать революционному движению услугу, начнем именно с этого. Как чиновник охранного вы, конечно, знаете, что боевая организация в параличе.

— Знаю, да. Но тут, — дымчатые очки задумались.

«Провокатор», — думал Бурцев, — «пришел поймать, завлечь, предать».

— Видите ли, провокация там есть, как везде, но боюсь, позвольте, позвольте, агентуру ведет лично генерал...

— Не скажете ли какой?

— Скажу, конечно: — Герасимов. Позвольте, вспоминаю псевдоним агентуры, кличку, по моему она — «Раскин». Да, да — «Раскин».

В дверь раздался стук. В светлом, веселеньком пальто, в панаме, на тулье с светло-красной лентой, стоял В. М. Чернов.

— Одну минуту, Виктор Михайлович, недовольно проговорил Бурцев. — Я занят, подождите, пожалуйста, в соседней комнате.

Обернувшись к собеседнику, тихо сказал:

— На сегодня давайте кончим. Дайте адрес.

— Главный почтамт. Михайловскому.

— Прекрасно.

Бурцев проводил чиновника особых поручений Бакая до выхода.

Чернов бесцеремонно крепким телом входил из другой двери, прищурился косою глазом, кричал:

— Владимир Львович, в вашей высокополезной работе по разоблачению провокаторов, вы не щадите чистых имен! Руководствуйтесь скверной пословицей! в «Утре России» недвусмысленно намекаете, что и у нас провокатор!?

7

У Владимира Львовича Бурцева вся жизнь с некоторых пор презратилась в нюх. Поэтому он ходил нервно, словно что-то ища носом. После завтрака, идя Английской набережной среди оживленных маем людей, Бурцев был необычайно взволнован. «Раскин», — повторял он, — Центральная провокатура. Раскин. Натансон? Савинков? Брешковская? Ракитников? Чернов? Как он внезапно появился в редакции? Раскин. Кто же?

На углу в беспорядке скопились экипажи. На лаке крыльев пролеток горело весеннее солнце. Людям было весело. Рослый городской, маша рукой, казалось, весело ругал ломового, запрудившего движение. Бурцев стоял, запахивая пальто.

«Кто это кланяется?», — подумал, глядя на подъехавшую к скоплению пролетку. Господин в темном пальто, цилиндре. Дама в пролетке выше его плечами, очевидно несколько коротконога. Шляпа в белых страусах, голубоватый костюм. Господин приподнял блестящий цилиндр.

«Азеф». Бурцев обмер. Не ответив, только кивнув, двинулся, ибо скопление прорвалось. Поток карет, колясок, пролеток разносился с набережной. Бурцев видел голубоватый костюм, обвившую его черную руку, черную спину, черный цилиндр.

«Среди бела дня? Глава боевой? По Петербургу? Раскланивается с бегающим от шпиков редактором революционного журнала? Раскин? Азеф? Азеф? Раскин?» — Волнение перешло все границы. Бурцев бежал набережной, бормоча, — «боже мой, боже, глава террора, агент полиции, какой ужас, какой ужас, но... каккая сенсацияя!!!...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

1.

По сложении полномочий руководителей БО, Азеф и Савинков выехали во Францию. Савинков с Ниной и детьми снял квартиру на рю ля Фонтен. Это была первая проба жизни семьи. И Савинков чувствовал много нового, никогда ранее не входившего в жизнь. Вместе с Ниной выбирал мебель, говорил о распределении дня детей, во-время обедал и ложился. После долгого горя, Нина чувствовала, что пришло счастье.

Может быть первый раз в жизни захотелось ей покупать пестрые материи, носить красивые платья. Нравиться окружающим и прежде всего нравиться ему, Борису. Это было потому, что началось счастье. Оно было. Иначе б бледная Нина, с глазами похожими на испуганно-улетающих птиц, не была б так оживлена.

И Савинкову хотелось поддержать счастье. Но чем тише шла жизнь, тем томительней становилось. Рю ля Фонтен одна из спокойных улиц Парижа. Но живя спокойно, Савинков ощущал все большее беспокойство. Росла скука. И неизвестно, что б из этого вышло, если б не родилось желание изложить эту скуку литературно, в форме романа.

Правда, он думал, что тема убийства уж использована Достоевским, но разница была в том, что Достоевский никогда не убивал, а Савинков убивал и Савинкову казалось, что Достоевский не знал многого, что так хорошо знал Савинков. Он знал настоящую тоску, рождающуюся у убивающего людей человека.

На тему этой тоски, на тему плеватальной скуки хотел написать роман. Но и это была не вся тема. Савинков хотел обстрить, героя романа противопоставить, — всему миру. Герой, по замыслу, должен плюнуть в лицо человечеству.

В размеренной жизни на рю ля Фонтен тема захватила с такой остротой, что Савинков чувствовал в себе неперестававший трепет, как бы озноб. Вечерами, гуляя в потемневших Елисейских полях, был уверен, что со славой террориста придет и сплетется и слава художника.

Вести роман он решил от лица героя, сделав его революционером, начавшим убивать и узнавшим, что в сущности, убивать интересный спорт. И вот герой, став усталым спортсменом убийства, плюнет в лицо человечеству.

Савинков не задумывался, почему в мыслях о работе помогали Тютчев и Апокалипсис. Ходил бесконечными кольцами Парижа, переполненный музыкой те-

мы, повторяя лишь: «О чем ты воешь ветр ночной, о чем так сетуешь безумно?!»

Перед письмом, зачитывался Апокалипсисом, находя и здесь музыку подкрепляющую тему. Особенно волновала глава 6-я.

«И вышел конь рыжий и сидящему на нем дано взять мир с земли и чтобы убивали друг друга... Я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник имеющий меру в руке своей... Я взглянул и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним...»

Вспоминая ощущения убийств Савинков решил назвать роман «Конь бледный» или «Конь блед», а герою дать нарочито пошлое имя «Жорж».

2.

Сколько счастья, боже мой, сколько счастья было в хрупких руках Нины! По вечерам даже не верилось. Полно, неужели она живет вместе с ним, Борисом, с детьми? Это казалось мечтой. Только еще немного любви, немного ласки, участия к Нине и разрешения войти во внутренний, прекрасный духовный мир.

Войдя тихо в кабинет, Нина подошла сзади, обняла лысеющую голову Бориса и сказала:

— О чем ты пишешь?

Савинков отбросил перо, улыбнулся монгольскими углями, проговорил, потягиваясь:

— Ты не поймешь.

— Если ты не скажешь, не пойму. Скажи.

— Хорошо. — Савинков улыбается дурно. — Я пишу, Нина, о человеке, убивающем людей из чувства спорта и скуки, о человеке, которому очень тоскливо, у которого нет ничего, ни привязанности, ни любви, для которого жизнь глупый, а может быть гениальный, но ползущий в пустоту глетчер. Ты понимаешь?

«Зачем он так смеется. Ведь это жестоко».

— Я понимаю. Но ты прав, эта работа мне чужда. Я больше люблю твои стихи.

— Но в стихах я пишу о том же? О том, что человек потерял обоняние и запах гнилых яблок принимает за л'ориган? Не различает запахов, — нехорошо смеется Савинков.

«Это он смеется над ней, над Ниной. Он знает ее. Знает, что она сейчас скажет, что думает».

— Что ж твой роман будет автобиографичен?

— Пожалуй. Это тонкое замечание.

— Очень грустно. И в нем не будет ни к кому любви?

— В конечном счете — нет. Хочшь, я прочту тебе единственное место о настоящей любви моего героя? Слушай: — «Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл, багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и как пурпур застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду между пальм и апельсиновых рош. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил».

«Почему он не чувствует, что это больно? Зачем говорил, что любит? Зачем всегда хочет делать боль, убивать этими ужасными мелочами. Он читает только, чтобы доставить неприятность».

Держа исписанный лист, смотря на Нину, Савинков видел, что она не выдерживает игры.

— Иногда мне кажется, что я напрасно с детьми приехала к тебе, — говорит Нина.

И тихо вышла из кабинета.

— А разве мы не вместе? — вечером говорил Савинков, сидя с Ниной.

— Мы под одной крышей. Если это вместе, то мы вместе. Ведь казалось бы пустое: — расскажи, о чем ты думаешь, что пишешь, ведь ты же ходишь вечерами один и думаешь над работой? Разве многого я хочу, после стольких лет горя? Я хочу части твоей души, твоего внутреннего мира,пусти меня, мне нужно человеческое участие. Ты замыкаешься в себе. Разве такова любовь? Если ты называешь любовью нашу жизнь, то мне такая любовь без слов, без внутреннего чувства ужасна.

Савинкова сердил тон Нины. Не хотелось слушать, но не хотелось и уходить.

— Вот вчера, — говорила Нина, — ты после работы лежал на диване и спал, я вошла и мне показалось, что даже твои закрытые глаза обращены внутрь, в самого себя, что в них может быть мука, но скрытая от меня, мне показалось, что ты совсем чужой и я испытала буквально физическую боль, я чуть не вскрикнула.

— Какая ерунда, — пробормотал Савинков, — и какая тяжесть. Так нельзя жить. Ты хочешь того, что я не могу тебе дать и что ты может быть даже сама не возьмешь.

Савинков, говоря, глядел на Нину, думал — «как она постарела». Савинков боялся слез.

— Зачем же тогда ты вывез меня? — проговорила Нина. — Неужели затем, чтобы я здесь в Париже испытала еще раз свое одиночество? И убедилась, что ты не только меня не любишь, как я хочу, но что я тебе совсем чужая? Ведь ты же мучишь меня, ты убиваешь.

— Чем я убиваю, скажи, ради бога? — раздраженно вставая, проговорил Савинков.

— Муж и жена, Борис, могут быть счастливы, когда меж ними нет недоговоренного. А между мной

и тобой — глухая стена. И ты убиваешь тем, что не хочешь вскрыть ее, словно тебе это будет мешать. А мне... — голос Нины дрогнул, она собралась с силами, выговорив. — Зачем же тогда говорить о любви? Ее нет. А может быть никогда и не было. Я знала, что ты живешь необычной, тяжелой жизнью, я мирилась. Я ждала. Но чего же я дождалась? Вот я пришла к тебе, как девочка, опять думала, наконец, будет счастье. Оказалось мы друг другу стали чужды. У тебя для меня нет даже слов. При любви такого одиночества, Борис, не испытывают. Ведь я совсем одна...

Савинков сидел молча. Ему было даже скучно. Он знал, что в романе будет подобная глава несчастной любви. Он только удивлялся, что Нина тонко и верно говорит. Не подозревал.

— А то, что ты считаешь любовью, это для меня ужас, Борис. Ведь я знаю, что за порогом моей комнаты всякая связь со мной прекращается. Ты ушел и я вычеркиваюсь из сознания. Я тебе больше не нужна. Это позорно, это ужасно, Борис. Меж нами нет и не было того духовного зараженья, которое у любящего мужчины превращается в благодарное и любовное отношение к женщине. У тебя это исключено. Ты — один. Ты хочешь быть один. Твоя любовь — сухая обязанность. Но ведь есть женщины интереснее меня, которым ничего другого и не требуется?

Савинков сидел, не меняя позы. Сейчас он взглянул на Нину, внезапное злобное чувство, как к страшной тяжести, охватило его.

— Вот этого, самого важного женщине, как я теперь лишь поняла, у нас с тобой, Борис, нет и никогда не было. Ты не будешь возражать. Именно поэтому я была несчастна, а не потому, что много приходилось страдать. Ведь когда ты обращаешься ко мне, делишься мыслями, я знаю, что это ничем не отличается от разговора с твоими товарищами. Моя мысль ничего тебе не прибавит, ничего не отнимет. Ты не видишь, не хочешь замечать моей жизни. Даже в мелочах, когда мы идем с тобой улицей, здесь, в Париже, ты ни-

когда не возьмешь меня под руку. Ведь я бы не выдернула руки. Может быть, я была бы даже счастлива. В отсутствии этого жеста я чувствую, как ни в чем твою отчужденность. Ты хочешь итти один, быть один. Так зачем же тебе я?

— Может быть многое, что ты говоришь, верно, — проговорил Савинков холодно. — Но если ты хочешь меня в чем-то обвинять, то вины я не чувствую. Я не могу очевидно тебе дать того, что тебе надо. Тебе нужно, собственно, мешанское счастье покойного жителя-бытца Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной!

— Неправда! — вскрикнула Нина, не сдерживая слез. — Я хочу искренности! А ты ее не даешь... — и убитая, Нина зарыдала.

Савинков вышел из кабинета. Накинул пальто, надел котелок и, легко ступая, спускался по лестнице. Он ехал на скачки в Лонгшамп и не любил опаздывать.

4.

Нина сидела в угловой комнате. Был сумрак. В окно виднелся красный край падавшего за церковь солнца. Очевидно к вечерне в церковь шли люди. Нина смотрела на них и думала: — счастливы ли они, ну вот та дама, что идет под руку с мужчиной в кеппи? Он ее крепко держит, что-то говорит. Нина старалась скрыть, как завидует встречным на улице, по виду счастливым людям.

Ей казалось с девичества, что полна она вся каким-то неизжитым, необычайным чувством и настанет момент, она отдаст себя всю этому чувству, будет держать в руках счастье любимого единственного человека. Этот момент, казалось, наступил, когда в квартиру к ним вошел Савинков. Нина шла навстречу любви, но в любовь впелась странная темнота, в которой не выговаривалось настоящее, темнота ширилась и покрывала все чувство. Пришли дети, страхи, боязни, го-

ре, одиночество, вся гордость, страсть растоптались. А жизнь стала уходить. И вот, Нина, словно вчера отворившая дверь студенту Савинкову, выброшена и никому ненужна. Ведь жизнь же не начиналась еще, а уж кончилась и другой нет. Нина чувствовала в сумерках отчаяние и рыдала.

5.

Савинков становился молчаливей. Ночами не приезжал. Мало говорил. В это утро Нина не узнала себя. Она прошла быстро в комнату, еще слыша голоса Тани и Вити, которых вводила мадемуазель. Нина прошла, словно в комнате забыла что-то важное. Но войдя остановилась, сжала руки, потом схватилась за голову и почувствовала жутко и остро необходимость порвать невыносимую жизнь.

Все словно от пустяка. Оттого что вчера не отвечал на вопросы. А когда Нина заплакала, встал, уехал и не вернулся на ночь.

«Должна, должна», — простонала Нина и почудилось, что ворот душит. Нина расстегнула платье. От внезапного узнания, что она действительно уйдет, стулья с гнутыми ручками - головами львов, которые вместе выбирали, темнокрасные портьеры, кресла, зеркала, показалось все сразу чуждым, словно Нина вошла в незнакомую квартиру.

«Боже мой, боже мой», — повторяла она, ощущая тяжелую притупленность чувств. Словно руки, ноги, вся она была в то же время не она. Вспомнилось: когда пришла мебель, как распаковывали, развертывали бумагу, как смеялся Борис. Нина, рыдая, упала на диван — «боже мой, как любим, как близок, о, как ненавижу Париж, товарищей, все разбившее счастье».

Нина видела, как сейчас, новенькую студенческую шинель, фуражку, он был иным, сильным юношью. Все ушло, даже выражение лица, став жестоким и надменным. И вот такой, неласковый, он приходил к ней,

она отдавала ему тело, а душа замирала от ужаса, голова была холодна и той любви, которой хотела, не было, не было. «Я не виню», — шептала Нина, — «я ошиблась всей жизнью».

6.

Нина ждала Савинкова, чтобы сказать об отъезде. Она представляла лицо и слова. Внутренно знала, как все будет. Наступила ночь. Но Савинков не возвращался. Он спал в грязном отеле «Бретань» на рю ля Прянс с темнокожей девчонкой, которой на вид было восемнадцать лет. Нина не спала. Под утро она почувствовала себя оскорбленной и разбитой. Он приехал небритый, усталый, с запахом вина. И все было так, как Нина знала.

Он стоял у стола и слушал, смотря в сторону. Он тоже знал, что этот день наступит. Но у него не было сил смотреть в лицо. Он боялся слез. Был еще странный, почти необъяснимый стыд. Разговор был короткий, сух, поэтому мучителен.

— Мне б не хотелось одного, — сказал он, когда Нина хотела выйти, — чтоб у детей осталось к отцу чувство неприязни.

Нина остановилась.

— Деньги я буду высылать на русско-азиатский банк...

Горько улыбнувшись, Нина пошла, чтоб не разрыдаться при нем. Он ждал с нетерпением, когда она выйдет. И с удовлетворением слушал удалявшийся по коридору шелест.

7.

В квартире настал тот ужасный момент, когда она стала разоренной. Нина была молчалива. Беспочвенно часто со слезами целовала детей. Дети были веселы, они хотели ехать. Пришедшая проститься мадему-

азель, смеясь, лопотала с ними. Четырехместное извозчиье ландо уж подъехало к дому. Последний раз Нина, из ландо, взглянула на окна. В окнах никого не было. Нина, не в силах сдерживаться, зарыдала. И дети не умели успокоить мать. Дети думали, что она плачет оттого, что долго не увидит отца. Она же плакала потому, что не увидит его никогда.

8.

Савинков был увлечен романом. Он работал над самым ответственным местом, вырисовывая героя и фон романа так: — «Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, года. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома, старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы.

Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь — красный, клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: — охота на человека. Он — в шляпе с петушьим пером, адмирал швейцарского флота. Мы — в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках — картонные шпаги. Они пьют, целуют, потом иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал Ринальдо, влюбленный Пьеро — кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, генерал-губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьеро, Пьеретта. И льется кровь — клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьеро. Приходите. Открыт балаган».

В квартиру Савинкова стучал взволнованный, седовласый патриарх партии, каторжанин Осип Минор. Он ударял тростью в дверь. Он был возбужден. И так как дверь все молчала, Минор не отпускал еще и ручки звонка упершейся в пасть львенка. Наконец он услышал шаги. На пороге стоял Савинков.

— Что до вас не дозвонишься, Борис Викторович! Возмутительнейшая история! — закричал Минор. — Чорт знает, что такое! — с порога заковылял старыми ногами по паркету, блестя лысиной, вея разлохмаченными кудельками. — Возмутительнейшая!

Савинков был во власти романа, не обращая внимания на Минора, вел его в кабинет.

— Посудите! Это же ходит по всей колонии!

— Успокойтесь, Осип Соломонович, хотите папиросу?

Дрожавшими, к концам подагрическими, пальцами Минор захватывал папиросу. — Да как же, сию минуту на рю Ломонд около библиотеки встречаю Бурцева, он с места в карьер заявляет, а знаете говорит, Осип Соломонович, что один из членов вашего ЦК агент полиции? Я глаза выпучил, он ничтожа сумняшеся так и брякает:—все, говорит, материалы налицо, я обвиняю члена ЦК Азефа в провокации!

— Бурцев осмеливается обвинять Азефа в провокации? — безразлично проговорил Савинков, уста-

вась узостью горячих глаз. Савинков не мог еще освободиться от власти романа.

— Да, что вы словно это вас не касается! Про что я говорю! Бурцев трещит по всему Парижу! Я его спрашиваю, позвольте, говорю, да хорошо ли вы знаете роль Азефа в революционном движении? Начинаю рассказывать, он руками машет, я говорит это лучше вас знаю! Азеф платный чиновник генерала Герасимова!

— То есть, это серьезно? — приходя в себя проговорил Савинков. — Бурцев осмеливается? Я потребу немедленного удовлетворения.

— Дело тут вовсе не в вашем удовлетворении! Должен быть немедленный суд над Бурцевым! Ведь слухи идут о члене ЦК! О руководителе БО! вы понимаете, какую дезорганизацию это несет??!! — кудельки Минора торчали смешными седыми треугольниками.

— Какая низость, — проговорил Савинков, — обвинять Азефа, десять лет ходившего с веревкой на шее, творца террора? Какая низость!

— Да дело даже не в низости! Бурцев попал в ловушку охранного отделения, он не расстанется с каким-то охранником Бакаем, ну и этот охранник ясно подослан дискредитировать партию.

— Но Бурцев не ребенок?

На столе зазвенел телефон.

— Алло!.. здравствуйте... что? — Савинков долго молчал, в трубке метался кричащий голос, когда метанье оборвалось, Савинков проговорил. — У меня Осип Соломонович, он рассказал тоже самое. Бурцев с ума сошел и надо его вылечить... что?.. вот именно... послезавтра?.. прекрасно, прощайте, Виктор Михайлович!

— Виктор?

— Да, у него Натансон, Аргунов, Потапов, весь ЦК, оказывается Бурцев заявил, что выступит в пресе, если партия не назначит расследования. Это чорт знает что, Бурцев маньяк!

— Надо сейчас же написать Азефу, сейчас же напишите, у вас есть его адрес? — взволновался Минор.

— Я напишу.

— Пишите сейчас же, успокойте, что мы примем все меры.

Когда Минор ушел, Савинков постоял у письменного стола, подумал, отложил рукопись романа и сел за письмо.

9.

Заседание членов ЦК и кооптированных членов партии было многолюдно. Возмущены были все. Но такого гнева, каким полон был Виктор Чернов, ни у кого не было. Чернов стоял с потемневшими глазами, он был решителен, словно сейчас пойдет на распятие.

— Товарищи, — проговорил он негромко, — мы стоим перед делом величайшей важности. Товарищ, которому партия обязана многим, чересчур многим, если не всем, обвинен в предательстве! Господин Бурцев не стесняется в преступной лжи делать даже следующее заявление. Я оглашаю: — «В ЦК партии с. р. Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями партии с. р. я указывал, как на главную причину арестов, происходящих во все время существования партии, на присутствие в центральном комитете инженера Азефа, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения. Последние петербургские казни не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас в ужасающей роли Азефа и я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественного мнения. Я давно уж просил ЦК вызвать меня к третейскому суду по делу Азефа, но события происходят в настоящее время в России ужасающие, кровавые и я не могу ограничиться ожиданием разбора дела в третейском суде, который может затянуться надолго и гласно за своей подписью беру на

себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей партии с. р.»

Чернов перевел дух, гневно сжав брови проговорил:

— Есть еще и достаточно подлая приписка, товарищи, я оглашаю и ее, господин Бурцев пишет: — «Разумеется это заявление не должно быть известно Азефу и тем, кто ему может о нем передать».

В зале раздался возмущенный ропот. Кто-то, сжав кулаки, ругался, вскочив с места. Чернов закричал, покрывая всех тенором. — Товарищи, тишина! — и в наступившую тишину отрывисто бросил:

— Предлагаю, в ответ на заявление господина Бурцева, учредить суд над ним, над Бурцевым, который докажет его гнусную клевету на товарища Ивана! — гром аплодисментов прервал его. — А на приписку предлагаю ответить так: — «Азеф и партия одно и то же. От Азефа нет секретов у партии и потому мы вам возвращаем господин Бурцев вашу прокламацию, действуйте, как хотите!»

И снова, — гром аплодисментов. Чернов опустился на стул, поправляя волосы и отирая платком рот. Глаза его метали молнии.

10.

Возвратясь с заседания, Савинков нашел ответное письмо Азефа: — «Дорогой мой! Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой... Ты пишешь о суде. Я не вижу выхода из создавшегося положения помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после разбора критики и опровержения «фактов», Бурцев еще может стоять на своем? Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться оттого, что выложит Бурцев.

Виктор пишет, что Бурцев припас какой-то ультросенсационный «материал», который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд, но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики и всякий нормальный ум должен крикнуть: — «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» — Я думаю, что все, что он держит в тайне не лучшего достоинства. Суд сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маньяком. Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унижаться. Мне кажется молчать нельзя; ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это, конечно, уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому готов отступить от своего мнения и отказаться от суда.

Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся насколько возможно меня избавить от этого. Обнимаю и целую тебя крепко.

Твой *Иван*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

1.

Суд над Бурцевым состоялся в тяжелый день, в понедельник. Ровно в девять утра к квартире Савинкова на рю ля Фонтен подъехала четырехместная извозчичья коляска. Из нее вылезли, похожие на апостолов, два старика, с седыми бородами и строгая пожилая женщина. Это были ветераны русской революции: — князь П. А. Кропоткин и шлиссельбуржцы: Г. А. Ло-

патин и В. Н. Фигнер. Не разговаривая, один за другим, они поднимались лестницей.

В передней Савинков хотел помочь Кропоткину снять пальто. Но, отстраняя его, Кропоткин, смеясь, проговорил:

— Человек должен уметь все сам делать, Борис Викторович.

Кропоткин был невысок, строен, по военному выправлен. Красивую голову в седой бороде держал откинув, сквозь очки смотрели юношеские глаза, как бы приглашая заглянуть в душу, где все ясно и чисто. Лопатин бурно сбросил пальто, посмеялся с Савинковым. Фигнер была суха и молчалива.

Садясь в кабинете, все заговорили о постороннем, как доктора перед входом к пациенту.

— Хорошая квартира у вас, Борис Викторович, прелесть и невысоко. Что платите? — покачивался в кчалке Лопатин.

Кропоткин вынул простую луковицу часов, посмотрел.

— Как здоровье жены, Петр Алексеевич? — проговорила Фигнер.

— Благодарю, Вера Николаевна, ничего. Инфлюэнца.

В дверях кабинета столкнулись Чернов и Бурцев. Чернов вошел первым, не глядя на Бурцева, и даже как бы отпихнул его. За Бурцевым вошел плотный розовый, белобородый Натансон, на лысом упрямом черепе была толстая жила.

На середину выдвинули стол. На нем чернильницы, перья, бумага, карандаши. Три стула — для судей — за которые сели: — посредине председателем П. А. Кропоткин, справа Лопатин, слева Фигнер. От судей направо — обвиняемый в клевете Бурцев. На лево — обвинители от партии — Чернов, Савинков, Натансон.

Полчаса десятого, разглаживая седую бороду, тихо кашлянув, Кропоткин проговорил:

— Разрешите считать заседание суда по обвинению В. Л. Бурцева партией социалистов-революционеров в клевете на члена партии Евгения Филипповича Азефа — открытым. Слово предоставляется обвинителю от партии В. М. Чернову.

Бурцев сидел за ломберным столом, раскладывая бумажки, документы, записки. Казалось, он не видел окружающих. Когда, задумавшись, приподнимал голову с приоткрытым ртом, были видны большие, прокуренные зубы. Глядел он в стену, быстро отрывался, снова в порядке раскладывая записки, бумажки, документы.

Савинков чувствовал внутри холодноватую, сжимающуюся спираль, сосущую, неприятную. Чернов, все время совещающийся с Натансоном и не обращавший внимания на Савинкова, после слов Кропоткина, встал.

— Товарищи судьи, — проговорил он громко. — Я просил бы разрешить обвинению задать господину Бурцеву совершенно необходимый для дальнейшего ведения суда вопрос.

— Пожалуйста, — бесстрастно проговорил Кропоткин. Несмотря на невысокий рост, Кропоткин казался величественным. Оглядывая судей, Савинков думал: «Лучшего не выбрать: ветераны революции и во главе благороднейший анархист, с мировым именем».

— Я хочу задать господину Бурцеву, — говорил распевной скороговоркой Чернов. Он был очень непохож на Кропоткина. — Такой вопрос. Дает ли он слово прекратить клеветническую кампанию против Азефа в случае, если суд признает его виновность.

Лица трех судей обернулись к Бурцеву. Бурцев маленький, узенький, с седенькой головой нервно встал.

— Если суд признает мои обвинения Азефа недоказанными, а я останусь при прежнем убеждении, что Азеф провокатор, то все же я буду бороться с ним. Но, если хотите, тогда при каждом выступлении против Азефа я буду упоминать, что суд высказался про-

тив меня. К тому же предоставляю партии эс-эров право реагировать на мою дальнейшую агитацию всеми способами, вплоть до убийства.

Лица трех судей повернулись от Бурцева к Чернову.

— Ах, так! Такой компромисс, вот именно с упоминанием «вплоть до убийства» для нас приемлем.

Чернов откашлялся и начал речь. Эта речь отличалась от его обычных выступлений. Она скудно была украшена пословицами, поговорками. Оратор забывал от взволнованности. Он говорил о биографии Азефа, затем об Азефе, как создателе партии с. р. и главным ее руководителе, об Азефе, как о главе БО, о том, как Азеф убил Плеве, как убил Сергея и как совсем недавно перед тем, как отказаться от главенства в БО, Азеф подготовлял убийство царя на «Рюрик» и как исполнитель плана, матрос Авдеев, уже стоял с револьвером в кармане перед царем, смотря ему в лицо и, не зная почему, не выстрелил.

— Так неужели ж, товарищи, — кричал Чернов, в полном негодовании, встряхивая рыжей шевелюрой. — даже зная только этот факт готового цареубийства, нанесения удара самодержавию в самый «центр центров», несовершенного благодаря случайности и без вины Азефа, неужели этого одного недостаточно, чтобы видеть какая ужасная, какая гнусная клевета возводится Бурцевым на большого революционера! Когда, скажите мне, когда были в истории провокаторы, убивавшие министров, великих князей, подготовлявшие цареубийство? Разве не видна здесь бессмысленность, низость, весь ужас обвинений Азефа?!

Лопатин перевел с Чернова удивленный взгляд на Бурцева. Одновременно с ним на Бурцева с сожалением смотрела Фигнер. Натансон ненавистно глядел на седенького старичка. Савинков, захваченный речью Чернова, был возбужден, не скрывая негодованья в жестах.

Кропоткин был бесстрастно спокоен.

Бурцев сидел, словно никаких новостей не было в криках Чернова. А он кричал распевным великорусским говором все резче, все сильней. Теперь говорил о том, как царское правительство давно старалось скомпрометировать опаснейшего правительству врага Азефа, подсылая в партию письма, о том, что наконец департаменту полиции удалось осуществить это при посредстве Бурцева.

— Этот тайный, гнусный поход на товарища, на друга был начат задолго до вас, господин Бурцев! Еще в 1903 году было брошено первое подозрение на Азефа и тогда же суд из литераторов Пешехонова и Гуковского принужден был извиниться перед Азефом и признать все обвинения вздором. Но надо было видеть товарища, стоявшего во главе террора, как тяжело он переносил эти гнусности, которые незаслуженно бросали в лицо тому, кто вел партию к славе! Да, Азеф плакал тогда, плакал на моих глазах как ребенок! И мы утешали его, уверяя, что такие тернии в борьбе с царизмом есть и будут у всякого террориста, ибо эта борьба не на живот, а на смерть! И вот опять: — один из членов партии получил письмо явно полицейского происхождения, на которое, разумеется, мы не обратили внимания. За ним — предатель Татаров оговаривает лучшего, светлого борца партии на пути к революции! Но с Татаровым за это партия рассчиталась, доказав, что предатели к сожалению в партии есть, но это не Азеф, а — Татаров. И он нами убит!

Снова судьи повернули три лица к Бурцеву. Приоткрыв рот, выставив два зуба, Бурцев слушал Чернова. Ничего нельзя было разобрать в его лице.

На третьем часу Чернов только что разошелся. Еще орнаментальнее, плавнее, даже красивее вырезал он словесные коньки, наличники, украшения. На четвертом часу перешел к характеристике Азефа, как человека и семьянина.

— Господа, попавшие в сети охранников, не гнушаются даже тем, что одним из доказательств провокации, так сказать, «подкрепляющим» приводят наруж-

ность Азефа и манеру его обращения с людьми! Да, скажу я, Иван часто производил первое неприятное впечатление на людей. Но ведь он же не институточка, не этуаль какая-нибудь, чтоб чаровать зрение господ с ним встречающихся! И тут да позволено будет, есть такая поговорка: «Не цени собаку по шерсти»! Но все, кто только ближе узнавал Азефа, начинали его любить самой нежной привязанностью как друга, как брата. Надо только хорошенько всмотреться в это открытое лицо и в его чистых детских глазах нельзя не увидеть бесконечной доброты, а увидев его в кругу семьи и товарищей, нельзя не полюбить этого действительно доброго человека и нежного семьянина. — Тут судьи увидели, что Бурцев записывает слова Чернова. — И вот чуткого, доброго человека, безупречного семьянина, отважного борца с самодержавием, вписавшего лучшие страницы в историю русской революционной борьбы, осмеливаются клеймить самым гнусным, самым беззастенчивым образом господина, либо просто ищущие сенсаций, либо ставшие странными жертвами департамента полиции!

Чернов повернулся к Бурцеву и проговорил целый час. На пятом часу он, отирая платком лицо, рот и руки, сел.

Встал Савинков.

— Товарищи! — проговорил он тихо.

«Опять театр для себя» — подумал Чернов, осматривая Савинкова.

— Товарищи, — повторил Савинков.

Чернов недовольно завозился.

— Я друг Азефа и может быть моя дружба с ним интимнее отношений всех остальных товарищей, ибо наша дружба спаяна и смочена кровью. Не день и не год мы жили с Азефом. Мы жили годы. И шли сквозь кровь, убивая многих во имя революции и терпя по кровавому пути многих любимых и дорогих. И вот лучшему другу, отважнейшему борцу, главе террора брошено грязное обвинение! Я рассматриваю это, как обвинение всей БО и мне всего большей гово-

рить об этом, ибо я противник даже всякого разбирательства деятельности Азефа. Он выше подозрений. Но теперь я вынужден и буду говорить об Азефе, как террорист, как брат по духу и крови. Разрешите же сначала сделать мне сухой перечень славных дел, произведенных Азефом! Я начинаю: — он знал о покушении на харьковского губернатора Оболенского, он подготовлял убийство уфимского губернатора Богдановича, он руководил всей работой БО с 1903 года! он поставил убийство Плеве, он поставил убийство Сергея, он ставил покушение на генерала Трепова, на киевского генерал-губернатора Клейгельса, нижегородского барона Унтербергера, он ставил покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, на министра внутренних дел Дурново, на генерала Мина, на заведующего политическим розыском Рачковского, дабы убить его вместе с предателем Гапоном, при чем Гапон был убит, он ставил покушение на адмирала Чухнина, он покушался на премьер-министра Столыпина, он санкционировал и послал исполнителей убить провокатора Татарова, он ставил покушение на генерала фон дер Лауница, на прокурора Павлова, он ставил покушение на великого князя Николая Николаевича и, наконец, на царя Николая II. Сколько отдано крови и сколько пролито крови тиранов, вы знаете сами! И неужто ж теперь мы бросим грязью в того, кто был душой и гильотиной этих славных дел?!

Чернов смотрел на фигуру Савинкова с неудовольствием. Савинков стоял чересчур бледный. Узкие монгольские глаза горели углями. Румянец выступил пятнами на продолговатом бледном лице. Вся фигура в черном, двубортном, ловко сидящем костюме была убедительна и красива.

— Я знаю Азефа так, как его никто не знает! Я люблю его как брата, и никогда не поверю никаким подозрениям в силу их полной, конечно, бессмысленности! Я знаю Азефа, как человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта! Я видел его неуклонную последова-

тельность в революционном действе, его спокойное мужество террориста, наконец его глубокую нежность к семье. В моих глазах это даровитый, твердый, решительный человек, которому нет у нас равного. И вот я обращаюсь к вам, Владимир Львович! — Савинков повернулся к Бурцеву и, жестикулируя правой рукой, проговорил с пафосом:

— Вместо необоснованных обвинений, пятнающих имя великого революционера и вносящих страшную дезорганизацию в святое дело террора и революции, вместо обвинений я призываю вас, как историка революционного движения, сказать: — есть ли в истории русского освободительного движения и в освободительном движении всех стран более блестящее имя революционера, чем имя Азефа?!

Бурцев нервно встал.

— Нет! Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, чем имя Азефа, — проговорил он. — Его имя и деятельность более блестящи, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только под условием если он честный революционер. Я же убежден, что он негодяй и агент полиции!!

— Гадость! Мерзавец!! — бросившись с мест, закричали Натансон и Чернов.

Бесстрашный П. А. Кропоткин зазвонил в колокольчик и встав проговорил:

— Объявляю перерыв на два часа. После перерыва слово будет предоставлено Владимиру Львовичу Бурцеву.

2.

В Париже серой сеткой шел дождь. В Пиренеях же на веранде отеля «Этуаль», в испанском курорте Баганьер де Бьорре играло ослепительное солнце. Под солнцем весь в белом хохотал Азеф.

Хеди свежая, в легком платье цвета лепестка желтой розы, рассказывала о подруге, любовнице банкира.

— Das ist wahr, das ist wahr, — смеясь повторяла она, — Er zieht sich ganz nackt aus und bittet sie auf ihn heiße Kartoffeln zu schmeissen.

— Горячим картофелем? — хохотал Азеф. — И она кидает?

— Aber natürlich! Sie bekommt Geld dafür, das ist so eine Perversität.

Представляя голого банкира, в которого бьют горячим картофелем Азеф не мог сдержать визгливого, дребезжащего хохота.

— Ist es möglich!? — отирая платком лоб, говорил он.

Лакей испанец, словно из гутаперчи, колеблясь с подносом, поднес печенье, кофе и ликеры. Хеди, отодвинув кофейную машину, писала матери открытку с голубым видом Пиринеев. Почерк розовоотделанных рук был плохого качества: «Милая мама. Здесь чудно хорошо. Я купаюсь с Гансом каждый день. Вчера мы удили рыбу. Я поймала 5 штук. Я сидела в лодке. Солнце печет невероятно. Твоя Хедвиг.»

Розовоотделанными пальцами, которым завидовала не одна кокотка, Хеди придвинула машинку и кофе брызнуло в чашку горячей струей.

В небесно-голубой куртке, широких штанах, украшенный золотенькими пуговичками, позументиками, профессиональной походкой на веранду выбежал бой, по черноте похожий на арапченка, и побежал к Азефу с круглым подносом.

Порывшись в заднем кармане теннисных брюк, Азеф бросил на поднос звонкую мелочь. Конверт был от Любови Григорьевны. Но разрывая его, Азеф увидел вложенный листок и, взглянув на подпись, прочел: — «Искренне преданный Аргунов». Азеф пробежал глазами по строкам жены: — «Дорогой мой Ваня! Пока что обстоятельства не привели ни к чему хорошему. Бурцев стоит на своем подлом утверждении.

И, как я узнала, сообщил какой-то «сенсационный материал», который ему будто бы передал какой-то важный сановник. Я слышала, что проверять этот «материал» в Петербург тайно посылается кто-то из ЦК.» (Азеф побелел — это было новостью).

— Я пойду, Генсхен, — сказала Хеди, — приходи в сад. — Стала спускаться залитой солнцем широкой террасой к пестроте азалий, олеандров и агав.

«Сегодня у меня был Аргунов, он говорил, что едет в Петербург на работу. Я его спрашивала, что он ли тот товарищ, который посылается в Петербург для проверки какого-то бурцевского материала, но он категорически отказывался. Но это конечно он. Что это может быть за подлый материал, я не представляю. Аргунов настроен по отношению к тебе очень хорошо. Просил и меня не волноваться, он верит, что все кончится в твою пользу и бурцевская клевета будет доказана. Прилагаю тебе его записку, завтра все узнаю подробнее и напишу. Виктор и Борис произнесли большие речи. О докладе Бурцева еще не знаю, напишу подробно. Целую крепко, будь здоров и не расстраивайся, мой дорогой, любимый. Твоя Люба».

На клочке бумажки стояло: — «Дорогой Иван Николаевич! Если б вы знали, как мы все вообще и я в частности за вас страдаем, что вы там один, в глуши принуждены переживать все эти грязные толки и отвратительную процедуру судебного разбирательства. Я по делам еду в Петербург. Шлю вам перед отъездом свой привет, будьте бодры, сильны, мы уверены, что в самом ближайшем времени снова вместе приступим к общей работе. Искренне преданный Аргунов».

Азеф не улыбался. Он сидел белый, словно сифилисным параличем было перекошено лицо.

— Hans! Hänschen! — кричала Хеди из-за олеандр, — komm doch hierher! Hier ist wunderschön!

Грузно, тяжело выпрастывая толстый живот из-под стола, отодвигая плетеное кресло, Азеф поднялся. «Сановник?» Это в расчет не входило. Это — удар. Он хохотал в Пиринях, уверенный, что Борис и

Виктор сорвут красноречием шаткие данные Бурцева, которые можно выворачивать так и эдак. Но — «сановник?!» Азеф холодел.

— Hänschen! — кричала Хеди, — komm doch!!

«Надо ехать, иначе — провал», — бормотал Азеф. Сделав подобие улыбки, он подошел к Хеди. Обнял ее за талию, так они шли аллеей агав и олеандров. Это было некрасиво. Потому что Хеди была стройна, а он толст и уродлив.

Хеди не понимала, зачем в чудную погоду прерывать купанье, ловлю рыбы, ласки. Но папочка мог потерять на бирже. И уж закладывали, торопясь, испанцы высокий, парный кабриолет.

3.

На этот раз председательствовал шлиссельбуржец Герман Лопатин. Чернов казался опухшим и покрасневшим. Натансон бледен меловой бледностью невыспавшегося человека. Савинков нервен. Спокойны были лишь судьи.

— Ваше слово, Владимир Львович, — проговорил Лопатин.

Бурцев встал, поправил очки, откашлялся.

— Я убежден в том, — начал он, — что провокация является главной опорой существующего полицейского строя. Если бы революционерам удалось разбить эту цитадель самодержавия, то неизвестно удержалось ли бы самодержавие вообще. Самодержавие держится провокацией. Это мое глубокое убеждение. И, исповедуя эту истину, я посвятил свои малые силы борьбе именно с этим злом: — с провокаторами. Но в силу многих причин, зачастую психологических, дело это чрезвычайно трудное. И вести его приходится с величайшей осторожностью. Вот именно с такой величайшей осторожностью начал я расследование моих подозрений Азефа.

В том, что в партии с. р. есть центральная провокатура я был убежден давно. В этом убеждены и члены партии. За то говорили многие события и прежде всего полный паралич террора. Что провокатор этот работает в департаменте под псевдонимом «Раскин» установил М. Е. Бакай. С этого момента все мои силы напряглись к одному: — выяснить, кто из членов партии скрывается под псевдонимом сотрудника «Раскина». Это было нелегко, длилось долго. Не буду рассказывать, сколько пришлось положить труда, чтобы систематизировать все относящееся к неизвестному «Раскину». Эта работа проделана мной и Бакаем. Все собранные, тщательно выверенные факты, указывали с безусловной очевидностью, что «Раскин» — Азеф. Но я никому во время работы не выговорил этой фамилии. Только, когда не было уже никаких сомнений, я решил сделать последнюю проверку через Бакаю. Я попросил Бакаю рассказать, что ему известно по службе в охранном о Чернове и Савинкове. Он рассказал. Сказал, что часто видел их карточки. Карточки охранным рассылались по провинции. Тогда, как бы невзначай, я спросил: — а что знаете об Азефе? Бакай ответил, что Азефа совсем не знает. Как же так, сказал я, это видный эс-эр? Бакай сказал, что никогда даже не слышал об Азефе. — Позвольте, говорю, ведь это же глава боевой организации? — Невероятно, — ответил Бакай, — мне не знать главу боевой организации, все равно, что не знать директора департамента полиции. И тут я впервые выговорил фамилию Азефа, как подозреваемого «Раскина». — Если таковой существует, — ответил Бакай, — если он друг Чернова и Савинкова, глава боевой и о нем у нас ничего неизвестно, его не разыскивают, карточек не рассылают, значит он «подметка», то есть сотрудник.

Вот когда впервые я назвал фамилию Азефа. В России лилась кровь революционеров, посылаемых Азефом на казнь. Я во всеоружии данных обратился в ЦК партии, заявив о подозрении. Но этот шаг ока-

зался совершенно бесплодным. В течение года добивался я расследования ЦК моих подозрений Азефа. ЦК, либо отмалчивался, либо отказывался от расследования.

Но время шло. Азеф губил людей. А я напрасно добивался у ЦК расследования дела. Когда же совсем недавно я прочел — Бурцев повернулся в сторону Чернова и Савинкова, — что в Петербурге опять повешены террористы Зильберберг, Сулятицкий, Никитенко, Синявский, Лебединцев, Трауберг, Синегуб, будучи убежден, что их отослал на виселицу Азеф...

— Гнусная ложь! — закричал Чернов.

...Я заявил ЦК, что теперь уж выступаю в прессе, ибо обращение партией вниманья на обвинения Азефа равносильно посылке на виселицу молодых, самоотверженных революционеров. Я не мог молчать. И вот мы дошли до суда, но не над Азефом, а надо мной. Но теперь и я обвиняю не только Азефа. Я обвиняю партию в злостном попустительстве, стоившем жизни десяткам самоотверженных революционеров. Я обвиняю вас, господа Черновы! Вы всячески отводили расследование подозрений Азефа и слухов о нем в течение нескольких лет и только, когда я угрожал прессой, вызвали не Азефа, а меня в суд, недвусмысленно намекая, что можете со мной расправиться. Но когда я докажу вам, в этом суде, предательство Азефа, я позволю себе спросить и вас: — почему так долго, почему так страстно вы оберегали предателя и вешателя Азефа?

Ведь, разобравши весь материал о провокации Азефа и о попытках разоблачить его, оказалось, что я во все не первый, называвший его предателем и доведший это до сведения ЦК партии. Где ж причины тому, что в самом центре партии, в течение множества лет безвозбранно работал провокатор? Причины эти в том, что в ЦК царили и царят самые темные стороны партийно-организационных нравов.

Шесть лет назад пропагандист студент Крестьянинов обвинил Азефа в предательстве. Он узнал о по-

лицейской службе Азефа через филера Павлова. Разбиралось ли это дело партией? Нет. Азеф, глава, террора и полицейский шпион, был обелен кустарным способом. Но вскоре снова М. Р. Гоц получил письмо от Рубакина о подозрениях Азефа в предательстве. Что сделали с этим письмом члены ЦК? Его, смеясь, передали — кому? Главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Но в партию снова пришло обширное, так называемое, «петербургское письмо», с подробными разоблачениями Азефа и Татарова. Письмо принесла неизвестная женщина члену партии Е. К. Ростковскому. Что вышло из этого? Прежде всего разрешите огласить это письмо:

«Товарищи! Партии грозит погром. Ее предадут два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Т., весной лишь вернулся, кажется из Иркутска, втерся в доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, Барыкова, указал кроме того Фрелих, Никонова, Фейта, Старынкевича, Леоновича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Якимову, за которой потом следовали в Одессе на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро наверное возьмут); другой шпион недавно прибыл из заграницы, какой то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский; этот шпион выдал съезд происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, Конопляникову в Москве (мастерская), Веденяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина в Киеве, бабушку (скрывается у Ракитниковых в Самаре)... Много жертв намечено предателями, вы их обоих должны знать. Поэтому мы обращаемся к вам. Как честный человек и революционер исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны и что многого мы еще не знаем) следующее: — письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копий и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и

посвятите в эту тайну или Брешковскую или Потапова (доктор в Москве) или Майнова (там же) или Прибылева, если он уедет из Питера, где около него трутся тоже какие то шпионы. Переговорите с кемнибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем). Пусть тот действует уже от себя не называя вас, и не говоря того, что сведения эти получены из Питера. Надо, не рассказывая секрета поспешить распорядиться, все о ком знают предатели будут настороже, а также и те, кто с ними близок по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и не показываться в месте, где раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям».

— Кому было отдано это письмо? Несмотря на предупреждения письма, несмотря на указание лиц, коих надо посвятить в это дело, письмо тут же передали в руки главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Я знаю, он прочел его, побледнев. Но тут же перед товарищами проговорил: — «Т», — это Татаров, а «инженер Азиев», — это я. Я отвезу письмо в ЦК». И Азеф лично Гоцу отдал письмо. Но письмо не имело копии. В отношении Татарова, он дополнил его фамилиями Барыкова, Фрелиха, Фейта, Никонова. В отношении же себя отрезал конец письма, который был таков: — «Если не можете сделать все, так, как мы советуем, — ничего не предпринимайте, если же исполните все в точности, то уведомьте помещением в почтовом ящике «Революционной России» заметки:—«Доброжелателям. Исполнено». В этом случае последуют дальнейшие разболачения».

Это письмо констатировало выдачу «инженером Азиевым», в котором сам Азеф признавал себя: — съезда боевиков в Нижнем, покушение не тамошнего губернатора, выдачу динамитной мастерской, транспорта динамита Веденяпина, убежища Брешковской. Казалось бы красноречивейшие факты, которые так легко проверить! Но расследовал ли эти факты ЦК?

Нет. Он признал факты в отношении «инженера Азиева» мелкими и ничтожными. А письмо «шуткой» департамента полиции. В отношении Татарова поступили иначе. Татарова — убили. Кто? Азеф убил конкурента руками социалистов-революционеров.

Но ЦК не было передышки. Вскоре опять в партию пришли сведения о провокации от одесского охранника Соркина. Но и ими не воспользовался ЦК. Тогда, через два года, получилось опять подробное письмо саратовских с. р., не оставляющее никаких сомнений в предательстве Азефа. Но это многостраничное письмо осталось до сих пор даже — я подчеркиваю это — известным только нескольким членам ЦК. Его замяли. Сунули под сукно. Но что же это такое? Злостное попустительство или наивность, граничащая с глупостью? Я не хочу верить, что так наивен и плох ЦК партии с, р.

Посмотрим же, что делал за эти годы бесплодных попыток разоблачения Азеф? Он стоял во главе партии и террора и убивал левой рукой министров, а правой товарищей по партии, но отнюдь не членов ЦК. Он не убил ни одного из них, он убивал чудеснейших юношей и девушек, веривших в террор и своего руководителя. Как же назвать это «легкомыслие» ЦК партии, скажите мне, где его корни?

Меня обвиняют в клевете после того, как до меня в распоряжении ЦК имелся Монблан данных, из которых так легко было установить провокацию Азефа. Но есть такая испанская поговорка: — самый глухой тот, кто не желает слушать. И таким, внезапно глухим на одно ухо оказался ЦК! Корни этой глухоты были в неприглядной до жуткости картине партийно-организационных нравов. Я принужден коснуться этой атмосферы азефовщины, ибо она, а никто другой питала кровавыми соками неслыханное в мире предательство.

Члены ЦК партии с. р. вместе с монополией идейного руководства соединили и монополию организационного руководства. ЦК превратился в большую, хорошо сплоченную семью. Члены стали непогре-

шимыми папами, самодовольными нарциссами, не терпящими непокорности. ЦК проникся бюрократическим духом касты. Цекисты стали выше критики, они стали недосягаемы, как римские императоры. Как полноправные члены ЦК, вошли жены цекистов, их родственники, царила сплошная склока, кумовство, интриги, сплетни, прислужничество. В семейную касту замкнулся всякий приток свежего воздуха. И в этой затхлости расцвел пышным, махровым цветом Азеф.

Он был своим в своей семье. Так какие же могли быть подозрения члена семьи? Хуже того, сюда приехала самая гнусная, самая крепкая, самая страшная — власть денег. К деньгам льнут, перед деньгами пресмыкаются и совсем незаметно забота добычания денег для партии превратилась из средства в цель.

Азеф являлся для партии добывателем денег. Он доставал их. Откуда? Вопрос другой. Этим не интересовались нарциссы. Провокатор Татаров тоже доставал деньги, благодаря чему и должен был быть кооптирован в ЦК. Эти деньги шли из департамента полиции от генерала Герасимова и сыщика Рачковского. ЦК был в их сетях. Но не целиком. Азеф, как главарь террора доставлял деньги и с другой стороны, от сочувствующих террору богачей и организаций. И вот с двух сторон он держал в руках партию, то есть, семью ЦК. Так, как же начнут разбирать дело его предательства? Ведь у такого предательства найдется слишком много родственников? Железная броня «круговой поруки» семьи ЦК стала для Азефа каменной стеной, за которой он убивал направо и налево, кого хотел, оставляя в живых членов ЦК и генерала Герасимова. Именно сознание кастовой солидарности считалось и считается «чувством товарищества» по отношению к Азефу, о котором так красно говорили члены ЦК. Но какую же чудовищную жестокость проявляли эти люди в отношении смелых, молодых, отважных товарищей? Я не могу поверить, неужели все подозрения, поступавшие в ЦК, не заставили господина

Чернова хоть бы раз задуматься, хоть бы раз кого-нибудь остеречь. Ведь именно вы, господа Черновы, передавали беззаветную молодежь в руки Азефа, не чувствуя даже обязанности предупредить. А вы обязаны были предупредить так: — «знайте, что существует «петербургское письмо», что существует «саратовское письмо», что существует подозрение Крестьянинова, имеются показания Татарова, обвинение «Мортимера» Рысса, существует масса обличительных данных против Азефа, но мы абсолютно доверяем Азефу, оставляем его в нашей среде и он осведомлен абсолютно обо всем, действуйте теперь, как хотите. Тогда бы, если б и шли на бойню, то хоть в полной осведомленности об опасности предстоящей игры. Но господа Черновы передавали Азефу молодежь молча. И беззаветную молодежь вешал генерал Герасимов. Правда, у Азефа были и другие, кроме виселицы, меры. Я должен упомянуть и о них. Со многими, отдавшими себя в распоряжение боевой организации террористами, Азеф поступал и иначе. Якобы для конспирации отсылал в самые глухие городки и местечки России, приказывая не двигаться с места без его вызова. Пьянствуя, развратничая, тратя безумные деньги, жандармские и партийные, он отсылаемым не давал средств к жизни, заставляя вести голодную и полную бездействия жизнь. За это он получал от Герасимова. Отважные идеалисты, преданные партией в руки провокатора, кончали жизнь самоубийством. Это не единичные факты! Товарищ Чернов об этом знает! Но на стреляющихся молодых революционеров не обращали внимания, во первых Азеф был черезчур свой человек в аристократии ЦК, а во вторых диктатор террора бывал часто безапелляционен, указывая товарищам: — террор — это я! И вот перед нами сотни трупов, совсем недавние жертвы, повешенные Герасимовым беззаветные Зильберберг, Сулятицкий, Синявский, Никитенко, Лебединцев, Трауберг! И все же представители партии, друзья Азефа, не желают увидеть правду. Так разрешите же, перейти к фактической стороне, к деталям разоблаче-

ния, которые должны слепых убедить в том, что террор партии вел агент полиции.

Бурцев перешел к данным сыска, приведшим к убеждению, что «Раскин» — Азеф. На четвертом часу он чувствовал уже скрепы, пролеглие меж ним и судьями. Было ясно: — Лопатин верит, Кропоткин поколеблен. Даже, кажется, поколеблена Фигнер. Факты шли нарастая, давя сознание. Бурцев рассказывал, как ездил в Варшаву к инженеру Душевскому узнавать, был ли у него пять лет назад Азеф, как ездил в Швейцарию к Рубакину. Сотни тончайших фактов передал Бурцев. Но вот, сделав паузу, и отпив воды, он проговорил:

— Я изложил историю попыток разоблачений Азефа, изложил факты, устанавливающие предательство, изложил свой гнев и ту атмосферу, в которой при легкомысленном попустительстве действовал Азеф, но у меня есть и еще факт, после которого даже В. М. Чернову придется, кажется, поверить. Я могу его сообщить суду под условием, если представители эс-эров дадут честное слово, что не воспользуются сообщаемым иначе, как с согласия суда. Суд же пусть делает из сообщения, что найдет нужным.

Наступила тишина. Ее прервал председатель Лопатин голосом, уставшим от молчания:— Угодно представителям обвинения согласиться с предложением Владимира Львовича Бурцева? — он щурил глаза, ибо за двадцать лет одиночной камеры стал близорук.

Чернов возбужденно совещался с Натансоном и Савинковым.

Встал Савинков:

— Мы согласны из сообщаемого Бурцевым факта не делать никакого употребления без согласия суда.

— Тогда, — проговорил Бурцев, — я сообщу. Со всем недавно, за неделю до моего последнего заявления партии, я узнал, что за границей находится бывший директор департамента полиции Лопухин, которого, я знаю, как противника революционеров, но честного человека, и который, как известно, благодаря

именно этому, впал в немилость у правительства. Я был внутренне убежден, что если освещу Лопухину двойную работу Азефа, то он поразится услышанным, ибо знает только Азефа, как агента полиции, а не как революционера и, поразившись, как честный человек, выдаст мне этого изувера, дьявола рода человеческого. Я ловил Лопухина. Узнал, что 25 числа он будет в Кельне на пути в Берлин, откуда поедет в Россию. Я поехал в Кельн ждать его.

Я узнал его в зале 1-го класса, видел, как он прошел в вагон. Я шел за ним. Сел умышленно в другое купе, не желая встречаться, пока не тронется поезд. Я тщательно следил, знал, что я «без хвостов». Когда поезд тронулся, я как бы случайно вошел в купе Лопухина. Он был один и читал «Франкфуртер Цейтунг».

Мы поздоровались, заговорили, беседа началась совершенно обыденно, я не старался брать быка за рога, но сказав, что провалы последних дел партии с. р. объясняются тем, что во главе БО стоит провокатор, почувствовал, что почва создана и обратился к нему так: — Алексей Александрович, позвольте рассказать вам все, что я знаю об этом провокаторе и о его деятельности, как среди революционеров, так и охранников.

Он согласился. Я начал рассказ. Знаю, что шел ва банк, рассказывая бывшему директору департамента полиции о карьере революционера Азефа, знаю, сорвись мое дело и господа Чернов и Савинков не поцеремонятся со мной. Но вера поставила на карту мою жизнь. Я рассказал детально, как Азеф убивал Плеве, как убивал Сергея, как ставил акт на Дубасова, как подготавливал убийство царя и в то же время посылал на виселицу революционеров, отдавая их Герасимову. Лицо Лопухина было передо мной, чем дальше я рассказывал, тем явственней видел, что Лопухин изумлен, подавлен, готов не верить, что он знает этого охранника.

Когда я говорил о цареубийстве, Лопухин побледнел, но он уж не мог скрыть волнения и не верить со-

общаемым фактам, о которых знал с другой стороны баррикады. Лопухин был потрясен, по моему, именно тем, что если не непосредственно, то все же и он принимал участие в работе Азефа. И тут, после шестичасового разговора, я сказал: — Будучи директором департамента, вы не могли не знать этого провокатора, он известен, как «Раскин», я окончательно разоблачил его, разрешите мне сказать, кто скрывается под этим псевдонимом. Я готов был назвать Азефа, как вдруг взволнованный Лопухин сказал: — Никакого Раскина я не знаю, я знаю инженера Евно Азефа...

Бросив председательское место, Лопатин тяжелыми шагами подошел к Бурцеву и положил руки на плечи:

— Львович, дайте честное слово, что вы это слышали от Лопухина! — Но тут же обернулся, безнадежно махнув рукой. — Да что тут, дело ясное! — в глазах старого революционера стояли слезы.

Вскочили представители обвинения, вскочили с мест судьи, произошло замешательство

— Вы выдали Азефа! — кричал Чернов. — Вы подсказали его Лопухину!

— Азеф выше обвинений Лопухина! — жестикулировал Натансон.

— Герман Александрович, — подошел к Лопатину Савинков, — это невозможно, вы верите Лопухину?

— Конечно. На основании таких улик убивают.

Савинков был, как пьяный, болела передняя часть головы, он бормотал: — невозможно.

— Так как же вы объясняете роль Лопухина?

— Лопухин и Азеф. Я верю Азефу.

— Почему? Лопухин не заинтересован.

— Я верю, Азеф невиновен.

— Петр Алексеевич, но ведь это же полицейская интрига! Лопухин набрасывает тень на Азефа! — кричал Чернов, наседая на Кропоткина.

— Что же? Вера Николаевна тоже верила Дегаеву, — проговорил Кропоткин, снимая с себя руку Чернова.

Лопатин громко сказал:

— Объявляю сегодняшнее заседание суда закрытым.

4.

Вечером Савинков стоял у парапета Моста Инвалидов. Он думал в темноте о суде, об Азефе и о герое романа. «Если клевета и заблуждения Бурцева окажутся правдой? Неужели Азеф равен герою, плюнувшему в лицо человечеству? Ложь.» Но страшные, смутные ощущения наполняли душу. «Невероятно. Ложь. Бурцев заплатит дорого за это. Его едет убить Карпович.»

Сена стояла мутная, в красных, зеленых отраженьях огней. Под мостом, сжавшись, скрипели баржи. Савинков ощутил запах яблоков. Нагнувшись, увидел, баржи гружены яблоками. Постояв, он тихо пошел через мост — к Бурцеву.

5.

В дверях квартиры Бурцева Савинков столкнулся с Бэлой, одетой в пестрое манто, остаток петербургской конспирации террора.

— Вы тоже сюда? — странно проговорила Бэла.

— Здравствуйте, Бэла, как вы бледны, вы нездоровы?

— А разве вы здоровы?

Не простившись, не здороваясь, Бэла зашелестела пестрым, дорогим манто, нешедшим к ее нехорошей фигуре.

— Очень рад, что зашли, Борис Викторович, — среди книг, бумаг, газет, фотографических карточек говорил Бурцев. — Вы меня уж простите, вас считаю

ведь единственным честным противником. Садитесь пожалуйста, — улыбался выставленными зубами седенький, узенький Бурцев.

— То есть вы, Владимир Львович, полагаете, что есть товарищи, ведущие себя на суде нечестно?

— Темна вода во облацех, Борис Викторович. Не верю, конечно, чтоб кто-нибудь из ЦК знал об одно-временной работе Азефа в департаменте. На суде я достаточно обрисовал атмосферу коррупции в ЦК, чтоб понять почему проходили мимо подозрений. Но посудите сами: всякому непредубежденному человеку после моего доклада ясно, Азеф предатель. И вот тут-то простите за откровенность ЦК делает фортель. Спасай мол самих себя! Спасай партию! Пусть, мол, даже Азеф и предатель, но оглашать — ни-ни. Произойдет восстание периферии против центра, потеря лавров, постов, чинов, орденов, — захохотал Бурцев. — Да что там говорить, партия конечно сильно закачается, может даже и не оправится. Вы понимаете, что произойдет когда везде будет напечатано: глава партии Азеф — агент полиции. Ведь это же факт мирового масштаба, Борис Викторович! Небывалый случай в истории! Сенсационный! Во всех странах заговорят.

— Если б это была правда.

— А это правда, Борис Викторович. Только партия не хочет роскоши правды. Партии выгодней другое, — Бурцев засмеялся, выставляя передние, прокуренные зубы, — покарать Бурцева за роскошь правды.

— Хотите сказать — убить? — сказал Савинков, поняв зачем к Бурцеву приходила Бэла.

— Разумеется.

Савинков улыбнулся монгольской улыбкой.

— Ведь становясь на партийно-генеральскую точку зрения, Борис Викторович, выход из дела ясен: — Азеф предал многих товарищей, но их уже повесили, стало быть — не вернуть. «Что прошло — невозвратимо». А разоблаченный Азеф покрывает партию позором. Так лучше покрыть сосновой доской Бурцева,

чем позором партию. Концы в воду. А Азефа отвести под ручку: — поставь, мол, акт мирового масштаба с рекламой на весь мир — убей, мол, царя — реабилитируй себя и отойди в сторонку, поезжай скажем в Южную Америку плантации разводить. Дегаев был много мельче и то во искупление грехов убил полковника Судейкина и получил индульгенцию. Ну а Азеф, знаете, многое может, хитрейшая бестия, голова не дегаевской чета. Царя-батюшку за милую душу кокнет и не вздохнет.

— Владимир Львович, — перебил Савинков, ему было трудно начать, ибо Бурцев говорил не переставая, — у меня мозги заворачиваются, когда я вас слушаю. Неужели вы действительно верите? Поймите же, что Азеф ни в чем не виновен. Это ваш кошмар, навождение. Во всех нас мысли нет о подозрении, малейшего колебания нет.

— Какое же колебание, — захохотал Бурцев, — когда Бэла приходит, прямо говорит, что пустит мне пулю в лоб. Тут не до колебаний, знаете.

— Я пришел к вам говорить совершенно искренно, Владимир Львович. Скажите, как на духу: — неужто ж не навождение? неужто ж вы сами то твердо, каменно убеждены?

— Каменно убежден, — проговорил Бурцев.

— Не допускаете мысли, что Лопухин с Бакаем играют с вами в игрушку?

— Хороша игрушка! Да знаете вы, что Бакай разоблачил до 30 провокаторов! Докопался до таких столпов, как польский писатель Бржозовский, властитель дум революционной молодежи! А Лопухин? Да вы бы видели его лицо? Для чего ему лгать? Ведь я же нашел его, а не он меня?

— Невероятно, — бормотнул Савинков, — ничего не понимаю, но ни на минуту, понимаете, ни на минуту не допускаю мысли.

— А кстати, где Азеф? — как бы не расслышав, сказал Бурцев.

— На днях приезжает. Был в Испании.

— В Испании? Недурное местечко. А скажите, Борис Викторович, правда, что Карпович тоже едет в Париж?

— Писал.

— Убивать меня едет?

— Писал и это.

— Так-так, — проговорил Бурцев. — А знаете, как он освободился? Нет? Так я расскажу вам: — после бегства из Сибири, он встал во главе отряда в Петербурге, неправда ли? Ну вот, его совершенно случайно арестовали на улице. Но Азеф, зная, что Карпович верит в него как в бога и берется в меня стрелять, защищая его честь, не перебивайте, не перебивайте, вместе с Герасимовым отпускают его из тюрьмы. Да, да, посудите сами, какой вздор разыгрывается среди бела дня. Опасного террориста, шлиссельбуржца, убийцу министра Боголепова, главу отряда перевозит из тюрьмы в тюрьму околодочный на простом извозчике. Больше того, у аптеки околодочный, кстати сказать, переодетый Доброскок, «Николай золотые очки», слезает и говорит Карповичу: — «посиди, я сейчас приду». — Выходит из аптеки, видит, что Карпович сидит, не догадался. Поехали дальше. Околодочный останавливается у какого-то магазина, опять «посиди». Но тут уж Карпович догадывается, бежит. И к кому же? Прямо на квартиру к Азефу.

— Вы хотите, стало быть, сказать, что полиция и Азеф отправляют террориста с незапятнанным именем убивать вас?

— Конечно! Именно так, Борис Викторович! А вы думаете, что в департаменте все уж так и лыком шиты. Да там, батюшка, такие Мак-Магоны сидят, такую тончайшую инквизицию разводят, что сам бы Торквемада в восторг пришел. Это маги, Борис Викторович, маги своей техники!

— Владимир Львович, невозможно, — хохотал Савинков, — вы больны шпиономанией, больны! Магикальные, навязчивые идеи! И все сходится как в

аптеке! Сверхъестественно и феноменально! Но поверить хитросплетению, не обижайтесь, никак не могу.

— Да я и не обижаюсь. Я же знаю, что если меня Карпович и Бэла не убьют до окончания суда, вы решительно во все поверите. Даже, пожалуй, Чернову и то придется поверить, хотя он этого уж как сильно не хочет!

— Если суд вас оправдает, мы пойдем на конфликт с судом, — вставая проговорил Савинков, — вы понимаете, что это не укладывается в голове. По-ни-ма-е-те? — сказал он, указывая на лоб пальцем. — А если это будет правдой, то надо понять и то, что все провокаторы взятые вместе не нанесли бы такого удара террору, какой наносите вы, террорист Бурцев. Ведь вы же сами сторонник террора?

Бурцев сделал вид, что не расслышал фразы и вставая сказал:

— Тогда б и суда не нужно. Только вот что, Борис Викторович, когда увидите с Азефом, так уж, простите за напоминание, о Лопухине ни слова.

— Мы дали слово суду.

— Ах, знаете, дружба великая вещь, — захохотал Бурцев, выставляя прокуренные зубы. — Прощайте. А мучаетесь вы душевно, Борис Викторович? Ох, еще как помучаетесь, когда узнаете с кем людей убивали.

— А это мы увидим, — сказал, выходя, Савинков.

6.

В этот день на парижских извозчиках ехало много разнообразных людей. Но едва ли был более встревоженный и беспокоящийся седок, чем тучный господин в легком песочном пальто и светлой шляпе.

Извозчик вез его в узком кабриолете на рю де ля Фонтен с средней скоростью, сдерживая кабриолет на углах, где неслись потоки встречных экипажей.

Уж вечерело. Сеял дождь. Господин в песочном пальто и светлой шляпе волновался не потому, что был

без зонта и светлая шляпа могла испортиться. Даже не потому, что ревматически ныли ноги. В сырую погоду мог, конечно, разыгаться ревматизм. Но господин просто боялся, что вот сейчас, на рю ля Фонтен, в квартире «Мальмберг», он будет убит.

«Аргунов мог дать телеграмму, разоблачение может быть с минуты на минуту». Азефа передернула судорога. Он всматривался в номера домов.

— Иси, иси, — забормотал он и, остановив извозчика, слез.

Он перешел на обратную дому Савинкова сторону. И шел походкой вора, идущего на дело. Он кутался в тени домов, в подъездах. Не доходя остановился. Отсюда видел: — окна квартиры Савинкова освещены, за ними мелькают человеческие тени. «Собрание. Может кончено?» Тени в окнах замелькали толпой. Отхлынули. Окна стали чисты и светлы. «Уходят». Азеф почти отбежал к следующему подъезду.

Он видел, как выходили. Узнал всех. «Боевики». Сердце захолонуло и упало. Вот — Савинков с непокрытой лысоватой головой, в одном пиджаке, провожает. Прощается с двумя женщинами — Рашель и Бэла. За ними — Вноровский, Слетов, Зензинов, Моисеенко. Услышать хоть бы самое короткое слово. Он видел, как помахал рукой Савинков, повернулся и пошел в дом.

«Ерунда», — мотнул бычьей головой Азеф и наискось стал переходить улицу.

7.

И все же сердце билось не оттого, что была крута лестница. Азеф поднимался тяжело, останавливался в пролетах поворотов.

В кабинете был зеленоватый полусумрак от стоявшей на письменном столе лампы. Азеф вошел за Савинковым усталой походкой. Лицо словно налилось водянистым жиром. И ярковывороченные губы каза-

лись краснее обычного. По лицу, походке Савинков увидал в нем волнение. Азеф сел возле стола, от абажура толстое лицо стало зеленым.

— Расскажи подробно обо всей этой гадости, — пробормотал он. — Как это меня измучило и разбило.

— Страшен чорт, Иван, да милостив бог. Конечно неприятно, но сейчас у меня были боевики, для всех ясно, что Бурцеву при обвинении его судом, ничего не остается, как пустить пулю в лоб. Он даже сам так сказал Бэле.

— Так сказал? — скороговоркой проговорил Азеф.

— Да. Главный козырь — охранник Бакай, бежавший из Сибири; он был сослан за связь с Бурцевым.

— Я ему давал деньги на побег, — пробормотал Азеф.

— Бурцев говорил, что ты приходил вместо Чернова. Он тебя и тут обвиняет, маньяк. Говорит, что департамент по твоему распоряжению дал телеграмму об аресте Бакая в Тюмени и будто только совершенно случайно Бакай бежал.

— Какая чепуха, — прохохотал Азеф. — Ну а дальше?

Савинков рассказывал о суде.

— А что это за «сенсация»?

— Какая сенсация? Ах да, Бурцев называет это «сенсацией».

— Что это такое?

— Я не вправе это сказать, Иван.

— Почему? Ты дал слово?

— Дал.

— Жаль, — проговорил Азеф. Савинкову показалось, что Азеф побледнел, но свет был зелен, разобрать было трудно. — Опять какой-нибудь Бакай?

— Чиновник полиции.

— Высший?

— Довольно.

Азеф смотрел на Савинкова в упор.

— Неужели же ты мне не скажешь, Борис? Лопухин? — делая улыбку сказал Азеф.

— Может быть, Лопухин. Я дал слово, Иван. Я тебе ничего не говорил.

Азеф отвел глаза, вздохнул животом, после молчания проговорил быстрым, гнусавым рокотом:

— Так ты говоришь, Кропоткин подозревает двойную игру с моей стороны?

— Да.

Азеф помолчал, ухмыляясь. И вдруг рассмеялся резко, звонко, на всю комнату.

— Да конечно. Не очень то вы умны, чтобы вас нельзя было обмануть. Вас действительно ничего не стоит обмануть. Бурцев врет вам. Приводит «сенсации», а вы... хороши товарищи. Ну, Кропоткин из ума выжил, ему все может притти в голову, а вы?

— Почему мы? Ты так говоришь, будто мы в отношении тебя что-то упустили?

— Мы не должны были идти на суд, — зло проговорил Азеф, — это была фантазия твоя и Виктора, что Бурцев будет разбит в две минуты и что я выйду из всей этой грязи сухой. Вам до моего душевного состояния не было никакого дела. — В мгновенном, змеином, плоском взгляде Савинков ощутил ненавидящую злобу, которую знал нередко.

Азеф сидел, сложа руки на животе. Он был, как безобразный Будда.

— Ты бросаешь упреки, это только неблагодарность. Если ты думаешь, что тебя плохо защищают, иди сам на суд, опровергай вместе с нами, говори. Я считаю, это было бы хорошей защитой дела.

Азеф взглядывал искоса.

— Я думал, вы, как товарищи, с которыми пуд соли съел, защитите.

— Мы делаем все, что можем, Иван.

Азеф молчал. Савинков знал и этот переход от отчаянной злобы к ласковости, почти нежности. Азеф улыбался, не меняя позы. Потом хмурясь, проговорил:

— Так ты думаешь, лучше, если я явлюсь на суд?

— Конечно.

Азеф откинулся. Савинков увидел громадный, зобастый подбородок и шею в белом воротничке и красноватом галстуке.

— Нет, — проговорил он. — Этого я не могу. У меня нет сил на эту гадость итти, возиться. — И эту перемену Савинков знал, она была редка, но он ее видел. Азеф казался внезапно разбитым, подавленным.

— Эта история, — проговорил он, — меня совсем убьет, если вы не положите ей конец... Убить бы эту гадину Бурцева...

Играя коробкой спичек, Савинков сказал.

— Немыслимо. Скандал, а не реабилитация.

Азеф молчал.

8.

Ночью, когда Азеф вошел в комнату, Хеди проснулась, зажмуриваясь от зажженного света. Азеф ощущал озноб, проигрыш, гибель, ужас. Увидев выпроставшиеся руки, половину груди, раздумяившиеся ото сна щеки, даже не выговорил слов. Тихо, быстро раздевался. Шлепнув босыми ногами, скользнул голый, громадный, накренил матрац. Он походил на отчаявшуюся обезьяну. Хеди ждала его и обожгла горячими ногами.

9.

События развивались стремительным детективом. Менялись. Колебались. Но вдруг узнали все, что Азеф ездил не в Берлин, в экспрессе носился к Лопухину, в Петербург, именем детей умоляя пощадить его, не выдавать революционерам. За Азефом у Лопухина зазвенел шпорами генерал Герасимов, грозя именем Столыпина, смертью. За Герасимовым к Лопухину вошел следователь партии Аргунов.

— У меня были Азеф и Герасимов, — сказал Аргунову Лопухин. — Меня обещают арестовать, сослать

в Сибирь за государственную измену. Это меня не пугает. Но не думайте, что я выдаю революционерам Азефа из-за сочувствия революции. Я стою по другую сторону баррикад. Я делаю это из-за соображений морали.

10.

Собрав последние силы, Азеф ехал в Париж. От генерала Герасимова было четыре паспорта, две тысячи рублей на побег. Герасимову он оставил завещанье в пользу семьи, прося помочь ей, если его убьют в Париже.

Азеф приехал к Любви Григорьевне на Бульвар Распай № 245. И без Хеди был беспокоен. Оба сына были при нем. Мысль, что убьют именно тут, на глазах жены и детей была невыносима.

— Ваня, господи, как ты изменился, как они тебя мучат и за что? За то, что ты десять лет ходил с веревкой на шее? Негодяй, этот Бурцев...

— Ну хорошо, хорошо, не скули, без тебя тяжело, — и Азеф прошел в комнату детей. Сев там, он рассматривал школьные рисунки сына. Любовь Григорьевна готовила завтрак. Азеф листал и листал рисунки. Пока не понял, что не видит их, а листает от непокидающего страха.

— Ваня! — крикнула Любовь Григорьевна. Азеф вздрогнул. И в тот же момент раздался звонок.

«Они», — подумал, вскакивая, Азеф, желая предупредить жену, бросился в коридор. Но Любовь Григорьевна уже открыла. И он увидал: — Чернова, Савинкова и боевика Павлова.

— А, Любовь Григорьевна! — хохотал в дверях Чернов. — А мы к Ивану! Дома?

Азеф, молча, шел из темноты навстречу им медленными шагами.

Поздоровавшись, не глядя повел в крайнюю комнату, в свой кабинет. Грузно сел за стол, слегка приоткрыв ящик, где лежали два револьвера.

— В чем дело, господа? — проговорил Азеф. Оглянувшись, увидал, что они стоят, загородив выход.

— В чем дело? — собирая силы, чтобы скрыть волнение, дрожанье челюстей, проговорил Азеф.

Чернов вытащил из кармана сложенный вчетверо лист.

— Прочти документ, Иван. Из Саратова.

Савинков стоял необычайно бледный, узких глаз не было видно, губы словно вдавились, вид был бессонен и болезнен. Павлов глядел спокойно на Азефа.

Савинков видел как, белея, Азеф встал спиной к окну, начав читать разоблачающий документ, но он не читал, он только собирал силы, чтоб оторваться.

Овладев собой, Азеф грубо проговорил:

— Ну так в чем же однако дело?

— Нам известно, — сказал Чернов, — что 11 ноября ты ездил в Петербург к Лопухину.

Азеф ответил спокойно.

— Я у Лопухина никогда в жизни не был.

— Где ж ты был?

— В Берлине.

— В какой гостинице?

— Сперва в «Фюрстенхоф», затем в меблированных комнатах Черномордика «Керчь».

— Нам известно, что ты в «Керчи» не был.

Азеф захохотал звонким смехом, который так хорошо знали Чернов и Савинков.

— Смешно, я там был...

— Ты там не был.

— Я был! — бешено закричал Азеф. — Что за разговоры! — Азеф выпрямился, подняв голову. — Мое прошлое ручается за меня! Я не позволю!

Тогда Савинков приблизился, держа руку в кармане. Он был синевледен. Азеф смотрел ему в глаза.

— Если ты говоришь о прошлом, — глухо сказал Савинков, — скажи, почему в покушении на Дубасова, когда карета ехала мимо Владимира Вноровского — у него не было бомбы?

— Это ложь! — бледнея, проговорил Азеф, у него дрожали ноздри и губы. — У всех метальщиков были бомбы. Карету Дубасова пропустил Шиллеров. Я не знаю почему.

— Мы допросили Вноровского. Дубасов проехал мимо него. Но у него не было бомбы. Ты ему не дал.

— Ложь! — закричал Азеф. — Было так, как я говорю!

— Стало быть Вноровский лжет?

— Нет, Вноровский не может лгать.

— Значит лжешь ты? — Савинков смотрел в упор дрожащим лицом. Азеф был бел, но каменен, собрал последние силы.

— Нет, я говорю правду.

— Подождите, Павел Иванович, мы должны сначала выяснить вопрос о Берлине, — перебил Чернов.

— Иван, зачем ты ездил в Берлин?

— Я хотел остаться один, Виктор. Я устал. Я хотел отдохнуть. Я думаю, это понятно.

— Почему ты из «Фюрстенхоф» переехал в «Керчь»?

— В «Керчи» дешевле.

— Так ты переехал из за дешевизны? С каких это пор, ты вдруг стал расчетлив? Ты всю жизнь жил глухими ассигновками и, кажется не копейничал?

— У меня были и еще причины.

— Какие?

— Это не относится к делу.

— Ты отказываешься отвечать?

— Я переехал из за дешевизны. Остальное не касается дела.

— Скажи, как ты понял мои слова, — проговорил запинаясь Савинков, — когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу, сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции и разрешил сообщить это мне?

— Я понял, что некто разрешил Бурцеву сказать это тебе.

— Некто — Лопухин, — проговорил Чернов. — Он не называл вовсе фамилии Савинкова. Но ты, со слов Павла Ивановича, понял, что Лопухин назвал его фамилию.

— Ну?

— И потому ты вошел к Лопухину со словами: — вы сказали Савинкову, что я агент полиции, сообщите ему, что вы ошиблись.

Вот сейчас дрогнул и стал зелен Азеф. И в тот же момент, прорезая пространство меж ними, заходил по комнате.

— Что за вздор! Я не могу ничего понять! Надо производить расследование!

— Тут нечего понимать, — повернулся Чернов. — Иван, мы предлагаем тебе условия, расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить тебя и семью.

Азеф услышал в этот момент, как отворилась дверь, из школы пришли мальчики и, зашикав, Любовь Григорьевна повела их коридором на ципочках.

— Иван, скажи все без утайки. Разве ты не мог бы поступить так, как Дегаев? Ты мог бы больше, Иван.

Азеф ходил, молча. Голова была опущена.

— Принять предложение в твоих интересах.

Азеф не отвечал.

— Мы ждем ответа.

Азеф остановился перед Черновым, смотря в упор, в глаза, заговорил:

— Виктор, неужели ты можешь так думать обо мне? Виктор! — проговорил дрожаще. — Мы жили душа в душу десяток лет. Ты меня знаешь, также, как я тебя. Как же ты мог прийти ко мне с такими гнусными предложениями?

— Если я пришел, стало быть обязан прийти, — ответил Чернов, отстраняясь от Азефа.

— Борис! — проговорил Азеф, обращаясь к Савинкову. — Как же ты? Неужели ты, мой ближай-

ший друг, ты веришь в эту гадкую выдумку полиции? Господи, ведь это же ужасно!

— Мы сейчас уйдем, Иван. Ты не хочешь ничего добавить к сказанному? Ты не хочешь ответить на вопрос Виктора Михайловича?

— Мы даем тебе срок до 12-ти часов завтрашнего дня, — проговорил Чернов.

— После двенадцати мы будем считать себя свободными от всяких обязательств, — подчеркивая, произнес Савинков.

11.

Азеф стоял посредине комнаты. Он ждал, чтоб захлопнулась дверь. Он слышал любезный хохот Чернова с Любовью Григорьевной. Слышал, что-то сказал Савинков. Дверь хлопнула. Тогда он сел за стол, схватился за голову и вместе со стонами почувствовал смертельную боль в висках, ему показалось, что он падает. Когда Любовь Григорьевна вошла в комнату, он лежал полутуловищем на столе на своих руках.

— Ваня! — вскрикнула она. — Ваня! Что с тобой!?

Азеф испуганно поднял голову. Волосы были смяты, глаза мутны, дики. Не смотря в лицо жены, схватив ее руку, он проговорил страшным хрипом:

— Они убьют, Люба, не впускай никого, ради бога, если я не уйду сегодня, убьют.

Любовь Григорьевна зарыдала. Азеф был страшен, ужасен в отчаянном животном испуге.

12.

— Ну так как же, Виктор Михайлович?!

— Позвольте, товарищ!!

— Так чего ж позволять, убить или не убивать?

— Убить. То есть нет. Невозможно! ЦК против, я член ЦК!

— Но он уличен?

— Но ведь Натансон еще не убежден?

— Товарищи, он убежит! — кричит истерически голос боевички Поповой.

— Виктор Михайлович, новый моральный удар, он убежит!

— Конечно может, конечно, я знаю. Но если убивать, не во Франции. Рисковать составом ЦК? Невозможно. Где-нибудь в Италии, снять виллу.

Кто-то отчаянно хохочет: — Почему именно в Италии?

— Боже, какой ужас! какой ужас! — рыдает Рашель.

— Рашель милая, успокойтесь.

— Все оплевано, втоптанно в грязь, лучшее, светлое, Дора, Сазонов, Каляев.

— Уймите ее...

— Не убивать из-за спокойствия партийных бюрократов!!!???

— Ведь уже ночь, надо принять решение!

— Товарищи! — покрывает голос Чернова. — Ввиду сложности и невозможности найти выход, ЦК предлагает отложить вопрос!

— Но ведь он убежит! — кричит кто-то.

— Товарищи, с таким шагом нельзя торопиться. Поспешное убийство человека, занимавшего в партии пост, может вызвать смуту. Мы должны...

— Ваше мнение, Павел Иванович?

— У меня нет мнения. Убить. Отложить. Все равно. Можно убить сейчас же на глазах жены.

— Позвольте, но она верит в невиновность?

— Мать Татарова тоже верила.

— Товарищи! Завтра пленум! Отложим до завтра! Поставим дозор к квартире. Предлагаю товарищей Зензинова и Слетова! Кто за? Кто против? Все согласны?

— Я не согласен!

— Вы не согласны? Единогласно. Прекрасно. И Чернов поспешно выбежал из квартиры.

Эта ночь в квартире Азефа была ужасна. Дети спали спокойно. Но вид освещенного камином кабинета Азефа был необычаен: стулья сдвинуты, ширмы повалены, на полу бумаги, вещи, дверь раскрыта. Растрепанный, в одной рубашке, в помочах Азеф торопливо пробегал кучи бумаг, часть утискивал в чемоданы, часть бросал в пылавший камин. В спальне у темного окна, дрожа, стояла Любовь Григорьевна.

Отрываясь от укладки, Азеф выпрямлялся, с лицом полным испуга говорил:

— Что, Люба? Все еще там? А?

— Ходят, — из темноты отвечала Любовь Григорьевна.

— Ооооо... — рычал Азеф, стискивая голову руками, — убьют.

Любовь Григорьевна из-за угла всматривалась в темный бульвар де Распай, видела двух в черных пальто, тихо прогуливавшихся по противоположной стороне. Она знала, дозор партии — Зензинов и Слетов.

В час ночи два чемодана были стянуты. Но выйти из дома нельзя.

— Люба, — проговорил Азеф, — потуши везде свет, пусть думают, что лег спать... — И скоро в одном белье, так, чтобы его видели с противоположной стороны, Азеф подошел к окну, постоял, электричество потухло, фасад квартиры потемнел. В темноте Азеф сдевался. Любовь Григорьевна помогала.

— Господи, господи, — шептал Азеф, — ты пойми, Люба, ведь если рассветет, я не уйду от них, знаешь, надо итти на все, я переоденусь в твое платье...

— Ваня, ведь не полезет ничто,—дрожа, проговорила Любовь Григорьевна, — боже мой, какой ужас, какая гнусность, и это товарищи.

— Постой, я посмотрю из спальни.

Азеф подошел к портьеру, всматриваясь в улицу. По противоположной стороне шел народ. Мужчины, женщины застлали Слетова и Зензинова. Но вот они

прошли. Азеф увидел наискось от дома — стоят два господина. «Они». Азеф всматривался, как никогда ни в кого. «Но что это?» Азеф не верил глазам. Одна из фигур, Зензинов, он был выше Слетова, сделала странный жест. Слетов повторил жест, оба пошли по бульвару, уходя от квартиры.

— Люба, — вздрагивая, говорил Азеф, — пришла смена, теперь они наверное на этой стороне, уверен, пришел Савинков, на этой стороне мы их не выследим. Надо спуститься, из двора посмотреть.

Любовь Григорьевна уж одевалась, накинула платок и ушла задним ходом.

Азеф остался у портьеры. Сердце билось часто, сильно. Он держал правую руку на левой стороне груди, считая удары. По черной лестнице раздались шаги, почти что бег. Выхватив из кармана револьвер, Азеф бросился за дверь.

Вбежала Любовь Григорьевна.

— Ваня, Ваня, никого нет, никого, Ваня, беги, беги...

Азеф держал ее за руки:

— Ты уверена? Ты хорошо смотрела? Может быть где-нибудь в подъезде?

— Никого, везде смотрела, никого; я остановила за два дома извозчика, он ждет, беги, беги.

Азеф быстро оделся. Согнувшись под тяжестью чемодана, сбегала вниз с ним Любовь Григорьевна. Хотела обнять в подъезде, в последний раз, но Азеф рванулся из ворот и, оглядевшись, с чемоданами бросился к извозчику.

Любовь Григорьевна не успела обнять.

14.

Это было в пять утра, а в семь по бульвару Гарибальди бегом бежал возмущенный Бурцев. Вбежав к Лопатину, в дверях закричал, подняв вверх обе руки:

— Герман Александрович! Ужас!

— В чем дело?

— Упустили. Бежал ночью, — опускаясь на стул, проговорил Бурцев.

Шлиссельбуржец тихо качал седой, львиной головой,

— Скажем, вернее, не упустили, Львович, а отпустили, — проговорил он, горько засмеявшись.

— Помилуйте, на что это похоже! Позавчера группа добровольцев эс-эров предложила ЦК все дело ликвидировать собственными силами без всякого для ЦК риска. Так господа Черновы отклонили предложение: — Ради, говорят, бога не вмешивайтесь, вы все дело испортите.

— Что ж там, — усмехнулся Лопатин, — снявши голову, по волосам не плачут. Давайте-ка, Львович, кофейку выпьем.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1.

Во всех газетах мира писали об Азефе. В Германии, Франции, Америке, Австрии, Англии, Испании, Бразилии, Австралии, Аргентине. Сопровождали тему фантастическими вымыслами, уголовными орнаментами, психологическими домыслами. Азефа называли «инфернальным типом Достоевского», Бурцева — «Шерлок-Хольмсом революции». Впрочем, так назвал себя Бурцев сам в книжке серо-зеленого цвета с разрывающейся бомбой «Полицейские и террористы». Бурцеву понравилось, что его фотографируют, в журналах помещают рядом с Азефом, показывают в кинематографах. В первый год на деле Азефа он заработал 100.000 франков. Седенький старичок с раскрытым ртом, выставленными прокуренными зубами внезапно перестал понимать, что в его «успехе» замешана кровь. Окружившись провокаторами, он разыскивал новые сенсации.

Не то случилось с ЦК. В прессе, обществе говорили, что предательство шире. Что ЦК знал об Азефе многое, скрывая, ибо Азеф был выгоден партии. Незаслуженная грязь летела в Чернова. Он говорил речи до спазм горла. И все же ненависть не гасла. А после самоубийства боевички Бэлы, застрелившейся оттого, что Бурцев по безалаберности и недостатку времени спутал ее с провокаторшей Жученко, а Чернов слишком длительно допрашивал, вспыхнула с новой силой. Молодежь взорвала и фраза Савинкова, брошенная в пылу споров. Он сказал, что «каждый революционер — потенциальный провокатор». Сказал то, что не хотел сказать, а может быть не удержал подуманного, он был невменяем: — ночи перед виселицей казались легче ночей после бегства Азефа.

Савинков ночами ходил по кабинету, курил, садился, вставал, пил, снова ходил, похожий на крутящегося в клетке зверя. Думал ли он о чем? Вряд ли мог думать о многом. Не думал об ужасе смерти товарищей на виселицах, о поражении дела, о том, что ЦК смешан с грязью. Это выдавливалось из черепа узнанием, что им, революционером Савинковым, пять лет играл провокатор.

Савинков останавливался, сжимал руки, бормотал. До чего теперь все было ясно! Выплыли двусмысленные разговоры, осторожные расспросы, неосторожные допросы, нащупыванья, выщупыванья. Савинкову казалось, что у него нет дыханья. Знал теперь, почему в первом покушении на Плеве они были брошены, почему отстранилось убийство Клейгельса, сорвалось Дубасова, зачем в охряном домике отдавалось приказание замкнуть ворота Кремля, как была распущена БО. Вспоминал, как целовал мясистыми губами Азеф, отправляя на виселицу, как выступал Савинков в ЦК, говоря о совместной усталости и совместном сложении полномочий.

«Говорил от имени департамента полиции!», — проговорил Савинков вслух и захохотал. Он стоял с стаканом вина посреди комнаты.

2.

Ночь была тиха. В квартире звуков, кроме шагов, не было. Савинков чувствовал разбитость, бессилие. «Игра в масштабе государства, быть может в масштабе мира, так ведь это ж гениальная игра?» Вместе с ненавистью, позором выплывало страшное чувство восхищения, которое надо было подавить. — «Ведь это ж герой романа, в жизни правой ветром и пустотой? Сазонов, Каляев, Азеф их целует. Бомбу вместе с их руками мечет действительный статский советник, обойденный по службе!» — Савинков хохотал: над собой, над партией, над ползущим глетчером!

Сидя в куртке и теплых туфлях, он перечел главу романа, кончавшуюся размышлениями Жоржа: — «А если так, то к чему оправдание? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, скажут, убийца, когда теперь говорят герой? Но на что ж мне чужое мнение?»

Савинков хотел развить эту главу в апологию самоти, единственности Жоржа. Но чувствовал внутреннюю помеху. Словно попало что-то в душу, волочится, тормозя. Это было, начавшее биться, стихотворение — об Азефе:

«Он дернул меня за рукав,
Скажи, ты веришь?
Я пошел впереди помолчав.
А он лохматый,
Ты лицемеришь!
А он рогатый,
Ты лгать умеешь!
А он хвостатый,
Молиться смеешь!
А он смердящий,
В святые метишь!
А он гремящий
Ты мне ответишь!

На улице зажигались поздние фонари
Нависали серые крыши.
Я пошел тише.
И вдруг услышал:
Умри!»

3.

— Стало быть товарищи,—проговорил В. М. Чернов, председательствуя на заседании ЦК, потряхивая седо-рыжей шевелюрой.—Поступило от товарища Павла Ивановича заявление с предложением возрождения БО под его руководством. В первую очередь для реабилитации террора предлагает он центральный акт. Вопрос, товарищи, разумеется, ясен, реабилитировать террор должно и центральный акт был бы самым, разумеется, нужным партии актом, но есть тут товарищи, «но» и оно именно вот в чем: — можем ли мы выдвигать Павла Ивановича в начальники БО? Прошу высказаться товарищей о Павле Ивановиче, а сам скажу следующее. — Как сейчас помню, сказал мне раз сам Азеф о Павле Ивановиче так: — черезчур он импрессионист, черезчур неровен для такого тонкого дела, как руководство террором. А уж он то, Азеф, понимал, товарищи, ничего не скажешь. Да и Гершуни недолго с Павлом Ивановичем встречался, а пришел как-то ко мне и прямо сказал: — Ну, говорит, знаешь, этот ходульный герой не моего романа. Я ему говорю о Плеве, о Сергее, а Григорий свое:—нет, не знаю, говорит, чем он был, вижу только, чем он стал, мы, говорит, можем считать, что его не было. Вот, товарищи, что сказал такой тонкий в этом деле и понимающий человек, как Григорий, а мы вдруг, после провала Азефа, выдвинем Савинкова в главы БО, что ж из этого выйдет, товарищи? Да ровно нарочно ничего, товарищи, не выйдет. Прошу высказаться.

— Я буду краток, товарищи, — встал Минор, опираясь на стул,—полагаю, что кандидатура Павла Ивановича в начальники БО сейчас в столь ответственный

момент едва ли возможна. Черезчур он скомпрометирован близостью с Азефом, не знаю даже, пойдут ли за ним боевики? Слишком много у Павла Ивановича врагов. Я против этой кандидатуры, товарищи.

— Да, что Савинков! — резко заговорил чернобородый Карпович, — куда ему там в главы БО? Без Азефа не тот, эффектен, слов нет, да кишка коротка — пустоцвет!

— По моему мнению, товарищи, — сказал Слетов, — Павел Иванович даже едва ли лично поедет на террор в Россию. Уж не тот человек, в нем, товарищи, произошел какой-то надлом, что-ли. Он все пишет роман о «праве на убийство», сомневается в том, что делал, как террорист. Как же может встать он во главе БО? Не знаю, товарищи.

— Я думаю, — встала Чернова, — что Павел Иванович никогда и не был подходящ для такой ответственной роли, как руководитель БО. Павел Иванович это аристократ партии, революционный кавалергард, свысока смотрящий на массовиков-штафирок. Не думаю, товарищи, чтобы за таким человеком пошли сейчас товарищи-боевики.

— Я недавно, товарищи, — сказал член военной группы Лебедев, — говорил с Павлом Ивановичем о реабилитации террора и он развивал мне свой план центрального акта и план организации новой БО. Признаюсь, мне не сильно это понравилось. Павел Иванович говорил о новых началах организации, а когда я спросил его, каковы они должны быть, он заявил, что принцип организации — военный. Дисциплина и иерархия. То есть стало быть нужны рядовые БО, офицеры БО, я его спрашиваю, ну, а генерал БО? — Да, — говорит, нужны и генералы. После провала одного генерала, полагаю, товарищи, как бы не вышло чего нехорошего. Принцип иерархии показал нам, что это значит.

— Да, да, товарищи, — снова заговорил Чернов, — все это верно, Павел Иванович под разлагающим влиянием Азефа при этом самом генеральстве стал дей-

ствительно уж даже и не революционером как бы, а просто, так сказать, «решительным человеком», — захохотал Чернов.

— Кхе, кхе, кхе, — закашлялся кто-то глубоко и длительно.

Перед заключительным голосованием встал Потапов. — Товарищи, — проговорил он, — все это хорошо и то, что говорилось даже верно, но ведь кроме Савинкова никто не берется за эту работу? А реабилитация террора необходима. За Савинковым же, что ни говорите, опыт, акты, знание дела. Если отведем кандидатуру Павла Ивановича, кто же возьмет на себя организацию новой БО?

Наступило замешательство.

4.

Савинков проводил ночи в кабаках Монмартра. Ему хотелось одиночества. Пил в пахучих отелях с рванью последнего разбора. Но ведь он же почти не видел эту окружающую его рвань. За аппетитами, винами владела мечта. Решил встать во главе новой БО. Уж видел жалкую фигуру русского царя, карету которого рвет Борис Савинков. Но трясясь ночами на дешевеньком извозчике из монмартрских кабачков, знал, что это неправда, это пьяный сон. Он один знал это.

5.

На переговоры с ЦК он приехал в черном. В смокинге с красной гвоздикой в петлице. Не извинился за костюм, бросив, что с вечера артистки Гранд Опера. Небрежно, надменно, Чернову показалось даже нагло, словно не добивался руководства, Савинков стал договариваться об условиях.

— У вас Павел Иванович акт то уж намечен?

— Центральный.

— Ну и прекрасно, в данный момент, после Азефа, цареубийство именно спасло бы престиж партии. Так что же? Товарищи вам доверяют, опытность ваша известна, ЦК выражает доверие, не пуху не пера стало быть, подпишем?

Савинков, не читая, подписал договор с ЦК.

«1. БО партии с. р. объявляется распушенной.
2. В случае возникновения боевой группы, состоящей из членов п. с. р. под руководством Савинкова, ЦК а) признает эту группу, как вполне самостоятельную независимую в вопросах организационно-технических, б) указывает ей объект действия, в) обеспечивает ее с материальной стороны деньгами и содействует людям, г) в случае исполнения ею задачи разрешает именоваться БО партии с. р., 3. настоящее постановление остается в силе впредь до того или другого исхода предпринятого БО дела и во всяком случае не более года».

Поблескивая лакированными туфлями, закладывая в боковой карман договор, Савинков вышел из квартиры Чернова. Ехал в ветре открытого автомобиля. Откинутая фигура была эластична. Любил быструю езду против ветра.

6.

Боясь провокации, Савинков составил террористическую группу из старых товарищей. Из Парижа стал готовить цареубийство. Уже первые сведения пришли: — трое боевиков начали в северной столице слежку за выездами царя из Царского. Савинков отдал распоряжение готовить динамит в уединенной вилле в Нейи. Бесконтрольное обладание людьми и деньгами, сопряженное с ответственностью, доставляло удовлетворение.

Савинков любил боевиков. Знал, каждого пошлет и каждый пойдет на смерть. Больше других любил молодого Яна Бердо, поляка с аристократически-воен-

ной внешностью, умением держаться, пить и есть. Поэтому дал ему кличку «Ротмистр».

«Ротмистр» любил жизнь. В нем были утонченные страсти. Вместе бывали завсегдатаями скачек в Лонгшамп. И желтые людишки вертящиеся у тотализаторов безошибочно узнавали их котелки.

Холодный для мало знакомых, заносчивый с врагами, пренебрежительный острослов, Савинков с товарищами был ласков. Но чаще искал одиночества с романом. За романом, давая отчеты души.

7.

День был разорван, часто отрывали от работы, звонили, вызывали на явки. Когда Савинков остался один, испытал удовлетворенное чувство одиночества, дающееся сильно усталым.

В полутемноте сидел Савинков. В тишине скрипела кожа кресла. Ни враг, ни друг не знал, о чем думал. Он думал, что герой романа Жорж это «Савинков доведенный до конца». Героя он сделал переходящим все границы, потерявшим обоняние. Жорж сильный зверь. Убивать генералов будет потому, что ему не нравится красная генеральская подкладка. Убьет всякого, кто встанет на дороге. Оттолкнет тех, кто любит. Савинков вспомнил Нину. Не было ни жаль, ни не жаль. «Цифра жизни. Баланс не сошелся, сбрасывается. Все покрывается бессмыслием смерти. Смешны грани, рамки, если все умирает. Только поймите, как смешны».

Ночь Савинков работал над романом. После сидел склонясь за зелено-освещенным столом. Сводил полученные донесения от боевиков из России. Полученное неделю назад говорило, наблюдение поставлено, два раза кортеж царя был замечен. Даже удалось несколько двигаться за ним. Если бы на месте была вся организация и бомбы, может быть удалось бы — убить. Последующее было тревожно. Один из ве-

душих наблюдение заметил слежку, принужден скрыться, другие стали осторожнее. Товарищи ждали, звали, просили Савинкова скорее ехать в Россию, нанести центральный удар, реабилитировать террор.

Савинков задумывался. Лицо было зелено, как у трупа, еле заметно улыбался. Этого никто не знал: — не было сил. Он знал, по приезде в Россию, когда не нужен Азефу, когда он только террорист, сорвавшийся с виселицы, его схватят, повесят. И что же? Разве всю жизнь он не шел на виселицу? Разве в Севастополе она была далека, когда вышиб табуретку Азеф? Разве он трус? Виселица не страшна, он не трус. Но в этот момент он ненавидел Азефа. Урод убил, оставив жить. Савинков с отчетливым отвращением ощущал: — он обманул ЦК, не поедет, нет сил. Он знал усталость переломленной пополам души.

«Усталость. Обманываю ЦК? Чернова? Да я ненавижу их, как мелкую человеческую сволочь. Я играл с петлей. Пусть играют другие». Но тут же представлял: — Невским проспектом мчатся конвойцы на белых конях, коляски, кареты, филеры и полиция оцепили кварталы, выезд слабого, тщедушного Николая Романова несется и вот: — Взрыв! Карета взлетает на воздух. Кто? Николая Романова взорвал Борис Савинков!

Подперев голову, думал: — «А, действительно, не поехать ли?» Савинков был зелен в свете абажура, как труп.

8.

Он снял наблюдение за царем, вызвав босвиков за границу: — шли тревожные подозрения Яна Бердо и «Миши Садовника». Пока съезжались — Слетов, Вноровский, Зензинов, Бердо, Прокофьева, Моисеенко, Чернавский, Миша-садовник», — Савинков посвящал дни Парижу и одиночеству. Днем его видели на скачках в Лонгшамп. Вечерами в богатых барах с блестящими кокотками. Ночами, чувствуя сладостную

тоску, в приступах которой можно было всадить нож в сердце. Савинков ехал в кабаки низкого пошиба. Бледного, изящного барина там любили, потому что в нем, как говорила старая Мари, живет «наша душа».

Иногда он писал стихи. Они выходили больные, кровавые. Каждый день, казалось, топился темной тоской, от которой на двадцать минут спасали женщины.

Откуда шла тоска? Он знал. Но когда захватила, наполнила, понесла, когда стало все безразличным? Он знал тоже. Знал, что не убьет царя, что напрасно ездили по Петербургу боевики в извозничьих армяках, ходили папиросники. Знал, их могли повесить. Но что ж делать? Он признался б тому, кто б понял. Рассказал бы, как горела, выгорала и выгорела душа.

9.

Заведующий наружным наблюдением русской политической полиции в Париже, сыщик Анри Бинт стар и опытен. Исполнял тончайшие поручения. По приказу царя наблюдал за братом царя Михаилом, женившимся на Наталии Вульферт. Пронырливость Бинта превзошла царские мечтания. В церковь св. Саввы на бракосочетание Михаила с Наталией Вульферт проник Анри Бинт. Он не виноват, что опоздал прибывший от царя генерал Герасимов.

О, Анри Бинт злая штука! Он доставил царю фотографию ребенка Наталии Вульферт. И именно ему особым чиновником от Герасимова, привезшим секретные бумаги касательно боевиков, поручено тщательное, ни на шаг неотступное наблюдение за Савинковым.

Слежка удовлетворяла Бинта. Джентельмены, заговаривавшие на скачках в Лонгшамп, кокотки Мулен Руж, коты, проститутки на дне парижских кабаков оплачивались. До запятой выписывал в дневник наблюдений жизнь Бориса Савинкова Анри Бинт.

Только вначале удивлялся Бинт, зная опытность своего партнера. Поражало: — партнер не защищается. Даже не оглядывается, идя улицей.

10.

На пароходах из Гамбурга и Марселя стягивались боевики в Лондон. Под видом туристов недалеко от Чаринг Кросса состоялось в отеле заседание. Савинков был бледен, устал. Перед собранием завтракал в зале отеля сырым ростбифом и пил виски. Сидевший Ян Бердо сказал, что он пьет больше обычного.

Но когда собрались товарищи, первое что почувствовал Савинков: — невозможность руководить подчиненными волями. Силы истрачены, пустота. Подавленная молчаливость от провала работы, от подозрений, что снова в террор впивается провокация, действовала. Он медлил открыть собрание, разговаривая то с матросом Авдеевым, то с Бердо, то расспрашивая Зензинова о впечатлении от России, то говоря с Вноровским о самоубийстве Бэлы. И оттого, что ждали, оттого, что собрание не открывалось, оттого, что Яна Бердо подозревали в провокации, состояние боевиков было тягостное. Савинков, ревниво вглядываясь в лица, ощущал боль самолюбия: — не верят. Чувствовал самое страшное: — теряет самообладание.

Ян Бердо был развязен, смеялся. Знал, что в провокации подозревают именно его, что вопрос будет обсуждаться. Смеялся потому, что не было фактов и близость с Савинковым, родившаяся в кабаке, тотализаторе, за остроумием ницшеанской беседы, — защитят его.

— Объявляю собрание открытым, — проговорил Савинков, заняв место за столом. Секретарем села невеста Сазонова, тихая Прокофьева. Товарищем председателя — Слетов.

— Товарищи, — заговорил Савинков. Любовь к слову и всплывшая, привычная обстановка подняли

нервы. — Мы знаем, что после предательства Азефа террор должен быть реабилитирован. Предпринятый центральный акт необходим нам, как воздух. Но нас снова подстерегает смутная неудача. Если это неудача действия это не страшно. Много неудач было в терроре. На неудачах учились, шли к удачам. Но неудача смутна и неясна. Почему товарищи заметили слезку? Данные указывают на самое гнусное — на провокацию. Начинает казаться, она вновь вьет гнездо, вызывая тень Азефа. Но если Азеф по оплошности ушел пока живым, другой предатель на это может не надеяться.

Савинков в паузу видел выражение лиц, самолюбивой болью ощущая: — не верят.

— Товарищи! Мы свои, мы братья, спаянные кровью. Должны и можем быть открыты друг другу, потому что все идем на смерть. Предлагаю единственный способ, может быть, тяжелый, но другого не вижу. Пусть каждый выскажет о другом все подозрения, если таковые только имеются. Пусть биография и жизнь каждого будут представлены на полное, детальное рассмотрение. Если в жизни и биографии кого либо найдется неразъясненное место, такому товарищу не должно быть места в боевой организации. Я начинаю с себя! Прошу сказать, кто что-нибудь имеет против меня, кто желает обо мне что-нибудь узнать, задать какой либо вопрос?

Ответило полное молчание.

— Вам, Павел Иванович, мы доверяем полностью, — проговорил Ян Бердо, — думаю, товарищи я выражаю общее мнение?

Тишина стала напряженной, жутче. Савинков перебил ее:

— Предлагаю, в таком случае, разобрать жизнь и биографию «Ротмистра».

Кто-то перемялся на стуле. Кто-то кашлянул. Тишина перервалась. Слетов проговорил:

— Я хотел бы знать, где был две недели тому назад «Ротмистр», то есть 17-го числа?

— Где я был? — проговорил «Ротмистр», перекладывая правую ногу на левую. Фокус всех глаз был на нем. — Позвольте, это довольно трудно припомнить, — приложил он руку ко лбу — 17-го числа я был в Мюнхене, да, да... в Мюнхене...

«Ротмистр» знал, что 17-го из Мюнхена он экспрессом, через Берлин, ездил в Петербург к генералу Герасимову. Но вполне владея собой, повторил:

— Да, да 17-го я был в Мюнхене. А почему вы, Степан Николаевич, спрашиваете?

— А 17-го вечером вы никуда не уезжали?

— 17-го вечером? Да уехал. В Париж к Павлу Ивановичу.

Слетов молчал.

— А почему вы спрашиваете?

— Павел Иванович, «Ротмистр» у вас был в Париже 19-го?

— 19-го? Да, по моему был 19-го. Есть еще вопросы к «Ротмистру»?

— Нет, если вы виделись с ним 19-го, то — нет. Это проверка одного сообщения. Но оно кажется неверным.

Глядя на Слетова, «Ротмистр» улыбнулся детской улыбкой красивого лица.

— Мне кажется, что жизнь «Ротмистра» в Париже не соответствует нашему представлению о жизни революционера. «Ротмистр» не станет отрицать, что кутежи, скачки и прочее, это не неизменная особенность революционера. Я бы высказалась раз навсегда против такой жизни товарищей, — тихо проговорила Прокофьева. — И не объяснит ли «Ротмистр», на какие деньги производит он эти кутежи?

«Ротмистр» рассмеялся. Все увидели белые зубы, гармонировавшие с нежным румянцем щек.

— Если я бываю в ресторанах, то, товарищи, только с Павлом Ивановичем, перед которым моя парижская жизнь проходит, как на ладони. Если когда-нибудь я кутил, то уверяю вас, не на свой счет.

Поднятое было Савинкову болезненно оскорбительно. Он знал, товарищи за глаза обвиняют широкую жизнь на деньги боевой организации. Чтоб прервать, он, нахмурился, проговорил:

— Пора бы знать, товарищ Прокофьева, что по делам террора приходится посещать места и заведения, не доставляющие особого удовольствия. — Сосущая утомленность, мгновенное презрение к окружающим охватили его. Он оборвал допрос «Ротмистра».

11.

— Скажи, Владимир, ну что же это такое? — говорил Слетов Вноровскому, выходя из отеля. — На что это похоже? Разве это дело? Что мы сделали? Эти допросы — сказки для малых ребят. — Слетов был возбужден. — Ты знаешь, как я говорил, так и есть, без Азефа Павел Иванович нуль, пустоцвет, ничто. Вместо дела — фраза, поза ничего больше. А сам, поверь мне, в Россию на террор не поедет.

— Почему ты думаешь?

— Разве ты не видишь, он изломан, изъезжен не революционной работой, а какими-то своими философиями, писаниями, вообще достоевщина за пять копеек. Разве такой человек может стоять во главе террора? Потом, его жизнь? Он в Париже сорит деньгами направо, налево, скачки, рулетки, пьянства, говорят про какие-то умопомрачительные оргии.

— Да, ты прав, — тихо ответил Вноровский. — Гоц называл его «надломленной скрипкой Страдивариуса» и, кажется, теперь эта скрипка ломается. А как его любил, как в него верил брат, Борис.

— Пусть ломается сам, но он втаптывает в грязь и кровь товарищей, в Петербурге случайно не захватили извозчиков, они еле ушли, «Ротмистр» определенно на подозрении. Что же, потому, что Павлу Ивановичу ни до чего нет дела, мы опять посылаем людей на

виселицу? Это кабак! Это та же азефовщина с другой стороны!

— ЦК договорился с ним на год, если в течение года ничего не сделает, теряет полномочия.

— Через год? А год партия должна сидеть в грязи, в которую повалил ее Азеф при помощи Чернова и Савинкова?

Вноровский не отвечал.

— Я никогда не думал, что Савинков может сломаться.

— Белоручка, — злобно проговорил Слетов. — Философия всякая, «все позволено», то да се, а люди гибнут.

12.

Никакой надобности Анри Бинту не было следить за Савинковым в Лондоне. Герасимов сообщил, лондонская конференция проходит под наблюдением двух сотрудников. Анри Бинт ждал Савинкова в Париже. Когда, после вечернего поезда, мчавшегося от Ла Манша, в квартире на рю Лало 10 вспыхнул огонь, Бинт узнал, Савинков вернулся.

В доме следить тоже незачем. Следила мадемуазель Фуше, получавшая 50 месячных франков, за рассказы о «мсье Лежнев», по паспорту которого жил Савинков.

Через два дня Бинт писал сводку наблюдений сыщика Дюрюи и своих: — «Сегодня 3-го ноября можно утверждать, что Савинков, он же Мальмберг, он же Лежнев, спал один. Вышел из дому в 1 час 35 минут дня. Одет в пальто черного драпа с бархатным воротником, в черном котелке, несет в левой руке портфель с отвернутой застежкой, лицо худое, длинное, усы стрижены по американски. Общий вид: эlegantен, но сильно постарел. Выйдя из квартиры, пошел следующей дорогой: — рю Перголез, Авеню дю Трокадеро, там в табачном магазине, на углу авеню де Гранд Арме, купил почтовые марки и, выйдя, опустил в ящик

письмо. Постояв на авеню де Гранд Арме, повернулся и снова пошел на рю Перголез, где вошел в дом № 7 в нижний этаж к своему другу мсье Дерье, 25 лет, поэту. Я следовал за ним на расстоянии тридцати шагов. У дома Дерье ждал около часу. Из дома он вышел один. Остановился на улице и мне показалось, что замечает меня. Я подошел к окну магазина. Савинков двинулся в направлении авеню де Малакоф. Здесь он взял извозчика и поехал к Булонскому лесу. Я следовал за ним на извозчике до Рут д'Этуаль. Здесь Савинков вылез, расплатился с извозчиком и в течение нескольких часов ходил совершенно бессмысленно и бесцельно...»

13.

На рю Лало, в квартиру Савинкова вошел Моисеенко.

— В чем дело? — проговорил Савинков, понимая, что что-то случилось и прикрывая листом рукопись.

— «Ротмистр» застрелился.

— «Ротмистр»?

— Да.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Где?

— У себя на квартире, в Медоне.

— Оставил письмо?

— Нет.

— Товарищи подозревали его в провокации.

— Да.

— Это могло его оскорбить.

— Могло быть, что он, как провокатор, боялся мести.

— И сам поспешил себя убить?

— Самому убивать себя легче.

Савинков задумался, улыбаясь неестественно, как показалось Моисеенко, проговорил:

— Так. Переехали человека. Ну что ж. Вечная память «Ротмистру». Еще крестом на дороге больше.

— Только на какой дороге?

— На нашей.

— Вам не жаль?

— Не умею жалеть. Глупое чувство деревенских баб. Чем больше близких падает, тем легче идти самому. У «Ротмистра» остались деньги?

— Пустяковые франки.

— Я дам денег. Его похоронит боевая организация.

Савинков замолчал. Молчал Моисеенко. Когда он вышел, Савинков перечел написанное и стал писать дальше: — «Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь — не знаю. Я так хочу. И я пью вино цельное.»

14.

— Ну да! Так что же он делает? Готовит центральный акт? А в чем же это состоит? В том, что в Питере три товарища поехали извозчиками и снялись. Ведь это же форменное безобразие! Это же возмутительно! Таких денег не тратил Азеф! Но тот, по крайней мере, дело делал. Нет, Марк Андреевич, Савинкову надо прямо поставить: — едешь на террор — получаешь деньги, едешь на скачки в Лонгшамп — твое дело, не гневайся, батюшка. А то на сене лежу, сама не ем и другим не даю.

— Сама то положим ем, — засмеялся Натансон, — в этом то и горе.

— Страннее всего, — проговорил Рубанович, — что штаб Павла Ивановича все время ездит по Европе. То в Париже, то в Ницце, то в Мюнхене, то в Берлине. Ведь это же стоит сумасшедших денег.

— Я спрашивал его, — печально перебил Зензинов, — говорит, принужден это делать, заметил слезку.

— Я всегда был против передачи Павлу Ивановичу боевого дела, — сказал Карпович. — Теперь сами убеждаетесь. Это граммофон Азефа. Ничего больше.

— Ну это, положим, вы чересчур. Дело Плеве, дело Сергея, Татарова.

— Татарова! Для таких дел не надо организационных талантов. Дал Назарову нож и уехал. В деле Сергея работали Каляев и Моисеенко. А Плеве создал Азеф.

— Нет, товарищи, надо как-нибудь все это вывернуть наизнанку. Коль работа, так работа. Коль нет, так и денег нет, — замахал Чернов, мигая круглым косым глазом. — Ведь он на прошлой неделе, понимаете, на царубийство глухую ассигновку в 20 тысяч взял!

15.

— Messieurs! faites vos jeux! — кричал лысый, наглый крупье, похожий на боксера.

В дворце «Казино» в зелени тропического парка на голубом фоне моря, в зеркалах стен отражалась сумасшедшая толпа лиц. Савинков понял, отчего среди электричества над столами с золотом висят керосиновые лампы. Савинков сел меж англичанином и старухой в буклях.

Линия лиц слилась в многоглазую ленту. Доносились музыка, как бы аккомпанируя. Он знал, что кидает золотые лундоры, нужные на убийство царя.

— Messieurs! faites vos jeux!

16.

Но если б он даже знал, что консьержка дома, мадам Гато и вертлявая прислуга куплены полицией, возможно, что отнесся б к этому безразлично. Чадный дым наполнял душу. Когда ночью подошел к квартире, в темноте раздался голос Нины: — Бо-ря!

Он остановился. Он быстро вбежал. Минуту казалось, снова с детьми приехала Нина. И эта минута была счастьем. Но в квартире — темнота. Спальня неубрана, на полу банки откупоренных консервов, поваленные бутылки, смятая постель и запах затхлости досказали воспоминания ночи.

«Галлюцинации», — пробормотал Савинков. — «Слышал совершенно отчетливо». Опустился в кресло, показалось, что может заплакать, потому что стремительно проносилась разбитая и окровавленная жизнь.

На письменном столе не в таком виде оставил полученные письма. «Что за чорт, я кажется начинаю мешаться?»

— Аннет! — крикнул он. — Что за безобразие, вы брали письма с моего стола!

— Как вы можете говорить, мсье!

— Ступайте прочь!

— Я буду жаловаться.

Скалькированные копии писем шли уж в департамент полиции. Анри Бинт знал: — зверь сдастся без боя.

17.

— О мон шер! — хлопал он по плечу друга, титулярного советника Мельникова, — кажется зверь скоро будет совсем ручным!

Титулярный советник Мельников, необычайно боявшийся террористов, недоверчиво качал головой. Но Бинт хохотал, тыкая в живот титулярного советника.

— Император с своими министрами может жить совершенно спокойно, мон шер! Мсье Савинков выдохся! О, если б вы только знали, какой кутеж был позавчера в Мулен Руж, а потом за старым базаром в третьесортном бистро, куда этот террорист ездит чуть ли не каждую ночь. Он влюбился там в кухаркину

дочь, которая дает о нем самые пикантные сведения! Вы понимаете, здесь в Париже он — кончен. Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes. Да, да, мон шер, верьте моему опыту. Я пишу в Петербург рапорт, чтоб с него сняли всякую слежку.

Бинт прочел титулярному советнику Мельникову: «Рапорт заведующего наружным наблюдением Анри Бинта заведующему заграничной агентурой департамента полиции.

Ваше превосходительство!

Мои наблюдения за шесть месяцев за главой террористов партии с. р. Борисом Савинковым, он же Мальмберг, он же Лежнев, дают повод осмелиться указать вам, ваше превосходительство, что дальнейшее наблюдение за этим бывшим террористом является по моему мнению только лишь обременительным. Если этот мсье был когда-то страшен вашему правительству и угрожал жизни монарха, то милостью божьей можно считать эту опасность миновавшей. Вы писали, что считаете его одним из самых опасных и отважных террористов. Веря мнению вашего превосходительства, полагаю, что вы основывались на бывшей деятельности этого господина. Будучи директором бюро наружного наблюдения, согласно вашей просьбе в продолжении шести месяцев я установил неотступную слежку за ним, так как вы просили меня не терять его из виду, чтобы он не появился внезапно в России и не произвел бы там террористического акта. Наблюдение за мсье Савинковым было поставлено более чем тщательно. Он был окружен в Париже всецело нашими людьми. Во всех квартирах консьержки дома были куплены нами, если они не состояли на нашей службе. Через консьержек нами покупалась прислуга служившая у мсье Савинкова, через которую и доставлялись мной вашему превосходительству калькированные копии писем к Савинкову его друзей (Бурцев, Бунаков, Плеханов, Моисеенко, Сомова и других). По прошествии столь значительного времени я могу сейчас с чистой совестью сказать вашему превосходитель-

ству о результате моих наблюдений. Мсье Савинков производит на меня впечатление «выдохшегося террориста» и «выдохшегося революционера». Это ужасный кутила, ваше превосходительство. Ужасный посеуг, вы даже не представляете его образа жизни и его кутежи в Париже. Они обычно начинаются с лучших ресторанов нашего прекрасного города и кончаются низкопробными кварталами, где этот террорист продолжает кутить вместе с отбросами общества и человечества, наводя, быть может, террор на них. Уверяю вас, ваше превосходительство, что мсье Савинков уж более не террорист, поверьте моему тридцатилетнему опыту, я знаю революционеров и скажу, что опасные из них не могут вести такого образа жизни. *Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes.* Женщины без конца! Если вы разрешите мне, ваше превосходительство, некоторую вольность, то я дам хотя бы такой характерный штрих из жизни мсье Савинкова, который может вам сказать о его образе жизни с одной стороны и тщательности нашего наблюдения с другой. Купленная нами его последняя прислуга на рю Лало 10 позавчера ночью устроила так, что я лично мог наблюдать через стекло (верхнее оконце) происходившую в квартире оргию. Были три женщины и он. Все были в костюме Адама и Евы. Моя скромность не позволяет, ваше превосходительство, изложить вашему превосходительству дальнейшее, чему я был лично своими глазами свидетель. Но позволю себе еще раз указать на вполне возможное снятие слезки с этого бывшего террориста, а ныне кутилы. Слежка за ним, как вы видите из предыдущих донесений и представленных мной счетов чрезвычайно дорога. Он постоянно меняет места, едет то в Ниццу, то в Сан-Ремо, то в Монте-Карло, то в Мюнхен, то месяцами кутит в Париже по ресторанам, притонам и кабакам. Им заняты помимо меня лично еще три чиновника. И все данные наблюдения говорят только о кабаках и женщинах. Мне известно даже доподлинно, что его товарищи стали чуждаться и сторониться. Против него

в партии растет недовольство. Полагая, что вы вполне согласитесь со мной, ваше превосходительство, в ожидании вашего распоряжения преданный вам заведующий наружным наблюдением Анри Бинт.»

18.

В ЦК царило полное возмущение. В квартире Чернова кричали Рубанович, Натансон, Чернов, Слетов, Зензинов.

— Это решительно ни на что непохоже! — доказательно тряс обеими руками Зензинов. — Мы сидим в тупике, Павел Иванович должен был вывести партию на путь террора, поднять престиж, а вместо этого даже тогда, когда... чорт знает что! Мы сговорились, чтобы он ждал нас в Ницце. Привезли из России данные, которые он просил. Он хотел выехать тут же с тремя товарищами в Россию, так, по крайней мере, писал нам, и вот вчера я получаю телеграмму, что он приезжает в Париж. Встречаемся, я думаю, сейчас договоримся, а Павел Иванович вместо разговора смотрит на часы и сообщает, что ему надо ехать. Я спрашиваю — куда? Он говорит: — на скачки в Лонгшамп, сегодня дерби. Говорю, это не по товарищески, это невозможно в отношении организации, мы приехали из России, мы ведь договорились, наконец его знают в Париже, за ним идет слежка по пятам, на скачках за ним будут, конечно, следить, мне передавали — филеры его не спускают с глаз. Он заявляет, что это пустяки, завтра мы сможем обо всем потолковать. Я ставлю на очередь вопрос...

Заломив руки за спину, Чернов ходил из угла в угол бешеным, рыжим медведем.

— Да чего тут скрывать, товарищи! — закричал он вдруг. — Павел Иванович проиграл деньги боевой организации в Монте-Карло в рулетку!

— Что?! — закричало несколько голосов.

- Проиграл три четверти кассы!
— Лопнула скрипка Страдивариуса.
— Если это была когда-нибудь скрипка, а не втора третьего сорта!
— Но ничего нельзя поделывать! С ним договор у ЦК! Надо настоять, чтоб он ехал в Россию.
— При таком состоянии Павла Ивановича, кроме провала в России ничего не выйдет.
— Ну так что же?! — Ну так как же?! — Ну так что же вы предлагаете?!
— Немедленно расторгнуть договор ЦК с Павлом Ивановичем и распустить его организацию.

19.

Эта ночь была тяжела и туманна. Мелкой, теплой сеткой накрапывал весенний дождь. Улицы горели желтыми пятнами огня. Подымался дымный туман от мутной Сены. Змеями колебались огни. Савинков шел, ударяя тростью в плиты. Он был в котелке, черном пальто с поднятым воротником. Алкоголь давал телу и воле фальшивую силу. Савинков находу коротко рассмеялся, думая, что если б нашлась вместительная петля, хорошо бы было повесить весь мир.

Ночь глухая, теплая, парная, городская, без воздуха. Савинков не знал, сколько простоял на набережной, смотря на реку. Тяжелый, мутный рассвет еще даже не брезжил. Ночь не просыпалась. Искривленные фигуры качались в темноте. Пьяный сержант пел солдатскую шансонетку. Савинков шел узкой, грязной, темной улицей, на которой потухали редкие фонари и которая сейчас казалась черным коридором. Голова была мутна, ноги тяжелы. Чем ни дальше шел, тяжелее была походка. Словно тащили ноги тротуарные плиты. И плиты эти невероятной тяжести.

Апрель 1928—1929.

Printed in Germany